



Густав  
ХЕРЛИНГ-ГРУДЗИНСКИЙ

ГОРЯЧЕЕ  
ДЫХАНИЕ  
ПУСТЫНИ



ISBN 5-87902-101-7



9 785879 021011 >







Данное издание выпущено в рамках программы «Современная зарубежная литература» Института «Открытое общество. Фонд Содействия» (OSIAF — Moscow) при поддержке Центра по развитию издательской деятельности (OSI — Budapest), а также при содействии издательства «Русский язык».

### **Херлинг-Грудзинский Густав**

- Х 39 Горячее дыхание пустыни. Белая ночь любви / Перевод с польского И. Адельгейм («Горячее дыхание пустыни») и А. Михеева («Белая ночь любви»). — М.: Издательство «МИК», 2000. — 248 с. — (Серия «Библиотека журнала “Новая Польша”»)  
ISBN 5-87902-101-7

Действие рассказов недавно умершего известного польского писателя происходит в основном в Европе. Его герои — люди разных национальностей — погружаются в воспоминания, в мир литературных ассоциаций, стараясь осознать свое место в течении повседневности и в недавней истории. Писатель тонко передает психологическое состояние человека, вынужденно оторванного от родной земли.

- ISBN 5-87902-101-7 © Густав Херлинг-Грудзинский  
© Издательство SW «Czytelnik», Варшава, 1997, 1999  
© Издательство «МИК», 2000  
© И. Адельгейм. Перевод, 2000  
© А. Михеев. Перевод, 2000  
© Оформление Д. Манахина, 2000  
*Авторские права приобретены при содействии  
«Andrew Nurnberg Associates» Лондон*

Gustaw Herling-Grudziński

GORĄCY ODDECH  
PUSTYNI

•

BIAŁA NOC MIŁOŚCI

Густав Херлинг-Грудзинский

ГОРЯЧЕЕ ДЫХАНИЕ  
ПУСТЫНИ

•

БЕЛАЯ НОЧЬ ЛЮБВИ

Москва  
Издательство «МИК»  
2000

## ГОРЯЧЕЕ ДЫХАНИЕ ПУСТЫНИ

### Кладбище на юге

Открытый рассказ

Говоря о своих трудах, иные авторы твердят:  
«Моя книга, мой комментарий, моя история»...

Лучше бы говорили «наша книга, наш комментарий, наша история», ибо чаще всего там больше чужого, чем их собственного.

*Паскаль «Мысли»<sup>1</sup>*

Спят мертвецы в земле, своим покровом

Их греющей, теплом снабжая новым.

Юг наверху, всегда недвижный Юг...

*Поль Валери*

«Морское кладбище»<sup>2</sup>

### I

Кладбище, которое в душе я сразу назвал «кладбищем на юге», находится в километре-полутора от бедного селения Альбино в районе Салерно. Впервые я побывал там в конце пятидесятых — без какой бы то ни было определенной причины или цели. Меня просто поразило и привлекло его необычное положение. Кладбище располагалось не столько за, сколько над деревней — случай очень редкий по соображениям хотя бы сугубо практическим: подъем к кладбищенским воротам по воскресеньям и во время похорон — процессия движется вслед за одно- или двуконной телегой (по крутой, с выбоинами, дороге грузовик не проедет) — требовал от пожилых людей немалых усилий. А что уж говорить о главных воротах кладбища! Сзади, огороженное не очень высокой стеной, оно буквально

---

<sup>1</sup> Перевод Э.Линецкой.

<sup>2</sup> Перевод Б.Лифшица.

нависало над пропастью. Эту его часть было хорошо видно с шоссе, ведущего в Салерно, — заросшая кустами скала, почти отвесно обрывающаяся на дно глубокого лесистого оврага. Если сильно напрячь зрение, там, среди лиственных деревьев, можно было разглядеть небольшой домик. Когда-то в нем жил кладбищенский сторож — утром он верхом на муле отправлялся по единственной тропке на работу, а вечером спускался домой, осторожно ведя за собой постоянно оступающегося мула. О доме сторожа говорили — название сохранилось и до наших дней, хотя это уже лишь воспоминание — «la casa al fondo della gola»: «дом на дне оврага».

Прежде чем, невзирая на льющийся с неба августовский жар, впервые решиться на подъем к кладбищенским воротам и, вспотев и запыхавшись, переступить их порог, я дважды, с интервалом в год, навещал в Альбино своего друга — тот уже много лет снимал у крестьянина комнатку с маленькой террасой, где и проводил в одиночестве летний отпуск.

Мой друг Ренато — книжный червь, римский библиотекарь, очень многословный, болезненный, уверенный в своем близком конце — приезжал на лето в Альбино ради «горного воздуха» и узкой полоски моря на горизонте, которую было видно с террасы. Больше Ренато ничто не волновало, готовила ему хозяйка, гулять он не ходил, мог целый божий день просидеть в шезлонге, уткнувшись в книгу. Когда во время второго визита я заговорил с ним о странном расположении кладбища, он пожал плечами и с оттенком скуки в голосе буркнул, что таким образом, видимо, жители хотели уберечь могилы близких от наводнений, часто случающихся здесь поздней осенью, от потоков воды, несущихся вниз с окрестных гор (отсюда «горный воздух») и врывающихся в деревню. Ерунда, как и весь этот «горный воздух», приписываемый нескольким необычным с виду, почти библейским скалам невдалеке от Альбино — действительно красивым, но на подробных картах обозначенным: «300 метров над уровнем моря». Я поделился с Ренато своей гипотезой, хотя не уверен, что он слышал, потому что продолжал что-то искать в своей книге. Так вот, мне кажется, что кладбище устроили так высоко, чтобы умершие могли хорошо прогреться, высушить на летнем южном солнце свои кости и свои тайны. Кроме того, отсюда им лучше всего было видно море — ведь большинство покоящихся тут наверняка составляли рыбаки и моряки. Подозреваю, что Ренато меня не слушал. Зато слушал — я заметил это только когда замолчал — хозяин, старик Бартоло, сидевший на стуле у дверей дома. Он вдруг поднялся и сказал: «Я не должен вмешиваться, *dottore*<sup>3</sup>, но ваш гость прав».

Ближе к вечеру Бартоло проводил меня к автобусу, дважды в день приходившему в Альбино. По дороге он рассказал — как-то уклончиво и

---

<sup>3</sup> Доктор (итал.).



сдержанно — о «доме на дне оврага» позади кладбища. «После того как умер кладбищенский сторож Фазано, мы не стали искать нового. Никто теперь не следит за могилами — никто, кроме родственников. Дом на дне оврага пустует, говорят, там ночью являются духи. Но это длинная история, *ma è una lunga storia*».

## II

До кладбищенских ворот я добрел действительно вспотев и запыхавшись, пот заливал глаза, под опущенными веками мелькали красные полосы. Ворота были открыты, оставалось только нажать надломленную ручку калитки справа. Едва я вошел, солнце словно бы начало жарить с удвоенной силой. Я улынулся, подумав, как точна моя «гипотеза»: умершие грелись и сушили свои кости (и свои тайны — по Валери), а что касается моря, то с кладбищенского плато открывался, пожалуй, самый лучший вид на залив. Белые полосы волн, отмеченные пеной, ритмично приближались к рыбацему причалу, солнце высекало из зеленовато-синей воды снопы искр. Далеко на горизонте скользил большой корабль — так медленно, что казалось, он стоит на якоре. Ближе к берегу с нескольких лодок ставили сети. Слышно было, как перекликаются рыбаки, и даже приглушенно доносилась грустная южная песня.

На большей части могил стояли деревянные кресты — естественно, уже подгнившие и с почти стершимися надписями, но зато с овальными портретами умерших. Кое-где — каменные кресты или конусы, если семья побогаче хотела сделать длинную (и обычно цветистую) надгробную надпись. В центре кладбища возвышался лишь слегка обработанный валун, отколотый, как я легко догадался, от одной из этих «библейских» скал близ Альбино. Я скажу о них несколько слов, потому что это нечастое для Италии явление. Скалы слоистые, с прожилками, словно огромные окаменевшие деревья, рассеченные во время грозы топором молнии. Люди, сведущие в геологии, возможно, определили бы их возраст по каменным венам и черным поблескивающим пятнам. Я назвал их «библейскими», вспомнив иллюстрации — правда, немногочисленные — в роскошных изданиях Библии, плод воображения художников. По-своему «библейской» — в своей драматической лаконичности — была и надпись на кладбищенском валуне: шесть фамилий с датами рождения и смерти, затем короткая фраза: *«sconfitti e inghiottiti dal Mare»* — «покоренные и поглощенные Морем». То есть могила была пуста — за эти годы рыбы полностью сожрали шестерых рыбаков из Альбино.

Я прислонился к стене, ограждавшей сзади кладбище. С пепельного, а вернее уже вовсе бесцветного неба на землю обрушивалось не колеблемое

ни малейшим ветерком сухое пламя. Было около трех. Чтобы охватить взором одновременно овраг и залив, пришлось, держась за верх стены, слегка привстать на цыпочки. В овраге клубилась густая одичавшая зелень, подавляя и заглушая едва заметный на дне дом. Однако насыщенный зеленый цвет не поглощал солнечных зайчиков, которые порой казались живыми существами — людьми или животными, с быстротой молнии скользящими среди деревьев и кустов, подкрадывающимися к дому и тут же бросающимися наутек. Видимо, жара подшутила над моим зрением — глаза заволокло пеленой. Еще ощутимее это делалось, когда я смотрел на поверхность залива — искры, высекаемые солнцем, складывались в странные человеческие фигуры и огромных рыб, дугой выскакивающих из воды. Я читал когда-то, что это первые симптомы солнечного удара. На то, чтобы побыстрее дотащиться до ворот и, пошатываясь, спуститься по крутой дороге обратно в деревню, у меня не было сил. Я огляделся в поисках хоть небольшой тени. В углу кладбища рос довольно раскидистый куст с крупными листьями. Надо лечь под ним на низкую сухую траву.

Этот, словно отлученный от кладбища, уголок опоясывало каменное полукольцо. В три низкие могилы — одну старую и две более свежие — воткнуты деревянные кресты. Ни эмалированных фотографий умерших, ни даже самых скупых слов прощания — одни лишь имена и даты. На самом старом кресте виднелось: «Манфред Вайнерт, родился 2 мая 1911, умер 25 октября 1943». На более новых: «Винченцо Фазано, родился в Альбино 6 января 1914, умер 16 августа 1949», «Инге Вайнерт, geboren<sup>4</sup> Мандер, родилась 23 марта 1918, умерла 16 августа 1949».

### III

У старика Бартоло было выражение лица человека, слишком много сболтнувшего в первом разговоре, и теперь, во втором, собирающегося, подобно хорошему садовнику, подрезать чересчур разросшиеся ветви. Он задумчиво покивал головой.

— Да, да, è una lunga storia, но когда человеку стукнет восемьдесят, память испаряется. Как лужа на солнце — остается только вмятина в земле. Что я помню из этой длинной истории? После десанта в Салерно gli alleati — союзники — отправились вглубь. Овраг по ту сторону Альбино преграждал им путь, закрывал его, как огромный ключ. Нужно было выкурить оттуда немецкий отряд, окопавшийся в доме на дне оврага и еще кое-где среди деревьев. Так и вышло — защитников оврага перебили всех до единого. Кроме командира — приставив пистолет к спине Фазано, тот

---

<sup>4</sup> Урожденная (нем).

вместе со сторожем вскарабкался по тропинке на кладбище. Там в углу под стеной он установил пулемет и обстреливал союзников сверху так успешно, что колонне пришлось остановиться. Американцы вели огонь, но старались не разрушить кладбище минометными снарядами. Перестрелка длилась весь день. Под вечер меткая, а может, шальная пуля настигла немецкого офицера. Мертвый, он упал, точнее, сел в самом углу. Там и похоронил его Фазано, а американцам объяснил, что убитый ими немец скатился по склону на дно оврага. Не знаю, почему он так поступил. Одни говорили, что за проведенный бок о бок с офицером день обороны Фазано привязался к нему и стал считать защитником кладбища; другие — что хотел похоронить его по-христиански. Он и в самом деле привел из Альбино перепуганного священника. Надпись на кресте сделали позже. Прежде чем опустить офицера в выкопанную яму, сняли висевшую у него на шее табличку с фамилией и датой рождения — священник облегченно вздохнул, увидев, что убитый был римским католиком. Это все, что чудом сохранила моя память.

— А две могилы рядом? Могилы Фазано и женщины — жены или сестры убитого? Почему дата смерти соединила их?

Старик Бартоло слегка покраснел и почесал затылок.

— Не помню, *dottore*, правда, не помню. Люди что-то болтали, и много болтали, о кладбище в Альбино писали газеты, но все испарилось из памяти, улетучилось. Я помню Винченцо Фазано, хороший был мужик, заботился о нашем кладбище. Семьи у него не осталось — сирота и холостяк — но, вроде, был у него дальний родственник в Салерно. Этот родственник, гораздо старше нашего Винченцо, был журналистом. Кажется, он сюда часто приезжал, расспрашивал людей, а потом перестал. Жив ли еще? Одному Богу известно. Фамилия? Фамилии я не знаю.

Чего боялся старик Бартоло? Что заставило его память «испариться»? Точно так же обстояло дело с другими жителями Альбино, которым я пытался развязать язык. В лучшем случае мне слово в слово пересказывали военный эпизод октября 1943-го. В худшем — в ответ молчали, пожимали плечами и неохотно произносили: «*Non ricordo*».<sup>5</sup> Только через некоторое время я раскрыл источник страха. Дом на дне оврага считался проклятым, заколдованным. Дважды его пытались купить, а цена была просто смешная — муниципальная административная оплата в Салерно, ведь наследников не осталось. И дважды после ночевки в доме желающие отказывались от покупки. Во второй раз покупателями была молодая английская пара из Неаполя. Оба преподавали в университете язык, так что познакомиться с ними мне было нетрудно. Удивительное дело! Образован-

---

<sup>5</sup> Не помню (*итал.*).

ные, интеллигентные люди категорически отказывались — с просто-таки неприличным упорством — говорить о доме на дне оврага. Единственное, что мне удалось из них выудить, было короткое «It is ghastly»<sup>6</sup>. Тогда уж следовало бы сказать «It is ghostly»<sup>7</sup>, раз слухи — весьма неясные — намекали на присутствие «духов» («ghosts») в доме на дне оврага.

В начале сентября, когда резко похолодало, можно было без всякого риска удовлетворить свое любопытство. Я приехал в Альбино первым автобусом, рано утром, и через спящую еще деревню отправился прямо на кладбище. Оттуда по тропинке, которая начиналась за задней стеной, принялся осторожно спускаться на дно оврага. Осторожно, потому что никогда в жизни не видел тропинки со столькими поворотами, неожиданными обрывами и неустойчивыми камнями. Я все спрашивал себя, каким же образом ухитрился Фазано по вечерам — нередко, вероятно, в темноте — вести своего мула вниз, а утром верхом подниматься на кладбище. Особенно опасны были ветви, выступающие из чащи на тропинку — иногда настолько упругие, что их приходилось медленно и не без труда отклонять в сторону, не давая бить, словно розгами, по груди или голове. Раз мелькнула на тропке гадюка, но чаще по ней скользил biscia, безобидный уж. Чем ниже я спускался, тем гуще становился лес, а с ним словно бы густела и тишина. Я чувствовал себя неуверенно, даже жалел, что присущее мне любопытство толкнуло меня на такую авантюру. И, как это часто бывает, смутные чувства удлинляли путь — сверху спуск в овраг казался короче. Наконец поцарапанный и покалеченный, я добрался до лужка, или полянки, на краю которой виднелся дом. Но обернувшись, я не без какой-то необъяснимой тревоги убедился, что отсюда кладбища не видно. Я словно очутился в глубоком колодце.

Домик был скромный — одна комната с просторной кухней, в которой кроме большой печи, отопливавшей помещение, стояла в углу примитивная низенькая плитка на две конфорки. Ручка входной двери была сломана — ее заменяло кольцо из проволоки. Чуть ли не всю комнату занимала сбитая из досок широкая кровать, на ней валялся почерневший от времени сенник — в пятнах неопределенного цвета и с торчащей из дыр паклей. Вместо пола — ровно утоптанная земля, покрытая теперь зелеными лоскутами молодой травы. На стене висел грязный, засиженный мухами образ Черной Мадонны из пьемонтского святилища в Оропа — откуда он в этих местах? Общее впечатление распада, гниения не сопровождалось вонью или затхлостью — ни в одном из зарешеченных окон не было стекол. В пристроенном к дому хлеве я нашел наполненное зацвет-

---

<sup>6</sup> Он призрачный (англ.).

<sup>7</sup> Там привидения (англ.).

шей водой корыто для свиней, а на стене — прибитые к балке козьи рога. Единственной чистой вещью оказалась лавка перед домом — ее просто хорошо промыл дождь.

Усталый, я прилег на нее. Собственно говоря, не столько усталый, сколько вдруг странно отяжелевший и одурманенный. Бывает ли так, что в воздухе витает таинственность, нечто невидимое, но доступное *иному* зрению, которым наделены лишь посвященные? Наверняка — я знаю об этом от писателей, пытавшихся описать «иное зрение», особенным образом его ощущавших, как хотя бы Генри Джеймс в «Повороте винта». Такую вот витающую в воздухе таинственность я отчетливо — даже слишком отчетливо, поскольку к ней примешивалось беспокойство — ощущал, лежа на лавке. Но Бог или судьба не наделили меня этим «иным зрением», вернее, наделили им лишь изредка — очень редко — во сне. Забывшись на лавке тяжелым сном, я увидел мельком, но не однажды (впрочем, кто сумеет измерить мимолетность сна — порой многообразное и сложное событие длится мгновение, а пустяк тянется часами, убегая и возвращаясь) мужчину и женщину, то лежащих на кровати в комнате, то сидящих на корточках у плитки, то медленно поднимающихся по тропинке в сторону кладбища.

Видимо, мой сон на лавке у дома был чем-то вроде долгого обморока, потому что хотя в овраг я спустился ранним утром, а в Альбино приехав отдохнувшим проснулся я только в сумерках и такой усталый, будто заснул после целого дня пути. Меня охватило легкое смятение — подниматься наверх в темноте не хотелось. Я шел, внимательно глядя под ноги, не помня себя от страха, и все еще словно пьяный, смертельно усталый, каждый шорох в кустах и деревьях по обеим сторонам тропинки принимая за шаги какого-то подкрадывающегося существа. На полпути пурпур заката погас, и на небо, над розовым еще морским горизонтом залива, выплыл бледный месяц. Вскоре я успокоился, увидев кладбищенскую ограду, а чуть выше — небольшой огонек среди потемневших крестов. Это была лампадка, зажигаемая под валуном в годовщину гибели шести рыбаков. У подножия памятника сидел старик Бартоло, который в трагедии «покоренных и поглощенных Морем» потерял младшего брата.

#### IV

Прошло несколько лет, воспоминания о «кладбище на юге» постепенно тускнели в памяти и воображении. Тем более что летние поездки в Альбино прекратились — мой друг Ренато сильно заболел. Его перевезли из Рима к родственникам в Падую, где он лежал под постоянным наблюдением врача (со смутной перспективой выздоровления) то дома, то в частной клинике. Я только раз выбрался к нему и час просидел у его крова-



ти. Теперь, когда Ренато уже почти не мог читать — обострение болезни привело к резкому ухудшению зрения, — он вспоминал (во всяком случае, при мне) Альбино. Но не кладбище, на котором он, впрочем, никогда и не был — Ренато просто вспоминал любимую деревню, то, как лежал в шезлонге на террасе, как дышал «горным воздухом», как, поднимая от книги глаза, глядел на полоску моря. Как немного надо, чтобы утраченным раем стало то, что предшествовало тени предчувствуемой смерти!

Постепенно тускнел в моей памяти и воображении образ «кладбища на юге», но я знал, что он никогда не сотрется окончательно; что с каждым годом все плотнее будет закрываться его калитка в воротах, но щель — все более узкая — по-прежнему будет зна́ком того, что вход сюда все еще открыт. Откуда это ощущение? Я сознавал, что столкнулся с загадкой, которая, несмотря на расспросы, продолжает оставаться неразгаданной. Нам не нравятся такие ситуации вовсе не потому (или не только потому), что нас мучает неудовлетворенное любопытство. Где-то в глубине души, вопреки всем рациональным механизмам, загорается, угасает и вновь загорается огонек врожденного интереса к тайне, инстинктивно и неизбежно влекущего нас к каждой встреченной в жизни загадке. Набоков мудро написал в «Даре»: «Я знаю о Боге больше, чем в состоянии выразить словами, а то многое, что могу выразить, никогда бы не было сказано, не зная я больше». Мы проходим по жизни, накапливая — сознательно или подсознательно — отблески собственного божественного огонька. Собирая доказательства того, что, зная все больше, мы все меньше можем выразить словами.

Мне запомнилась эта дата. 14 августа 1962 года неаполитанские друзья уговорили меня поехать вместе с ними в Салерно на собрание Общества охраны природы «Italia Nostra»<sup>8</sup>. В небольшом зале местного музея собралось около полусотни человек. Сначала мне было скучно — благородное оплакивание итальянского пейзажа, систематически уродуемого не знающими меры строителями, не выходило за рамки общих слов. Я уже собирался, выскользнув через боковую дверь, пойти выпить кофе в красивом старом районе этого очень уродливого города, когда мое сонное внимание привлек очередной оратор. Он представился (как было здесь принято): вышедший на пенсию журналист местной газеты Вито Ликола. С необычайным пылом Вито принялся говорить об опасности, нависшей над чудесным диким оврагом возле деревни Альбино. «Да-да, — добавил он, словно предупреждая вопросы из зала, — овраг с пустующим домом на дне — *malfamato*, пользуется дурной славой, но это не повод, чтобы его уничтожать. Это уникальный пейзаж. Неужели мы дадим построить там огромный отель с двумя подъездными дорогами — из Альбино и со стороны

---

<sup>8</sup> «Наша Италия» (*итал.*).

приморской панорамы? Времени на то, чтобы застопорить проект миланского консорциума отелей, осталось мало». Его стали расспрашивать — в частности, неаполитанцы хотели знать, почему овраг «*malfamato*», — но оратор не спешил с объяснениями. «Надо что-то делать, надо что-то делать, — повторял он со старческим упорством. — Моя бывшая газета не хочет в это вмешиваться». Кто-то из зала крикнул: «Милан уже подмазал, где надо». Старый журналист кивнул и сел.

Вечером того же дня я пригласил его в ресторан на берегу моря. Мы сидели на застекленной веранде, перед нами, будто ножом, рассекал темную ночь освещенный салернский мол. Сначала Вито упирался, отговаривался, повторяя «*acqua passata*» — «вода унесла», — но мне должно быть удалось убедить его, что я не охотник за случаями из *сronaca nera*<sup>9</sup>: мне и вправду необходимо узнать всю эту историю — по причинам важным. Не буду ни пересказывать его повествование, ни приглаживать. Я записал все по возможности точно почти на рассвете, после возвращения в Неаполь. И теперь переписываю этот рассказ из блокнота без каких бы то ни было купюр или изменений.

## V

— Он был моим дальним родственником — это верно, но мы не встречались, хотя от Салерно до Альбино двадцать пять километров. Дом на дне оврага он получил в наследство от родителей — у старика Фазано было там когда-то неплохое хозяйство. Его сын был неграмотным, даже в начальную школу не ходил, не умел расписываться, вырос одичавшим нелюдким и чудачком, терпеть не мог работать на земле. Говорят, он даже напился от радости, когда в Альбино ему предложили место кладбищенского смотрителя, или сторожа. Незадолго до начала войны умерли родители — сначала старик Фазано, а через полгода его жена. Двадцатилетний Винченцо ухаживал за их могилами так заботливо, с таким сыновним почтением, что община решила поручить ему все кладбище. Зарплата маленькая, чтобы не сказать нищенская, но дело было не в деньгах. Он мог жить на то, что еще приносило хозяйство на дне оврага, а кладбище просто-таки *влекло его к себе*. Не могу подобрать иного определения: с ранней молодости, а может и с детства, Винченцо отличался одной странностью — он молча слонялся по окрестным кладбищам, и в радиусе пятнадцати километров парня можно было встретить практически на каждом похоронах. Я лишь однажды навестил его в доме на дне оврага, кажется, в 1942 году. Я был тогда еще достаточно крепок, чтобы отважиться на спуск, рас-

---

<sup>9</sup> Криминальная хроника (*итал.*).

считывая, что обратно в Альбино он отвезет меня на муле. Так и получилось. Не знаю, правда, удалось ли мне, пока я гостил у Винченцо, заставить его пробормотать хоть десяток слов. Время от времени он выходил из дому и вглядывался в кладбище на горе. Необъяснима была эта чуть ли не некрофилия — какая-то ее кладбищенская форма или разновидность — у почти тридцатилетнего видного красивого мужчины. Во всяком случае, это была наша третья и последняя встреча. Две предыдущие состоялись на похоронах его родителей в Альбино. На юге даже самые дальние родственники обязаны выразить надлежащие траурные соболезнования.

«Но это длинная история», — сказал вам в Альбино старик Бартоло, под разными предлогами отказываясь ее излагать. Мог бы хоть добавить: «И трагическая». Я занялся ею, когда она стала трагической. И не по личным причинам, не потому, что Винченцо Фазано был моим дальним родственником. Наши родственные отношения сыграли свою роль — редактор салернской газеты поручил мне освещать это дело, «обслуживать» его, как говорят журналисты. Что делать? Как за это взяться? Единственная ниточка — Альбино. Я каждый день ездил туда из Салерно, часами болтал с жителями деревни. Альбино тогда, сразу после трагедии, было разговорчиво, даже слишком разговорчиво — никакого сравнения с той стеной молчания, на которую вы наткнулись десять лет спустя.

Вы знаете эпизод с немецким офицером, поручиком Вайнертом. О том, как единственный пулемет в углу кладбища держал под обстрелом отряд союзников — причем почти целый день, — жители деревни и сегодня говорят охотно. Это «участие» Альбино в войне, неважно, на чьей стороне. Но в своих рассказах они редко упоминают одну деталь: Винченцо Фазано считал немецкого офицера защитником кладбища, героем, чтил его и усыпал могилу цветами, принесенными со дна оврага.

— Об этом я слышал.

— Но наверняка не слышали о том, как он обманул немецкую комиссию, после войны старавшуюся или перенести прах отдельных павших солдат на итальянское военное кладбище, или вернуть его семьям, если они того требовали. Фазано утверждал, что могила пуста — застреленный американцами немецкий офицер скатился в овраг. Поднять труп не удалось, Фазано успел лишь снять висевший у немца на шее опознавательный знак, по которому потом и сделали надпись на кресте. Немцы поверили, предлагали ему даже вознаграждение за этот могильный крест. От денег он отказался. «Sono un cristiano»<sup>10</sup>, — сказал сторож.

Было и остается неясным, откуда о могиле мужа в Альбино узнала его вдова в Регенсбурге. Скорее всего, от немецкой комиссии, но в таком слу-

---

<sup>10</sup> Я христианин (итал.).

чае ее еще до поездки в Италию должны были предупредить, что могила пуста. Между тем она — по рассказам свидетелей — вела себя в июле 1948 года как женщина, издалека приехавшая на подлинную могилу мужа. Стояла на коленях у креста, долго молилась, а поднявшись, вытирала платком мокрое от слез лицо. Откуда же она знала, что на кладбище в Альбино действительно лежит Манфред Вайнерт? Прислонившись к кладбищенской ограде, ее каждый раз терпеливо ждал Винченцо Фазано. Прежде чем спуститься по тропинке в овраг, он тоже преклонял колена у надгробия, крестился и читал короткую молитву. Казалось, они давно знакомы, хотя она приехала на такси из Салерно; в Альбино ее сразу — прямо с чемоданом — провели на кладбище, где как раз работал Фазано. Она ни слова не знала по-итальянски, цель своего приезда объяснила сторожу знаками. Разумеется, и он ни слова не знал по-немецки. Молча пристегнул ее чемодан к седлу мула. Молча она последовала за ним по тропинке. Никто в Альбино не понимал, как это произошло, каким образом безмолвно познакомилась эта пара незнакомцев, словно — привожу фразу одного из жителей Альбино — «она наконец приехала к нему, а он давно ее ждал».

Эта деталь, надо вам сказать, переживалась и обсуждалась во время следствия постоянно, но следователь в конце концов решил не принимать ее во внимание из-за отсутствия доказательств. Все дело было и осталось довольно таинственным — одной деталью больше или меньше, ничего бы не изменилось. Следственные органы в Салерно сочли дело классическим примером «процесса на основании косвенных улик», а имевшиеся «косвенные улики» к тому же — немногочисленными и не слишком убедительными. Для жителей Альбино *всё*, от начала до конца, окутывала тайна с примесью ужаса.

Нет, я никогда не видел Инге Вайнерт. Чтобы быть точным — никогда не видал ее живой. О том, как она выглядела после смерти, мне бы говорить не хотелось. В Альбино рассказывали, что она была небольшого роста, подвижная, ни красивая, ни уродливая, немногословная и молчаливая, как и Винченцо Фазано. Поражал якобы ее взгляд: казалось, она не видит стоящего перед ней человека, или, скорее, смотрит сквозь него куда-то вдаль. У нее были серо-зеленые кошачьи глаза.

Итак, сразу после приезда она спустилась в дом на дне оврага и осталась там почти на год. Были ли они любовниками? Думаю, наивно об этом спрашивать. Каждые несколько дней Инге вместе с Винченцо поднималась верхом на кладбище. В основном проводила время на могиле мужа: вероятно, сторож все же каким-то образом открыл ей правду — могила вовсе не пуста. Что их связывало? Не знаю, просто ума не приложу, тем более что они ведь и объясниться по-человечески не могли. Могли вместе спать и вместе ухаживать за могилой поручика Манфреда Вайнер-

та. Фазано не скрывал своего счастья, обычно мрачное его лицо теперь часто освещала улыбка. Инге не изменилась, она была точь-в-точь такой, как в день своего приезда в Альбино. Иногда отправлялась в ближайший городок, к отыскавшейся там немецкой еврейке, занимавшейся керамикой — во время войны она пряталась у своего будущего мужа в Салерно, а потом поселилась с ним и сыном в городке, славившемся этим промыслом. После трагедии, во время следствия ее допрашивали. Она мало что могла (или хотела) сказать. Все повторяла, что Инге была влюблена в двух мужчин — погибшего мужа и его гробовщика.

Вот мы и подошли к самой катастрофе. Люди умирают и в августе, но с самого начала договорились, что в этом месяце Фазано будет свободен. Поэтому никто не удивился, когда в августе 1949-го Винченцо и Инге перестали появляться в Альбино. 28 августа живший неподалеку пастух гнал через овраг стадо коз. Из закрытого дома (даже ставни были заперты изнутри на скобы) доносился жуткий запах. Выломали двери: оба трупа уже разлагались. Они лежали на кровати, довольно далеко друг от друга; посередине в засохшей сукровице — револьвер. По заключению судебных медиков, смерть наступила около 15 августа. Остальное вы найдете в моих репортажах для салернской газеты, я охотно вам их дам. Если хотите, могу еще устроить доступ к материалам следствия в салернской полиции. Вряд ли с этим возникнут какие-то проблемы — дело уже довольно давно *archiviata*<sup>11</sup>.

## VI

Через два дня с экспресс-почтой пришла заказная бандероль — вырезки из салернской газеты, подписанные «Вито Ликола», или «В.Л.» Кроме двух за последние дни августа, все они относились к сентябрю 1949 г. Видимо, в октябре читателям уже приелось то, что пресса сразу же назвала «*l'affare dei due amanti di Albino*» — «делом двух любовников из Альбино».

Следует признать, что в своих репортажах Ликола избегал крикливых и сенсационных интонаций. Только в первом тексте, которым сопровождалась фотография обнаруженных в доме останков, он в описании позволил себе несколько фраз в духе «желтой прессы», неуместных в устах дальнего, правда, но все же родственника кладбищенского сторожа. Из последующих репортажей становилось ясно, что главный источник — жители Альбино — стремительно пересыхал. Журналисту даже удалось показать читателям, как постепенно, подобно раковине, закрывалась деревня — причем в воздухе витал иррациональный страх. По-своему «пи-

---

<sup>11</sup> Сдано в архив (*итал.*).



кантное», «дело двух любовников» с каждым днем все более превращалось в «un affare demoniaco»<sup>12</sup>, от которого лучше держаться подальше — любое произнесенное вслух слово может быть обращено против говорящего. Молчание казалось единственным спасением от ядовитых дьявольских флюидов, исходящих от дома на дне оврага.

Скромная и, похоже, бедная салернская газета рискнула пойти на расходы и послать репортера в Регенсбург. Он провел там три дня. Семью немецкого офицера не нашел вовсе — Вайнерт был родом из Дрездена, а в Регенсбург переехал перед войной по приглашению химического концерна (он только что закончил химический факультет). Семья его, видимо, погибла во время знаменитого налета союзников на Дрезден. Зато отыскался овдовевший отец Инге — одинокий, безногий, впавший в ма-разм инвалид войны, за которым ухаживала мрачная старуха. Инге она, похоже, недолюбливала, потому что, узнав о ее смерти в Италии, повеселела и даже не особенно скрывала своего удовлетворения. Прикованный к кровати старик-отец вообще не понял, что дочь трагически погибла. Он слышал, что ему говорят, но наготове у него был лишь один ответ — дурацкая приторная улыбка.

В полицейском dossier<sup>13</sup>, с которым, по протекции Вито Ликола, я смог ознакомиться, было множество «личных дел» — материалов допросов жителей Альбино. Они сильно уступали беседам салернского журналиста — сказывался дополнительный страх перед следователем. Зато мне показался важным стержень dossier: все крутилось вокруг вопроса, совершили ли Инге Вайнерт и Винченцо Фазано самоубийство по обоюдному согласию, или речь идет об убийстве, а затем самоубийстве убийцы. В обоих случаях неизбежно вставал вопрос о причинах, но при тщательном обыске в доме на дне оврага не было обнаружено никакого письма; впрочем, его могла бы написать только Инге, ведь Винченцо был неграмотным. Револьвер принадлежал Фазано, в его бумагах нашли разрешение на владение оружием («учитывая, что он живет в полной изоляции»).

Главный вопрос, о котором я сказал выше, стал предметом сложнейших — с моей точки зрения, чересчур усложненных — медицинских экспертиз. Врачи набросились на трупы, вскрытия не было конца, но даже такой профан, как я, мог понять по ученым протоколам, что это все равно переливание из пустого в порожнее. Две недели прошло с момента смерти, в нашем климате — да еще в августе! — это слишком долгий срок, чтобы вскрытие дало какие-то результаты. Ведь необходимо было установить все до мельчайших деталей: положение тела и состояние

---

<sup>12</sup> Дьявольское дело (итал.).

<sup>13</sup> Досье, дело (франц.).

мышц, посмертное выражение лица — оно, очевидно, должно быть разным у добровольного самоубийцы и человека, застреленного наяву или во сне (предполагалось, что убийство совершил Винченцо Фазано). Засохшая на револьвере сукровица делала невозможным снятие отпечатков пальцев, во всяком случае — при тогдашней следственной технике. Все эти бесчисленные мудреные выводы колебались между двумя гипотезами, причем сторонники версии самоубийства по обоюдному согласию оказались в большинстве (злоупотребляя аргументом забитых ставен). До самого конца следствия, хотя и меньшим числом голосов, не исключалась виновность Инге. Один из врачей категорически утверждал, что женщина была на начальной стадии беременности. Окончательное заключение звучало так: «Несмотря на разнообразные исследования и анализы, состояние останков не позволяет прийти к однозначному выводу об обстоятельствах смерти». На обложке dossier виднелась надпись, заверенная печатью и подписью следователя: «Il caso della morte (фамилии, личные данные и даты)... viene archiviato»<sup>14</sup>.

## VII

Естественно, все наперебой предлагали свои гипотезы. Признаюсь, у меня самого от них голова шла кругом. Что? Как? Почему? В конце концов, сколько-нибудь разумная и правдоподобная гипотеза была бы единственной серьезной моей лептой в рассказ, который я собирался назвать «Кладбище на юге», раз уж все остальное — чужой вклад, о чем предупреждал Паскаль: «Лучше бы авторы говорили «наша история», ибо чаще всего там больше чужого, чем их собственного». Не должен ли на самом деле подзаголовок звучать «Наш общий рассказ», а не «Открытый рассказ»? Я вернусь к этому в заключительной главе «Кладбища на юге». Там я попытаюсь привести доказательства в пользу своего подзаголовка.

У меня и в самом деле голова шла кругом от предположений — хотелось оставить в рассказе четкий отпечаток авторского «я». Подстегнутый нашими частыми встречами и беседами, Вито Ликола тоже решил вдруг из журналиста перевоплотиться в писателя (среди журналистов — распространенное хроническое заболевание) и наслаждался потоком собственных версий. Некоторые были простоваты, даже слегка вульгарны (они, в основном, строились на якобы обнаруженной беременности Инге Вайнерт). На моем лице, видимо, рисовалось такое отвращение, что мой салернский знакомый тут же, на всем скаку, осаживал коня (вернее — разогнавшуюся клячу) своего воображения. В одной из его гипотез, на первый

---

<sup>14</sup> Дело о смерти... в архив (*итал.*).

взгляд, все, как говорится, было на месте. Среди собранных им в Альбино показаний было и такое: кто-то, прийдя однажды на кладбище, оказался свидетелем ссоры между Инге и Винченцо (с помощью жестов, непонятных полуслов и хриплых возгласов) у могилы Манфреда Вайнерта. Они ссорились так ожесточенно, что в какой-то момент Винченцо ударил Инге по лицу, и вечером она вместо того чтобы спуститься с ним вниз, в дом на дне оврага, поехала на автобусе в «керамический» городок. На этом эпизоде Вито построил свою версию: быть может, Инге вдруг захотела вернуться в Регенсбург и забрать останки мужа? Для Винченцо Фазано второе было страшнее первого, — добавил Вито, никогда не забывавший о «кладбищенской некрофилии» своего дальнего родственника. Возможно. Но где доказательства, кроме ссоры на кладбище, которая могла быть вызвана каким-нибудь пустяком повседневной жизни пары со дна оврага? Не было никаких доказательств, не говоря уже о существенной неувязке в «основной концепции» журналиста. Дело в том, что Вито придерживался версии самоубийства по обоюдному согласию, а его гипотеза предполагала убийство, неважно, кем совершенное, и сразу после этого — самоубийство убийцы, напуганного призраком ареста, суда, тюрьмы. Мой собеседник замолчал и беспомощно уронил на колени беспокойные руки.

Некоторое время спустя во мне что-то стало меняться — сначала постепенно, затем все более стремительно. Меня переставали интересовать какие бы то ни было домыслы и версии на тему таинственного «дела двух любовников из Альбино», более того — я чувствовал, как мне все больше хочется обвести всю эту историю меловой чертой неприкосновенности. Я дошел даже до того, что читая романы и рассказы, воспринимал психологические интерпретации описанных событий и людей как злоупотребление со стороны автора, мне претило пресловутое — и когда-то так мною ценимое — любопытство писателя. Нет, я не только требовал от писателя сдержанности — я бы даже сказал, своего рода художественного такта — при его попытках заглянуть в глубь человеческой души. Я просто считал эти попытки — в том числе и, на первый взгляд, удачные — тщетными и несколько не приближающими к правде о человеке. Возьмем классический пример — Пруста. Ведь его якобы новаторское психологическое исследование — лихая демонстрация театрально-салонного жеманства, которое о человеческих чувствах и мыслях говорит столько же, сколько терпеливый слушатель в состоянии извлечь из бесконечной изысканной беседы (или светской болтовни). Другими словами — почти ничего. По-настоящему глубокий писатель уважает загадку, секрет каждого сердца, зная, что оно заключает в себе недостижимые и бездонные тайники, о которых он вправе лишь упомянуть — но никогда не должен, повинувшись гордыне, направлять на них сноп света «психологического анализа». Боже мой, «ясно ви-

деть в восхищении!»! Сколько чернил извели на восхваление этого прустовского девиза, который на поверку оказался оргией традиционных (пусть элегантных) и поверхностных наблюдений!

Дошло до того, что я стал сознательно избегать все более редких упоминаний о «деле» в прессе — отказался, например, читать репортаж в иллюстрированном журнале с массой фотографий, в том числе снимков Винченцо Фазано и Инге Вайнерт, явно позаимствованных из полицейского архива. Я предпочитал глазами воображения всматриваться в *мои собственные* портреты пары из дома в овраге. Я еще раз заглянул в Альбино, но не заговаривал с жителями деревни, опасаясь, что они вдруг обретут дар речи. На околице, у церкви я сел на скамейку и молча рассматривал «кладбище на юге», орошенное свежим утренним светом. Каким оно было необычным на плато над пропастью, со скалистым памятником шести рыбакам, «поглощенным Морем»! Как отчетливо я различал теперь его собственный безмолвный голос! Это был феномен, пожелавший остаться феноменом, выходящим за рамки реальности. Я не спеша пошел вверх, толкнул калитку и остановился у трех отделенных от кладбища могил в правом углу. Потом привстал на цыпочки возле стены. Промытый утренним светом овраг был прекрасно виден, более того, я мог поручиться, что необыкновенно отчетливо, словно выгравированный на стекле рисунок, выделялся на дне оврага дом. Выдержки я дольше, напряженно всматриваясь в скамейку перед ним, возможно, разглядел бы двух сидящих рядом призраков, о которых будто бы рассказывали в свое время пастухи, вынужденные гнать через овраг овец и коз. Стали ли они жертвами галлюцинаций, видений в лучах ослепительного южного солнца? Произошло ли бы то же самое и со мной — в награду за терпение? Стала ли жертвой галлюцинаций, видений гувернантка из «Поворота винта» Генри Джеймса? Тщетные наивные вопросы. И в этом измерении все подчинено правилу ясно видеть... нет, не в восхищении. В ошеломлении и ужасе. Гувернантка из рассказа Джеймса видела духов Зла, победоносных призраков с того света. Я — с высоты «кладбища на юге» — мог, возможно, увидеть призраков, рожденных от Смерти и Любви.

## VIII

Будь «Кладбище на юге» написано в то время, когда происходили описанные в нем события — в период, заключенный в рамки первых послевоенных лет и 1959—60 гг., — следовало бы поставить здесь точку. Но я написал его сейчас, в августе 1991 года, под действием как будто бы случайного, но важного для меня стимула.

В июле меня неожиданно навещил английский писатель Хью (слишком известный, чтобы вводить его в рассказ под настоящим именем). Мы

познакомились довольно давно, в Риме на фуршете у моих итальянских друзей. Он мне понравился, мы начали переписываться; в Лондоне, во время моих коротких вылазок в этот кошмарный город, два раза пошли вместе на lunch. Хью младше меня на десять лет. После окончания Оксфорда в нем проснулся писательский талант, очень скромный, но достаточный для того, чтобы основать небольшую фабрику романов. Тем проще это сделать в Англии, где романистика — хорошо налаженное ремесло: одна книга в год (чтобы читатель тебя не забыл); слепленная так, что не придерешься; не поражает, но и не безнадежно плоха; две-три спокойные рецензии; средний тираж, и издателю и автору гарантирующий среднюю окупаемость. Хью присылал мне каждый свой новый роман, я читал с ощущением скуки, но не без восхищения все более отточенным *metier*<sup>15</sup>.

Так что Хью — практически не предупредив, — приехал ко мне в июле на своей машине. Желая доставить приятелю удовольствие (он не рвался в места, рекламируемые путеводителями), я уговорил его совершить экскурсию к моим любимым «библейским» скалам. Они и в самом деле произвели на него сильное впечатление, но я кожей ощущал, что Хью по своему обыкновению ищет что-то, из чего могла бы вырасти очередная «story»<sup>16</sup>. И мы отправились в Альбино.

За все прошедшие годы мне ни разу не довелось вновь побывать там. Да честно говоря и не хотелось — в своих поездках я сознательно избегал этого места. Мне хватало хорошо законсервированного образа «кладбища на юге» и — быть может, прежде всего — образа двух фигур на скамейке перед домом на дне оврага, то живых, то призрачных. Я присутствовал в Салерно на службе за упокой души Вито Ликола в прекрасном романском соборе Св. Матфея. Случайно узнал о смерти старика Бартоло в Альбино. Одна за другой рвались нити, связывавшие меня со свидетелями драмы.

Так что по моему совету Хью повез меня в то место, которого я сознательно избегал. Уже по дороге, приближаясь к Альбино, я предчувствовал значительные перемены. По обе стороны дороги торчали в кюветах столбы с цветной рекламой: «Albergo<sup>17</sup> Ristorante La Gola» (это слово означает и «овраг», и «лакомство»). При въезде в город была устроена большая автостоянка. От нее через деревню вела новая дорога. Проходя мимо кладбищенской стены — тоже новой, потому что не хватало места, чтобы расширить старую узенькую тропинку, и теперь стена оказалась настолько вдавлена в кладбище, что почти поглотила три могилы в правом углу, — дорога, петляя, спускалась на дно оврага. На месте дома кладби-

---

<sup>15</sup> Ремесло, профессия (англ.).

<sup>16</sup> Повесть, история (англ.).

<sup>17</sup> Гостиница (итал.).



щенского сторожа возвышался пятиэтажный отель, окруженный садом, с еще одной автостоянкой — поменьше.

Спокойно смотреть на все это я был не в состоянии. Мы сели на скамейку перед церковью. И я рассказал своему английскому приятелю историю кладбища и оврага. Хью с волнением слушал. «Чудесная, необыкновенная история», — повторял он вполголоса. И только тогда я понял, какую совершил ошибку. Ведь он уже точит зубы на следующий роман: немка превратится в английскую туристку, и выйдет нечто в стиле Э. М. Форстера — книжка для английских читателей, обожающих итальянские вояжи. Этого я допустить не мог.

— Послушай, Хью, в некоторых рецензиях на твои романы я читал, что ты мастер эпилогов, один из критиков прямо так и сказал. Тебя считают учеником романистов прошлого столетия, обычно стремившихся довести фабулу до конца и считавших эпилог необходимым. Словно из окна отъезжающего дилижанса они показывали все уменьшающийся столбик дыма на горизонте — там, где происходило и закончилось действие. То, что я тебе рассказал, не имеет и не может иметь развязки, должно остаться *открытым*. Я бы сказал, открытым на все стороны — в зависимости от тонкости и воображения читателя. В противном случае история превратится в нагромождение странных банальностей. Тебе это должно быть понятно, ты ведь почти соотечественник Джеймса. Правда, молоденький герой «Поворота винта» умирает на руках у гувернантки, но это не эпилог. В рассказе все же есть что-то, что невозможно (и не нужно) назвать, что-то незаконченное, навсегда остающееся незамкнутым. Одним словом, существуют рассказы «открытые», и именно на такой рассказ я бы ориентировался, соберись сам писать на эту тему. Впрочем, если подумать как следует, большинство событий человеческой жизни отличается подобной открытостью, незамкнутостью, тяготеет над людьми, не предлагая никакой развязки.

— Похоже, ты таким деликатным образом обеспечишь свой *copyright*<sup>18</sup>.

Я не ответил. Но когда мы молча возвращались в Неаполь и в какой-то момент вдалеке на горе показалось расплывчатое в молочном солнечном тумане «кладбище на юге», — я понял, что Хью прав. Да, я напишу о этом открытый рассказ.

Спят мертвецы в земле, своим покровом  
Их греющей, теплом снабжая новым.  
Юг наверху, всегда недвижный Юг...

Август 1991.

---

<sup>18</sup> Авторские права (англ.).

## Тетрадь Уильяма Моулдинга, пенсионера

### Пояснение покупателя тетради

Все решил обыкновенный случай. В июне прошлого, 1991 года я поехал на месяц в Лондон по просьбе моей близкой, уже пожилой приятельницы Л. Одного только чувства глубокой к ней привязанности недостаточно, чтобы проглотить такую большую (а точнее, столь растянутую во времени) порцию Лондона. Мое отношение к этому городу отличается, мягко говоря, сильной аллергией. Аллергией в прямом значении слова, физической. Через две недели после приезда у меня днем стала довольно часто болеть и кружиться голова, а ночью начинались такие приступы удушья, что я сползал с кровати и простаивал у открытого окна своей комнатки на втором этаже полчаса, а то и целый час. Смотреть на спящий Путни (ибо я жил в этом районе) в густом, с фиолетовым отливом сумраке, совершенно неподвижный, будто вымерший, обратившийся в большое кладбище — нет, это было выше моих сил. Кроме приступов удушья появился какой-то неясный страх — мне казалось, что в каноз я слегка покачиваюсь на волнах желто-серого океана, не тронутых ни малейшим ветерком.

Две недели остались позади, впереди — еще две. Я пытался обмануть время, посещая музеи и картинные галереи, гуляя по лондонским паркам (один раз даже отправился в Хэмпстед Хиз — в том районе, где я провел несколько послевоенных лет), дважды просидел всю вторую половину дня в пустом кинотеатре «Эвримэн», недалеко от дома Л. Когда идеи иссякли — а от столь любимой мною Л. я свое состояние скрывал, — мне позвонил знакомый по военным и первым послевоенным годам. Мы договорились встретиться за чашкой кофе в «польском Лондоне». Послевоенный нищий превратился в человека сравнительно обеспеченного, чем обязан был «жизни в аукционном мире». Так он выразился, а дело было всего-навсего в том, что приятель мой знал в Лондоне все места, где проводились аукционы, целыми днями мотался с одного на другой; иногда ему случалось за небольшие деньги купить ценную вещь, что при продаже давало прибыль. «Глаз-алмаз, глаз-алмаз», — улыбаясь, гордо повторял он. «Нет, — поспешил он пояснить, — речь идет не о знаменитых аукционах на Бонд-стрит, где на картины мастеров, редчайшую мебель или фамильные драгоценности цены взвинчивают головокружительные — такие, как я, туда и заглянуть не решаются. Я говорю о небольших аукционных «сараях» (его собствен-

ное выражение) в разных районах Лондона (Лондон неисчерпаем! — добавил он), где распродают вещи скромных покойников, которые зачастую даже не отдавали себе отчет, какими сокровищами владеют. Поедем со мной завтра на Уиллсден Грин — аукционист-профессионал из тамошнего «сарая» сообщил мне, что готовится небольшая сенсация».

Я знал Уиллсден Грин, там, недалеко от станции метро, жил польский врач, к которому я был «приписан». Когда вечером я приезжал к нему на обследование или за рецептом, то шел словно ощупью — такими темными были улицы в тусклом желтоватом свете фонарей. Вероятно, днем эта мрачность уступала место обычной лондонской скуке и монотонности бедных домиков среди зелени, казавшихся опустевшими, словно после чумы.

Аукционный «сарай», Auction Hall и в самом деле был сараем — когда-то здесь, видимо, находилось то ли хранилище стройматериалов, то ли оптовый склад, то ли запасное пожарное депо. Собравшиеся на аукцион люди (не больше двадцати) на фоне расставленной у стен рухляди, старомодно одетые, с такими грустными лицами, будто они принимали участие в заупокойной мессе, неведомым образом создавали диккенсовскую атмосферу. Ведущий аукциона был будто вырезан из гравюр известного иллюстратора романов Диккенса — низенький, подвижный, непрестанно подергивающийся и подсказывающий на подиуме, постукивающий по столу молотком без всякой пока необходимости. Вскоре, однако, появилась и необходимость. На стол поставили деревянный сундучок. Мой знакомый обратился в слух.

Аукционист тараторил, брызгая слюной на свой изношенный жилет; он говорил с легким акцентом кокни, но понять его с грехом пополам было можно. Год тому назад, в июле 1990 г., в возрасте восьмидесяти пяти лет умер Дик Малбери, Mister Chief Hangman of England, главный палач Англии, вышедший на пенсию в 1956 году. Став пенсионером, он переселился на Путни под вымышленным именем Билл Моулдинг, а до пенсии жил с незамужней сестрой на Уиллсден Грин. После его трагической смерти сестра продала домик на Путни и перевезла к себе все, что осталось от брата. В этом сундучке — аукционист стукнул молотком по деревянной крышке — находятся три ценнейшие вещи из выставленных сегодня на аукцион. Прежде чем начать их перечислять и демонстрировать, он нарисовал — в словах, «от которых кровь стыла в жилах» — что-то вроде портрета покойного. Первой вещью оказался черный капюшон палача с прорезями для глаз, «использовавшийся с первой до последней казни». Стартовая цена 100 фунтов; дошло до 250 — за эту сумму его купил мой знакомый. Вторая вещь — кожаные жесткие и словно бы ороговевшие перчатки, в которых палач «открывал люк и казнил приговоренного». Стартовая цена снова 100 фунтов, на этот раз моему знакомому после бурного торга с женщиной в плюшевой мантилье и черной вуали пришлось выложить 470 фунтов. Он наклонился ко мне и шепнул:

«Я из этих вещей выжму минимум две тысячи». Прежде чем выудить из сундучка и показать третью вещь, аукционист голосом, от которого публика, очевидно, должна была в ужасе содрогнуться, напомнил, что «Mister Chief Hangman of England, для присутствующих в зале — знаменитый Дик Малбери — за десять лет работы повесил 433 мужчин и 17 женщин. Can you imagine that?»<sup>19</sup> И все это он описал в своей тетради, «Copy-Book of William Moulding, Pensioner»<sup>20</sup>, как гласит надпись на зеленой обложке». После объявления стартовой цены наступила тишина, затем три человека подняли ее до 140 фунтов — и вновь молчание. Я наклонился к своему знакомому: «Мне бы хотелось иметь эту тетрадь». Он крикнул «150!», больше никто не откликнулся, и все три вещи отправились в сундук. Моего знакомого тут знали достаточно хорошо, так что процедура выписывания чека заняла всего несколько секунд: «Возьми эту тетрадь от меня на память. В конце концов, мы вместе воевали. Отплатишь мне, как сам сочтешь нужным». С тетрадью Моулдинга-Малбери я вернулся к Л., ни слова не сказав ей о своей покупке. Оставшиеся до отъезда ночи я провел, листая тетрадку, а последние дни в любимом (мягко говоря) городе побежали теперь быстрее — за многочасовыми беседами с Л. и без обычных придинок к Лондону.

Перед отъездом я разыскал домик, в котором жил после выхода на пенсию Моулдинг-Малбери (адрес был указан на обложке тетради) — красивый домик с большим садом, на редко застроенной улице, ведущей к Putney Cemetery<sup>21</sup>. Сейчас в домике разместилось «Bible Society»<sup>22</sup>. А на кладбище благодаря сторожу, для которого лучшим аргументом послужили чаевые, мне удалось немного поразмышлять у могилы с большим свежим крестом и овальной эмалированной на нем табличкой: «William (Bill) Moulding, a Honest Godly Man, R. I. P., in Loving Sorrowful Memory of His Sister Mabel Mulbery»<sup>23</sup>.

### Copy-Book of William Moulding, Pensioner

1. Разумеется, это был обычный рекламный трюк — слова аукциониста о том, что Mister Chief Hangman of England «описал все это в своей тетради» (то есть почти четыреста мужских казней и почти двадцать женских). Его тетрадь была вообще не хроникой или реестром палача, а всего лишь начатыми в 1956 году, после выхода на пенсию, свободными записями без ладу и складу (в этом смысле название «Тетрадь пенсионера» точно соответствует содержанию) — почему и зачем начатыми, не очень, впрочем, понятно. Во

---

<sup>19</sup> Можете себе представить? (англ.).

<sup>20</sup> «Тетрадь Уильяма Моулдинга, пенсионера» (англ.).

<sup>21</sup> Кладбище Путни (англ.).

<sup>22</sup> «Библейское общество» (англ.).

<sup>23</sup> Уильям (Билл) Моулдинг, честный праведник, покойся с миром, навеки оставаясь в скорбной памяти его любящей сестры Мейбл Малбери (англ.).

многих местах Малбери-Моулдинг клеивал газетные вырезки, не слишком — и тут он был прав — доверяя своему умению писать. Писал он ужасно. Окончив лишь начальную школу, он, будучи палачом, брался за перо лишь в двух случаях — подписывая свидетельство казни и получая зарплату. В юности, поселившись в Лондоне, он, вероятно, писал возлюбленной в Кардифф. Но ответов в его убогом архиве нет, так что это представляется скорее сомнительным. По сути, он был человеком полуграмотным.

И грамотность эта была неловкой, неуклюжей, отражавшей, видимо, вялость его ума. Оказалось очень трудно расшифровать и привести в относительный порядок фразы, не говоря уже о законченных заметках — хаотические, полные лакун, недомолвок или просто проглоченных по дороге слов, попытки настичь мысль. Поэтому цитировать фрагменты тетради я буду редко — лишь там, где автору чудом удалось выдать из себя нечто более-менее осмысленное.

Как случилось, что он купил у Смита эту тетрадь — двести страниц в твердой зеленой обложке — и под типографской надписью «Cory-Book» дописал «of William Moulding, Pensioner»? Вероятно, большую роль тут сыграла праздность пенсионера, не знавшего, чем заполнить долгий одинокий день. Однако я думаю, что истинным стимулом было другое. В октябрьском номере «Лондон Иллюстрэйтед Ньюс» за 1956 г., преданным читателем которого Малбери был вплоть до самого закрытия журнала, он обнаружил свою роскошную фотографию на толстой глянцевой бумаге, снабженную коротким сообщением о том, что Chief Hangman of England, Mr. Richard (Dick) Mulberry только что вышел «на заслуженную пенсию после десяти лет образцовой службы на благо государства и общества». Ниже журнал — очень консервативный — поместил в декоративной рамке редакционную оду палачу: «Жозеф де Местр писал, что палач вешает и рубит головы в соответствии с особым декретом Неба, что без него порядок сменяется хаосом, рушатся троны и разлагается общество». Малбери наверняка не знал, кем был Жозеф де Местр, но ему захотелось (подозреваю) сохранить на память колонку «Л.И.Н.» со своим портретом и поздравительным письмом еженедельника. Не исключено, что ради этого он и решил купить у «Смита» тетрадь.

2. Мистер Палач (я буду называть его так, чтобы избежать необходимости выбора между настоящей и вымышленной фамилией), видимо, носился с идеей написать краткую автобиографию, потому что первая длинная запись посвящена его жизни до занятия «ответственного поста» (его собственные слова) в Лондоне. Или же, что представляется более правдоподобным, по требованию начальства ему не раз приходилось писать служебное *curriculum*<sup>24</sup>, крепко засевшее в его тупой голове.

---

<sup>24</sup> Биография (лат.).

Так или иначе, из автобиографии можно узнать, что родился он 1 мая 1905 года в Кардиффе — единственный сын шахтера по имени Джонатан. Сестра Мейбл была значительно младше. Мать звали Маргарет, девичья фамилия ее была Пибоди. Отец с братом Джоном (холостяком) работали в угольной шахте. Джон жил у них в мансарде. Каждый день после ужина отец читал вслух отрывок из Библии — при этом за столом должны были присутствовать все, даже маленькая Мейбл. Когда восемнадцатилетний Билл уже собирался впервые спуститься на дно шахты, его отца и дядю приняли по их просьбе надзирателями в лондонскую тюрьму Вормвуд Скрабс. Юноша остался с матерью и сестрой в Кардиффе, работал в шахте. В тот год, когда мать умерла от чахотки, ему исполнилось тридцать. У него была невеста — Роз Уиллис. После смерти матери отец забрал детей в Лондон. Именно тогда отец и дядя стали палачами — свои обязанности они выполняли по очереди. Отец гордился тем, что приводит в исполнение приговоры божественного правосудия. Он постепенно готовил сына себе на смену — того тоже устроили на работу в тюрьму. Помолвка с Роз была разорвана, будущий Мистер Палач оставил мысли о создании собственной семьи. Отец и сын погибли во время бомбардировок Лондона, незадолго до конца войны. Их преемник впервые привел приговор в исполнение в 1946 году. «Я работал десять лет, для нашей профессии это очень много, отец и дядя погибли после семи лет почетной (*honorable*) службы».

Под автобиографией Мистер Палач вклеил записку «Shame»<sup>25</sup>, вырезанную из «Ивнинг Стэндард». Автор записки, репортер лондонской «вечерки», отправился на Уиллсден Грин, намереваясь взять интервью у недавно вышедшего на пенсию палача. Госпожа Мейбл Малбери, сестра, со слезами на глазах (*no wonder!*<sup>26</sup>) сообщила репортеру, что брат переехал неизвестно куда и поменял фамилию. Почему? Пока он был палачом, все соседи относились к нему с опасливым почтением. Но став пенсионером, он ежедневно сталкивался с афронтами в пабе, от него отворачивались на улице, он перестал посещать службу в методистской церкви, заметив, как отодвигаются от него люди. Где он живет теперь? Уехал ли из Лондона? Госпожа Мейбл долго смотрела в глаза репортеру, после чего ответила: «Не знаю, он даже мне не сообщил адреса и новой фамилии. Oh, what a shame!»<sup>27</sup> Он никогда не приезжает навестить сестру? Один раз приехал поздно ночью. Она сидела перед ним и плакала, а брат своими большими руками гладил ее по лицу. Под вклеенной в тетрадь вырезкой он дописал: «I am dead for my sister, I am dead for everybody on earth, but not for the Haeven's Ruler»<sup>28</sup>. Он воспользо-

---

<sup>25</sup> Стыд, позор (*англ.*).

<sup>26</sup> Неудивительно (*англ.*).

<sup>27</sup> О, какой позор! (*англ.*).

<sup>28</sup> Я умер для своей сестры, я умер для всех на земле, но не для Властителя Небес (*англ.*).

вался этим оборотом вместо слова God<sup>29</sup>, выучив, по-видимому, наизусть сентенцию Местра об «особом декрете Небес». (Де Местра он в дальнейшем именовал «This very wise French gentleman»<sup>30</sup>).

3. Долго я вглядывался в фотографию, вырезанную из «Иллюстрэйтед Лондон Ньюс». В пятьдесят лет — судя по дате в углу — он вовсе не выглядел человеком на пороге пенсии. Но один год его «специфической» работы считался за два, а может, и за три. «Специфической» — в смысле нервного и эмоционального напряжения. Его дядя Джон, проработав пять лет, провел три месяца в больнице для душевнобольных. Известен случай, в начале двадцатых годов, когда палач покушался на собственную жизнь.

Лицо на снимке, казалось, противоречило этой «специфике». Каменное, грубо вытесанное, с низким лбом и жестким взглядом из-под густых бровей, с выдающейся нижней челюстью (признак упорства или тень жестокости?), оно сочетанием силы и отваги напоминало лицо путешественника или исследователя. Женщина бы воскликнула: «Боже, какой красавец!» Тетрадь умалчивала о сентиментальной стороне его жизни, хотя из одной неуклюжей фразы можно было сделать вывод, что, видимо, испугавшись, Роз Уиллис разорвала помолвку (не исключено, что после того, как поняла, куда ведет его жизненный путь). Еще одна фраза — выделенная из остального текста, записанная на отдельной странице, оборванная на полуслове, могла дать некоторое представление о его эротических пристрастиях, сформировавшихся на пенсии. «Мне нравились мальчики из хора (видимо, церковного) и со стадионов, but they were panicky (!), when I was trying to approach them»<sup>31</sup>. И сразу после этого: «They misunderstood my intentions»<sup>32</sup>. Вполне возможно, что намерения его вовсе не были такими уж невинными — плод смутных желаний старого холостяка, тянувшегося к юности.

Неизменным предметом его гордости (о чем он часто упоминал), была служебная пометка на всех четырехстах пятидесяти протоколах о приведении приговора в исполнение о том, что казнь состоялась «without a hitch»<sup>33</sup>, так сказать, «без сучка, без задоринки». Эта оценка начальства говорила о многом. Мистер Палач не мог отказать себе в удовольствии подробно разъяснить ее суть в одной из самых длинных и наиболее — относительно — грамотно сделанных записей. Он даже дал ей заглавие — «High Efficiency» — «Высокое мастерство».

---

<sup>29</sup> Бог (англ.).

<sup>30</sup> Этот очень мудрый французский джентльмен (англ.).

<sup>31</sup> Но они впадали в панику, когда я пытался приблизиться (англ.).

<sup>32</sup> Они неправильно понимали мои намерения (англ.).

<sup>33</sup> Безукоризненно, гладко (англ.).

Тщательную подготовку, «meticulous preparations», — писал он, — которая должна обеспечить результат «without a hitch», следует начинать накануне казни. Рано утром вместе с помощником Мистер Палач деликатно определяет рост и вес приговоренного, чтобы определить высоту падения (первоначальные данные в документах приговоренного чаще всего не соответствуют действительности после долгого пребывания в тюрьме). «Деликатно» — значит так, чтобы приговоренный ничего не заметил, то есть, как правило, исподволь, через приоткрытое окошечко в двери камеры. Вечером того же дня устраивается генеральная репетиция — роль заключенного играет набитый мешок того же веса — необходимо убедиться, что веревка нужной длины и не будет слишком медленно душить приговоренного, но и не оторвет ему голову. Назавтра за два-три часа до назначенного времени Мистер Палач входит в камеру. Он должен быть очень вежлив, но не выказывать нарочитого лицемерного дружелюбия. Психологически это turning point<sup>34</sup>, трудный и, к сожалению, не всегда successful<sup>35</sup>. Если приговоренный пожмет протянутую ему руку, можно на пятьдесят процентов быть уверенным, что все пойдет гладко, according to the plans<sup>36</sup>. Если же откажется, следует быть готовым к неприятным сюрпризам. Но как правило, заключенный руку пожимает, причем с преувеличенным энтузиазмом, словно подсознательно ожидает от доброжелательного палача помилования или помощи. «What a strange animal (sic) a man is!» — «До чего же странное животное человек!» — вот единственный в «Тетради пенсионера» философский возглас. Если приговоренный пожал руку, то, возможно, он согласится также сыграть партию в домино и выкурить сигарету — это весьма желательно. Важно, чтобы в последний момент приговоренный сидел спиной к двери, через которую в сопровождении чиновников и священника войдет палач, потому что случается (хотя и редко), что заключенный оказывает сопротивление, и тогда вместо того, чтобы спокойно вывести из камеры, его вытаскивают — связанного, вырывающегося — и волокут до самого места казни. Среди упрямых приговоренных встречаются и буйные, отмечающие свой последний путь богохульством, проклятиями, плевками. Если приговоренный сидит спиной к двери камеры, все совершается молниеносно, как по маслу: дверь энергично распахивается, заключенному связывают за спиной руки, процессия почти торжественно (almost solemn) движется к эшафоту. Соответствующее место на люке заранее обведено мелом. Приговоренному связывают ноги, на голову надевают белый капюшон и петлю с подвижным медным кольцом. Мистер Палач надевает свой черный капюшон и натягивает перчатки. «Everything is fit and ready»<sup>37</sup>, — так, не без ноты самодовольства, заканчивается это описание.

---

<sup>34</sup> Решающий момент (англ.).

<sup>35</sup> Успешный (англ.).

<sup>36</sup> Согласно плану (англ.).

<sup>37</sup> Всё в полной готовности (англ.).



4. Очередная вырезка вклеена без обозначения источника, названия газеты — указана лишь дата, 1963 г.: это большая статья «The Hanging of Edith Thompson, Forty Years Ago»<sup>38</sup> без подписи. Составитель «Тетради пенсионера», видимо, знал об этом знаменитом в его деле (если можно так выразиться) случае, но лишь из вторых рук, очевидно, по рассказам отца и дяди, которые, впрочем, не могли участвовать в этой казни непосредственно, поскольку в судебных летописях она значится под 1923 годом.

Эдит Томпсон была болезненной некрасивой женщиной лет под тридцать. Муж — ночной рабочий, покорный и послушный — мечтал лишь о ребенке, к жене относился с должным уважением. Нет, детей у них не будет, — объяснил врач. Муж, прежде непьющий, запил, стал непредсказуем и агрессивен, хотя с женой обращался по-прежнему хорошо. В соседнем доме жил холостяк полицейский, сначала флиртовавший с Эдит через заборчик в саду, а затем ставший ее любовником. (На процессе она уверяла, что ради мужа, которому врач поставил диагноз «бесплодие», хотела родить хотя бы чужого ребенка). Однажды ночью муж вернулся домой уже через два часа после ухода — на фабрике он почувствовал себя плохо, потерял сознание, началось кровотечение. Любовников он застал на супружеском ложе. Несмотря на слабость, бросился на полицейского с железным ломом. Соперник зарезал его тринадцатью ударами кухонного ножа. На процессе полицейский показал, что Эдит приставала к нему с просьбами убить мужа (она слушала эти показания, тихо плача) и что он действовал в рамках самозащиты. Его приговорили к шести годам тюрьмы, а Эдит — к смертной казни «за подстрекательство любовника к убийству мужа» (так было записано в приговоре).

Во время казни из приговоренной — прежде чем та исчезла в люке — буквально вывалились внутренности («her insides, — писал автор статьи, — fell out, before she vanished through the trap»). Участники сцены все заплатили за это зрелище нервным расстройством. Спустя несколько недель палач Эллис пытался покончить с собой. Начальника мортонской тюрьмы инспектор чуть позже описал так: «Мне никогда не доводилось видеть, чтобы психические страдания до такой степени исказили внешность человека». Тюремный капеллан Мюррей рассказывал о сцене казни: «Когда мы собрались, казалось совершенно невероятным, что мы оказались там, чтобы... Боже мой, инстинктивное желание броситься и спасти ее силой было почти непреодолимым». Заместительница начальника тюрьмы, мисс Кронин, женщина от природы суровая и несентиментальная, заметила о повешенной: «Будь она помилована, могла бы, я думаю, стать очень хорошей женщиной».

Вывод автора был краток. На примере Эдит Томпсон — через сорок лет после ее повешения — видно, насколько разумной, необходимой и человечной (подчеркнуто им) была отмена смертной казни.

---

<sup>38</sup> Казнь Эдит Томпсон — сорок лет назад (англ.).

Мистер Палач-пенсионер не соглашался с этим. Довольно путано и невразумительно, в явном раздражении, он подчеркивал (I would like to stress<sup>39</sup>) два момента. Во-первых, в статье предполагается, хотя и не говорится напрямую, что Эдит Томпсон, возможно, была невиновна. «Так вот, я хочу заявить раз и навсегда, что не бывает так, чтобы приговоренный к повешению по декрету Неба (as this very wise French gentleman says<sup>40</sup>) попадал в руки палача невиновным; если его приговорили, значит он виновен, absolutely guilty<sup>41</sup>. Во-вторых, старинная инструкция по совершению казней категорически требует, чтобы женщинам перед казнью надевали обтягивающие и непромокаемые панталоны во избежание описанных выше неудобств». Возможно (что удивительно), палач Эллис забыл об этом и, следовательно, вел себя в высшей степени non-professional<sup>42</sup>, что, вероятно, и подтолкнуло его позже к попытке покушения на собственную жизнь. А может быть, в 1923 году «непромокаемость материи, из которой шили специальные панталоны для приговоренных к повешению женщин, не достигла еще совершенства, каким она обладала в период моей службы».

5. В послевоенные годы я часто навещал в Путни друзей. Каждый раз, приехав на метро из Хэмпстеда, я ждал возле станции автобус. На противоположной стороне в маленьком, очень обшарпанном домике — предназначенном, видимо, в будущем для выкупа и сноса строительными предпринимателями или районным жилищным управлением — находилось «Bible Society». В послеобеденные и предвечерние часы я наблюдал за посетителями. В основном одинокие, они доплывали до своей духовной пристани с трудом, медленными усталыми шагами, входную дверь открывали словно с облегчением. Однажды в пронизывающий холод и туман проторчав на своей остановке, я решил на минутку зайти в «Bible Society» погреться. Да, его завсегдатаями были в большинстве своем старики — они молча сидели на скамьях вокруг столов; кое-кто дремал, опустив голову на грудь. Молодежь должна была читать вслух и комментировать Библию, отвечать на немногочисленные вопросы. Вдоль стен стояли застекленные шкафы с открытыми экземплярами Библии на разных языках. Атмосфера царила суровая — дух обособленности, убежища во время бури. Библия была светом во тьме, опорой, залогом Единственного Пути — в значительно большей степени, чем церковная литургия.

Рассматривая стариков, я размышлял об одном стихотворении Кавафиса, которого читал в то время беспрерывно (по-английски) — о стихотворении

---

<sup>39</sup> Мне хотелось бы подчеркнуть (англ.).

<sup>40</sup> Как говорит этот очень мудрый французский джентльмен (англ.).

<sup>41</sup> Абсолютно виновен (англ.).

<sup>42</sup> Непрофессионально (англ.).

«Души старцев». «Изношены тела, где, съжившись в комочек, ютятся души старцев. Их гнетут печали, ведь они давно не ждут от жизни ничего, и если все же дорог для них остаток дней, то не без оговорок...»<sup>43</sup>. И другое стихотворение Кавафиса — «Стены» — вспомнилось мне, когда, никем не замеченный, я с порога охватывал взором весь этот библейский храм или, точнее, приют: «...Гигантские вокруг меня воздвигли стены... как не заметил стену, что росла! От мира отгорожен я неслышно и незримо»<sup>44</sup>. Они сами отрезали себя от мира в бедном домике в Путни, огражденные со всех сторон Библией, вслушиваясь в ее строки, веря, что можно скрыться от мира под спасительными крылами Высшего (и Справедливого) Законодателя и Судьи.

Сюда и приходил, выйдя на пенсию, почти ежедневно Мистер Палач. Жил он недалеко и мог несколько часов дышать воспоминаниями детства и отрочества, библейскими вечерами за семейным столом в Кардиффе; мог — это еще важнее — утверждаться в мысли, что в свое время исполнял свои обязанности в соответствии с духом Ветхого Завета. Новый Завет, вслед за отцом, он считал «религией слабаков» — «a religion of weaklings».

Иногда он описывал в тетради визиты в «Bible Society». Его слова — пусть неуклюже, но недвусмысленно — свидетельствовали о том, что в этих посещениях он черпал отдохновение и силы.

До 1970 года. Прежде чем попытаюсь по «Тетради пенсионера» восстановить, что же, собственно, произошло в 1970 году, я затрону тему, которой до сих пор избегал, тему *оттенков* работы, выполнявшейся Мистером Палачом. Хотя он старался их смазать, я не сомневаюсь, что такие оттенки существовали. Десятилетняя его служба началась с казни баронета Хоукинса, английского аристократа, «тяжавшего» во время войны по гитлеровскому берлинскому радио. Жатва первых послевоенных лет была обильной. Однажды меньше чем за сутки он повесил двадцать семь военных преступников. И то и другое он вспоминал с упоением, будто «without a hitch» имело здесь особый оттенок. Потому, думаю, что он болезненно пережил гибель отца и дяди под немецкими бомбами. И не мог не наслаждаться местью.

Однако, несмотря на равнодушно «профессиональные» и лишенные какой бы то ни было жалости замечания о казни Эдит Томпсон, казни женщин давались Мистеру Палачу нелегко (хотя выполнял он их образцово). В чем было дело, он не хотел или не умел открыть в своей тетради. А ведь в немногочисленных упоминаниях о казнях женщин нельзя не заметить оттенка неприязни, гримасы раздражения. Как нельзя не заметить вздоха облегчения, когда за год до пенсии он повесил Доррис Нортон, о которой среди юристов ходили слухи, что она последняя в Англии женщина, приговоренная к смерти. Она отравила жену своего любовника. Улики были слабыми, неоднознач-

---

<sup>43</sup> Пер. Е. Солоновича.

<sup>44</sup> Пер. С. Ильинской.

ными, но она призналась сама, с какой-то непонятной и горячей страстью, сразу после начала процесса. Для присяжных и судьи этого оказалось достаточно. В прессе с каждым днем набирала силу кампания против смертной казни, приговор огласили и привели в исполнение словно бы в спешке. Предчувствуя, что с этих пор уже ни одна женщина не взойдет на эшафот.

Зимой 1970 года — а ту зиму в Лондоне называли самой суровой за последние полвека — в «Bible Society» появился новый член. Женщина — лектор, толкователь Библии — неопределенного возраста, от сорока до пятидесяти. Он сразу заметил ее сходство с Доррис, заметил также, что во время лекции она не сводит с него глаз. Доррис Нортон была единственной из четырехсот пятидесяти повешенных, чье лицо он хорошо запомнил — возможно, потому, что, по слухам, на виселице она должна была стать последней. А новенькая казалась ее постаревшей копией. Вечером, расписываясь, как всегда, при выходе в регистрационной книге, он взглянул на столбик фамилий. Рут Нортон. Она могла быть только сестрой Доррис, причем, возможно, даже сестрой-близнецом. В тот день он вернулся домой встревоженный, возбужденный — «I was terribly agitated»<sup>45</sup>. Почему она так упорно его рассматривала? Знает ли она, кто он? В «Bible Society» он фигурировал как Уильям Моулдинг, но понимал, что однажды кто-нибудь может его узнать. Что было и в самом деле странно — «what was really strange»: он с первого взгляда проникся к ней огромной симпатией, захотел наконец обрести подругу. Не подругу в *этом* смысле — ему недавно исполнилось шестьдесят пять, и *этим* он занимался очень редко в лупанаре на Фулхэм, а просто близкого человека, с которым можно сходить в кино или погулять, женщину, которой можно предложить afternoon tea<sup>46</sup> и неторопливую беседу. Он тут же осознал две вещи. Первое — тот факт, что он никогда ни с кем не разговаривал дольше, чем четверть часа. Его словоохотливость умерла в Кардиффе.

Рут Нортон пробыла в «Bible Society» не больше месяца. Она объявила о своем уходе в последний момент, в конце лекции, добавив, что ее направляют в Бирмингем. Со всеми попрощалась. А его отвела в угол и с глазу на глаз коротко произнесла: «Вас зовут не Уильям Моулдинг. Вы бывший палач Малбери. Вы повесили мою сестру Доррис. Я хочу, чтобы вы знали: я все знаю. Остальное — на вашей совести. Я любила Доррис».

На следующий день он не пришел в «Bible Society». И не приходил больше никогда. Воспоминание о Рут на учительской кафедре было для него «unbearable» — невыносимо.

6. Второе, что он внезапно осознал, было еще тяжелее и привело к долгому периоду «отчаянного смущения» (такое состояние было для него со-

---

<sup>45</sup> Я был ужасно возбужден (англ.).

<sup>46</sup> Послеобеденный чай (англ.).

вершено неожиданным и вызывало в нем панику, порой сердцебиение, столь сильное, что, пытаясь его унять, он неподвижно лежал на кровати, глядя в потолок). Для меня же совершенно неожиданным и поразительным оказалось выражение «a desperate confusion», вышедшее из-под его пера.

Итак, он осознал, что за исключением Доррис Нортон, не помнит лиц ни одного из четырехсот пятидесяти человек, которых отправил на тот свет. Все они слились в черную массу, в какую-то огромную черную (обязательно черную) скалу, придавливающую его к земле, хотя он пытался руками оттолкнуть ее или хотя бы остановить. Это усилие показалось ему — возможно, и справедливо — причиной его неприятностей с сердцем.

Полбеды днем, когда он мог бороться с этим чувством. Но ночью! Сон был ночным кошмаром, «a nightmare»: ему то мерещились различные на черной скале человеческие черты — черты, которые не затрагивали ни единой струны в его памяти, были немые — то снова одна сплошная чернота, подвижная, но ленивая, словно поток липкой массы, подступающая ко рту, носу, глазам. Тогда он с криком просыпался, благодаря Господа, что живет один и никто его не слышит.

Он записал в тетради печатным буквами: «Я больше не выдержу этого ада». In extremis<sup>47</sup> ему пришла в голову идея, на первый взгляд, разумная. Он направил знакомому чиновнику Home Office<sup>48</sup> письмо, в котором просил предоставить документы (вместе с фотографиями) людей, повешенных им в 1946—1956 гг., мотивируя свою просьбу намерением написать воспоминания, чтобы подработать к своей скромной пенсии; якобы эту идею ему подкинул профессиональный ghost-writer<sup>49</sup>. Он получил сухой ответ, всего две фразы: по отношению к работникам с *его послужным списком* (подчеркнуто) действует запрет на публикацию воспоминаний (Special Activities Act 1903). Этот запрет не относился, разумеется, к журналистам, так что вскоре (словно по мановению волшебной палочки) он увидел на Фулхэм витрину книжного магазина, всю заставленную экземплярами «The People Dick Mulbery Hanged»<sup>50</sup> Джонсона и Мьюра. В центре витрины лежала книга, открытая на иллюстрации — шесть тюремных фотографий людей, названных по имени и обозначенных в подписи внизу как «a probable judiciary error»<sup>51</sup>. Рядом с заглавием красовалась его фотография из «Лондон Иллюстрэйтед Ньюс». Тогда он благословил свое решение уехать из Уиллсден Грин и еще раз запретил сестре давать кому бы то ни было его адрес в Путни. Его домик рядом с кладбищем, к счастью, стоял особняком и не бросался в глаза.

<sup>47</sup> В крайнем случае; здесь: доведенному до крайности (лат.).

<sup>48</sup> Министерство внутренних дел Великобритании.

<sup>49</sup> Человек, пишущий за кого-то (англ.).

<sup>50</sup> Те, кого повесил Дик Малбери (англ.).

<sup>51</sup> Предположительно — судебная ошибка (англ.).

Он прочитал книгу Джонсона и Мьюра дважды, с немалым трудом, спотыкаясь на незнакомых словах и юридических терминах. Сначала гневно отвергал понятие «judiciary error» — «судебная ошибка» — даже снабженное уточнением «probable». Потом стал сомневаться, особенно когда часами вглядывался в фотографии повешенных. Авторам удалось добыть (как — их профессиональная тайна) сорок восемь фотографий, в книге было восемь иллюстрированных страниц по шесть тюремных снимков каждая. Для нашего времени поразительный (и вызывающий некоторое уважение) факт — журналисты отказались от идеи выманить или купить семейные фотографии приговоренных у их живых родственников.

Эти фотографии все сильнее притягивали его внимание. К тексту — описанию преступлений повешенных им людей и судебных процессов — он относился со все большим безразличием. Он постоянно возвращался к восьмистраничной вкладке. Из сорока восьми лиц — в том числе пяти женских — он не помнил ни одного. С ним происходило что-то загадочное, чего он не мог ни понять, ни, тем более, выразить. «What happened to me, what is happening to me?»<sup>52</sup> Многократно повторенный в этой части тетради вопрос всплывал из путаного бормотания с каким-то драматическим и беспомощным упорством. Пытаясь вернуть психическое равновесие, он инстинктивно старался убедить себя, что «все они были виновны» — «they were all guilty, all of them». Это не помогало. Даже их бесспорная (в его понимании) вина влекла его к ним и одновременно словно выталкивала из мира живых. Когда-то он стирал их с лица земли своим нехитрым «without a hitch», а теперь неотступно следовал за ними, не ощущая за собой никакой вины, что бы это слово ни означало в устах подобных устам Рут. Милосердие? Участник собраний и лекций в «Bible Society» не понимал, что это такое. По его сбиту с толку сознанию проплывали темные тучи.

Только в одном избежавшие забвения лица принесли ему некоторое облегчение. Ему стали сниться другие сны. Тяжелый черный камень исчез, остановился поток черной массы, их место заняли лица с фотографий. Теперь он просыпался не с криком, а с кашлем, который ему — непривыкшему ронять хоть слезинку — заменял сухое рыдание. Вместо «отчаянного смущения» появилась «общность человеческого несчастья» — «a community of human disgrace». Она приносила ему временное ощущение покоя. Иногда его ненадолго посещала мысль о самоубийстве, очень ненадолго, всего на мгновение — ведь в нем воспитали презрение к самоубийцам. Смерть могла исходить лишь от Высшего Судьи — лично или же от направленной им карающей руки. Но он придумал себе кое-что взамен: купив на Putney Cemetery могильный участок, окружив его низенькой оградой, в хорошую

---

<sup>52</sup> Что случилось со мной, что со мной происходит? (англ.).

погоду он приходил туда и «стоял словно над собственным прахом», переживая мгновения особого удовлетворения, если не счастья. В последнее время, в середине июля 1990 г., когда он возвращался с кладбища домой, его на некотором расстоянии сопровождала идущая по противоположной стороне пустой обычно улицы группа парней — рослые, смеющиеся, пестро одетые, с бритыми головами, они пели и играли на гитарах... «I was almost happy, я был почти счастлив», — гласили последние слова тетради.

7. Остальное можно только реконструировать. Примерно известно, что произошло ночью 18 июля 1990 г., но известно весьма приблизительно — декорации очень расплывчаты, скрыты за клубами тумана. Мой лондонский знакомый — тот, что купил мне «Тетрадь Уильяма Моулдинга» и которому, вернувшись в Италию, я в благодарность послал красивую акварель довольно известного неаполитанского художника — итак, мой знакомый выразил готовность подобрать и прислать мне «исчерпывающую документацию из прессы». Она и в самом деле была исчерпывающей — около сотни вырезок за период с 10 по 25 июля, когда публика проявляла интерес к так называемому «делу палача Малбери».

Точно восстановить ход событий оказалось неимоверно трудно, поэтому журналисты не отказывали себе в удовольствии ткать домыслы и фантазий подлатать чересчур большие дыры, которые, казалось, невозможно заполнить.

Удивление вызвало подлинное имя убитого. Его сестра, узнав, в каком состоянии нашли останки, отказалась ехать из Уиллсден Грин в Путни для формального опознания, представив медицинскую справку о том, что у нее большое сердце; однако подтвердила, расписавшись на специальном бланке, что с 1960 года ее брат, Chief Hangman Малбери, поселился в Путни под вымышленным именем Уильям Моулдинг; что она знала, но никому не давала его адрес согласно «категорическому и суровому требованию заинтересованного лица». Полиция, хотя и неохотно, удовлетворилась заочным опознанием.

Во всех статьях писали как об абсолютно доказанном факте, что несколько дней (видимо, с 15 июля) «стая молодых хищников» с Роухэмптон или из Уимблдона выслеживала в Путни одинокого старика (85 лет!), провожая его от кладбищенских ворот до калитки дома. Все указывало на то, что, воспользовавшись благодушным в эти дни настроением хозяина (как показал кладбищенский сторож) и, очевидно, тем, что не вызвали у него никаких подозрений, парни напросились на рюмочку около шести вечера 18 июля. После вскрытия врачи предположили, что пытки начались около восьми и продолжались до полуночи, до самой его смерти. Что это были за пытки (в рот ему сразу сунули кляп), можно лишь догадываться по полицейскому запрету давать в газетах их описание. Один из полицейских вы-

давил, упорно глядя себе под ноги: «absolutely indescribable»<sup>53</sup>. На пресс-конференции следователь сказал: «Невероятно, что человек способен придумать подобное». Преступники (которых, в конце концов, арестовали 4 декабря 1990 г.; если бы не отмена смертной казни, вся пятерка закончила бы свои дни на виселице) не тронули дом в Путни, не украли ни денег (в ящике стола лежали триста фунтов), ни ценных вещей, только исписали белые стены кровью жертвы. Содержание этих надписей, согласно требованию полиции, в газеты также не проникло. Их непристойность вместе с необъяснимой спонтанной ненавистью была, видимо, чудовищна, во всяком случае, непригодна для прессы. Что самое важное, ни одна из надписей не указывала на то, чем занимался убитый в течение десяти лет, до пенсии. Палачи и убийцы вообще не знали, что четыре часа издевались над бывшим палачом. Их выбор был случаен, они с таким же успехом могли замучить до смерти кого-нибудь другого — просто ради развлечения, for fun, на соседней улице или в другом, дальнем районе Лондона.

Чтобы собрать в гроб останки Дика Малбери — Уильяма Моулдинга — потребовалось немало сил и крепких нервов. На похороны с разрешения врача его сестра все же приехала. Ключки (увы, приходится употребить это слово) покойного сожгли в кладбищенском крематории. Вместе с сестрой урну с прахом в последний путь проводили проповедник Home Office и офицер полиции. В тайнике Дика Малбери нашли завещание: он все оставил сестре при условии, что дом она дешево продаст отделению Bible Society напротив станции метро «Ист Путни».

### Прощание с Лондоном

Несмотря на привязанность к Л., я готов был поклясться никогда больше не приезжать в Лондон. Второстепенную, хотя и важную роль сыграл здесь мой кардиолог, рекомендовавший мне отказаться от каких бы то ни было длительных поездок. «Длительные» в данном случае означало заграничные — вне его пристрастия.

Но мне случалось — особенно после прочтения «Тетради пенсионера» — часами мысленно бродить по Лондону, в частности, в надежде понять причину моей «лондонской аллергии». Вне всякого сомнения, львиную ее часть составлял мой собственный опыт — пять послевоенных лет, проведенных на берегах Темзы. Трюизмом будет сказать, что человек любит или, во всяком случае, с симпатией относится к местам приятных переживаний и с антипатией — к местам переживаний болезненных. Но в моем случае и это правило действовало лишь до определенной степени, поскольку я помню, что Лондон оттолкнул меня сразу, как только я там

---

<sup>53</sup> Неопишуемые (англ.).



поселился — а ведь тогда я был свободен от какого бы то ни было связанного с этим городом опыта, моя лондонская жизнь еще была чистой страницей. Так что же? Если бы я понял, почему тетрадь Уильяма Моулдинга так сильно углубила мою неприязнь к Лондону, возможно, достиг бы и «ядра тьмы». Но я не понимал, и только время от времени уступал желанию мысленно пройти по лондонским улицам. «Этот город последует за мной», — говорил Кавафис об Александрии. Нечто подобное я мог сказать о нескольких городах моей жизни — больших и маленьких. Не о Лондоне. Этот город, тяжелый и болезненно разросшийся, никогда не последует за мной. В этом, возможно, и заключалось «ядро тьмы», о котором я знал только, что никаким образом не смогу в него проникнуть.

Интересно, что в своих воображаемых прогулках я избегал мест, хорошо мне знакомых по пяти послевоенным годам. Мне не хотелось глядеть на город сквозь призму собственных обид. Моим маршрутом был «маршрут Моулдинга»: тюрьма Холлоуэй, в которой он вешал женщин, дом на Уиллсден Грин, в котором он до поры до времени жил вместе с сестрой, дом недалеко от кладбища в Путни, где над ним издевались и где его убили. Кончилось тем, что мысленно я заглянул и в находящееся теперь здесь Библейское Общество. Какая-то пожилая женщина (кто знает, не Рут ли Нортон, вновь присланная в Лондон) читала и комментировала «Книгу Екклесиаста». С наслаждением, исполненным драматизма голосом она подчеркивала постоянный мотив Когелета — «суету и погоню за ветром». Дважды со слезами на глазах она прочитала фрагмент:

*И ублажил я мертвых,  
которые давно умерли,  
более живых, которые живут доселе;  
а блаженнее их обоих  
тот,  
кто еще не существовал,  
кто не видал злых дел,  
какие делаются под солнцем*<sup>54</sup>.

Выйдя на улицу и направившись к кладбищу, я сам не знаю почему, повторил вслух перефразированный возглас Мелвилла:

OH MULBERRY  
OH HUMANITY<sup>55</sup>

*Июль—август 1992.*

---

<sup>54</sup> Екк 4 2-3.

<sup>55</sup> О, Малбери! О, человечество!

## Горячее дыхание пустыни

### I

Через несколько дней после инфаркта, в кардиологическом отделении больницы «San Paolo» я начал интересоваться товарищами по болезни, с которыми оказался в палате примерно на дюжину коек. Справа от меня лежал священник, организм которого прореагировал на инфаркт почти беспробудным сном: он спал днем и ночью, просыпаясь лишь для того, чтобы взять с тумбочки стакан воды, или во время завтрака (после которого ему, как и всем, делали кардиограмму); медсестра не беспокоила священника во время обеда и ужина, а прописанные таблетки засовывала ему в рот сама, не нарушая сна или глубокой дремы. Во время дневного обхода врач пропускал его кровать, только просматривая бегло кардиограмму и график давления. Это явно означало, что сон и был главным лекарством; такое измученное, опухшее от усталости лицо нечасто встретишь, разве что среди клошаров (по-итальянски «барбонов»); да и внешне — с металлическим крестом, который он сжимал в ладонях — священник напоминал набожного барбона. Говорили, что инфаркт случился с ним в исповедальне; тревогу подняла старуха, обеспокоенная молчанием и слышавшимся ей из-за решетки стоном.

В ряду кроватей, стоявших у противоположной стены, привлекал внимание молодой, лет двадцати пяти, больной, почти всегда сидевший неподвижно, откинувшись на приподнятое изголовье и не отрывая взгляда от потолка. Иногда он опускал глаза, и тогда наши взгляды на мгновение встречались. До чего же у него были грустные глаза, сколько в них было страха и (хочется сказать) удивления! Увидев на тумбочке серебряный кубок, я догадался, что молодой человек — спортсмен, которому инфаркт на лету подрезал крылья. Часы посещений приходились на сумерки, перед ранним ужином. Каждый день его навещала прелестная девушка — не обращая внимания на остальных больных, она ложилась рядом с юношей на кровать и целовала его лицо, шею, руки. После, выйдя за стеклянную вращающуюся дверь палаты, она ненадолго останавливалась, чтобы выплакаться в платок. Ее возлюбленный этого видеть не мог, зато хорошо видел я.

Зачем я описываю это, если в повествовании моем важную роль играет совсем другой человек — мой сосед слева? Думаю, потому, что мне хотелось бы прежде передать атмосферу, окружающую болезнь. Все, что

произойдет в рассказе дальше, — в значительной, если не преимущественной степени замкнуто в этой сфере человеческой жизни, которую больные инстинктивно ощущают (или переживают неосознанно) как неожиданное, внезапное затмение перед медленным или быстрым нисхождением. Болезнь — тяжелая болезнь, конечно, — имеет разные облики, но всегда на них блуждает гримаса, предвосхищающая уход.

Мой сосед слева не был ни молчуном, ни особенным болтуном. Когда между нами все же завязывалась хотя бы короткая беседа, я приходил в восторг от его живого ума, свойственного южанам, присущей им способности отвечать на вопросы, еще не заданные, но словно бы висящие в воздухе, — кажется, ум их постоянно сосредоточен на «подлинной» изнанке вещей. Назовем его Лудовико. Он много лет проработал следователем в Валло делла Луканья, столице области Чиленто, занимаясь также делами Пестума и расположенного неподалеку Агрополи. Он давно уже овдовел, единственный сын был архитектором в Неаполе. По-видимому, закоренелый холостяк, он перевез отца на закате его жизни в Неаполь, в свою квартиру на Santa Lucia. Уже несколько лет следователь был на пенсии, а одинокое существование в Валло делла Луканья — не самое приятное времяпровождение. Сын был очень увлечен работой и всегда так занят, что редко приходил в отведенные для посещений часы, но зато каждый день присылал с сумкой фруктов одного из своих чертежников. Следователь Лудовико перенес уже два инфаркта. Первый, довольно легкий, случился с ним во время последнего судебного разбирательства в Валло, для которого он готовил следственные материалы и протоколы допросов. Второй, «неаполитанский» инфаркт был определен (подобно моему) как *acuto*<sup>56</sup>; к счастью, сын как раз был дома и на «скорой» отвез отца в «San Paolo» к знакомому кардиологу.

Наступил наконец день полного и окончательного пробуждения священника. По-прежнему крепко сжимая крест, он все шевелил губами, шепча молитву. Я даже и не пытался заговорить с ним — настолько он был погружен в молитву и настолько с закрытыми глазами напоминал полуживого утопленника, только что вытасченного на берег. Во время дневного обхода он коротко, почти не слышно отвечал на вопросы врача. Но, во всяком случае, его серое опухшее лицо освещала добрая улыбка.

Народу в больничных палатах довольно много, и соседские отношения завязываются быстро. Поэтому, когда нам разрешили полчасовые прогулки по коридору, мы, не сговариваясь, стали ходить втроем: следователь Лудовико, священник (назовем его Дзено) и я. Мы ступали медленно и осторожно, неся, словно хрупкие стеклянные шары, свои сердца от дежурки врача до большого окна в другом конце коридора, открывав-

---

<sup>56</sup> Острый (*итал.*).

шего взгляду грязное и заросшее бурьяном поле, на котором мальчишки играли в футбол. Священник Дзено не отставал, вместе с нами останавливался передохнуть, но к нашему разговору прислушивался без единого слова. Я даже не был уверен, слышит ли он то, что мы говорим, или полностью погружен в собственные мысли. Но нет, он слышал. И когда однажды во второй половине дня мы со следователем обсуждали самые тяжкие болезни старости — разумеется, рядом с болезнями сердца был назван рак, — священник Дзено вдруг тихо шепнул: «амнезия» и еще тише добавил: «Горячее дыхание пустыни, *un respiro caldo del deserto*». Следователь взглянул на него с нескрываемым удивлением.

## II

После одной из таких прогулок, уже, казалось бы, предвещавших скорую выписку из больницы, около двух ночи (мне не удавалось заснуть после приема таблеток) я услышал справа хрип. Очень тихий, сдерживаемый, будто священник Дзено, хотя ему явно было больно, старался не разбудить спящих. Тусклый свет ночника, однако, позволял увидеть, что это не обычный (как мне подумалось в первую минуту) приступ. Лицо старика покрылось потом, крупные капли катились по лбу, попадая в глаза. Боль, должно быть, была страшная — я заметил, что, выпустив свой крест, священник Дзено судорожно ухватился за железную раму кровати. Сомнений не оставалось — все это было мне знакомо по собственному инфаркту. Я нажал кнопку звонка. Едва взглянув на больного, заспанный санитар моментально очнулся. Две минуты спустя вся бригада окружила кровать священника и ширмой отгородила ее от остальной палаты. За ширмой тихо переговаривались; поставили капельницу; единственное слово, какое мне удавалось разобрать, было «*tardi*»<sup>57</sup>. В какой-то момент, драматически повысив голос, докторша четко, почти в полный голос произнесла: «*troppo tardi*» — «слишком поздно». Я лежал неподвижно, с открытыми глазами, остальные пациенты спали. В три за ширмой уже никого не было. Свесившись с кровати, я протянул руку и слегка отодвинул ширму — как раз настолько, чтобы увидеть прикрытую простыней голову умершего. Очевидно, чтобы не поднимать ночью шум, покойника оставили в палате до утра.

Перед самым рассветом я крепко уснул. Мне снились не сцены и не картины — мне снилось слово. Этим словом была «амнезия». Оно звучало с такой силой, словно его твердил качающийся колокол. Когда медсестра разбудила меня перед завтраком и предшествующим ему первым приемом лекарств, справа я увидел пустую застеленную кровать. Мой со-

---

<sup>57</sup> Поздно (*итал.*).

сед слева уже все знал: «Больное сердце — как ночной вор. Смерть подкрадывается на цыпочках».

Нас лечила сестра моего неаполитанского знакомого, так что я мог считаться «своим» (в Италии это означает железный блат). Иногда, особенно под вечер, она присаживалась ко мне поболтать. От нее я узнал, что отец Дзено был священником в одном бедном пролетарском — со значительной примесью преступников и проституток — приходе на окраине города. Она сравнила его с совершенно изношенным башмаком и добавила: «Чудо, что он дожил до своих семидесяти». Тем большее чудо, что уже несколько лет он время от времени надолго куда-то исчезал. Привозила его домой полиция — не просто заблудившегося, но совершенно потерянного, едва помнящего, как его зовут и кто он такой, с трудом узнающего собственных прихожан. Его следовало определить в дом престарелых для лиц духовного звания, но кто согласился бы заменить его в этом проклятом приморском районе, аж черном от дыма близлежащего сталелитейного завода? Не исключено, что четвертый инфаркт (который обычно равнозначен сигналу «Тревога!») случился с ним в исповедальне как раз тогда, когда он заплутал среди все более тусклых проблесков собственной памяти. Нет, не было для него спасения, больница могла лишь ненадолго продлить передышку перед пятым, смертельным инфарктом. Прогулки по коридору разрешили для того, чтобы перед смертью создать у него хотя бы иллюзию, будто он крепко стоит на ногах. Неизвестно, правда, хотел ли он этого. Возможно, ему уже милее был долгий, предсмертный сон, завершившийся сном вечным.

В голосе докторши слышалась неуверенность, иногда казалось, что она пытается в чем-то оправдаться. Но реалии выглядели правдоподобно. Мне вспомнилось, каким бесконечно усталым выглядел священник с соседней кровати.

Я выписался из больницы незадолго до Рождества. Следовательно Лудовико не скрывал зависти. На прощание он дал мне свой адрес на Santa Lucia.

### III

Считается, что больница, армия, тюрьма объединяют людей, создавая ощущение общности, которое еще долго сохраняется «по ту сторону» — после выхода из принудительной изоляции. Суждение банальное, возможно, во многих случаях и верное, но в моем — ошибочное. Я не люблю встречаться с бывшими товарищами по оружию и тюрьме, а недавняя болезнь убедила меня, что и с товарищами по больничной палате — тоже. Дело, видимо, объясняется фобией (быть может, своего рода клаустрофобией), неизбежной при глубоком, гипертрофированном индивидуализме. Не-

случайно я быстро забываю фамилии людей, с которыми судьба надолго соединяла меня в местах принудительного коллективного существования.

Поэтому я не воспользовался адресом, который дал мне следователь Лудовико. Иначе, позвони я в квартиру на Santa Lucia, узнал бы, что после внезапно случившегося в больнице третьего инфаркта Лудовико отвезли в швейцарский санаторий. Там он провел целый год. Мы встретились неожиданно, в ясный день на приморском бульваре на уровне Piazza Vittoria. Я отправлялся отсюда на рекомендованную кардиологом оздоровительную прогулку по ровной дороге до самого рыбацкого порта Мергеллина; Лудовико выбрал тот же маршрут, следуя сходным указаниям врача, и спускался на площадь Победы с лежащей рядом Святой Лучии.

Мы являли собой довольно своеобразную пару. Мимо пролетали на велосипедах (по тротуару, предназначенному якобы только для пешеходов) молодые ребята; на парапете, отгораживающем тротуар от огромных валунов волнореза, сидели влюбленные, казалось, полностью отъединенные от окружающего мира поцелуями и ласками; в заливчиках и проемах между скалами подпрыгивали поплавки удильщиков, стоявших, прислонясь к парпету. А мы двигались медленно, время от времени останавливаясь, по словно бы заранее раз и навсегда установленному плану: окинуть взглядом залив; в солнечную погоду на мгновение разглядеть в чистейшем воздухе на горизонте Капри; приветствовать прибрежные островки, покрытые белыми покрывалами чаек; на полпути полюбоваться видом рыб и морских звезд, выставленных в ванночках на импровизированном базаре; уже рядом с конечной целью пути понаблюдать за глиссерами и яхтами.

Что скрывать, прогулки были скучные и монотонные, хотя в описании могут показаться весьма привлекательными. Таким же скучноватым и монотонным, хотя и милым, умным и благородным оказался мой спутник. Долгое выздоровление в Швейцарии, похоже, притупило остроту его ума. Он радовался жизни, прогулка (как он мне признался) была единственным способом эту радость выразить — дома он вел жизнь пенсионера, опутанного сетью мелких привычек, раскладывал пасьянс и порой (редко) бывал четвертым в партиях бриджа. Он вовсе потерял вкус к чтению книг, и только от корки до корки прочитывал местную газету; вечерами дремал перед телевизором. Несмотря на некоторое сходство, я все-таки находился в лучшем положении — утренняя прогулка вдоль моря была для меня лишь прописанным врачом лекарством. Но через два месяца я почувствовал, что привязался к Лудовико. Когда ему случалось не прийти на прогулку, я быстро шагал в направлении Мергеллины, нигде по дороге не останавливаясь, с ощущением, что мне чего-то очень не хватает. Полагаю, что и он чувствовал то же самое в дни моего вынужденного отсутствия.

Как-то раз мы зашли дальше обычного — за рыбацкий порт и мол. Поравнялись с застекленной часовенкой, сооруженной рыбаками в честь своего святого покровителя. Насколько я знаю, никакие службы там никогда не совершались и никто не молился, лишь иногда у маленького алтаря появлялись цветы. Но теперь наши взгляды привлек приклеенный к стеклу со стороны бульвара листок с коряво написанной от руки фразой: «Padre Zeno, отец Дзено, покровитель бедных. В первую годовщину смерти — благодарные рыбаки из Мергеллины». Привела ли сюда священника его духовная миссия — из далекого черного Баньоли к пристани, купавшейся в зеленовато-синем море? Каким образом? Зачем? Старый рыбак, чинивший сеть на песчаном островке по другую сторону парашета, не скупился на объяснения: да, падре приезжал сюда или приходил пешком раз в месяц, это даже вызвало недовольство священника из местных храмов Божьей Матери Снежной и Божьей Матери Повивальной. В какой-то момент он перестал появляться, говорили, что заболел и Господь лишил его разума. Однако, пока он приходил, не было человека лучше и добрее. Трудно сказать, зачем он приезжал, если в Мергеллине был собственный священник, ведь это так далеко от Баньоли. У него было доброе сердце; мы знали, что ему хочется освежиться — часто в хорошую погоду он спускался к морю, долго мыл лицо и руки, закатав рукава. Еще мы давали ему немного рыбы и ила. А он, по-видимому, тут же по возвращении в Баньоли отдавал эти дары другим.

Мы молча переглянулись. Думаю, нам обоим представилась больничная палата в «San Paolo», пустая кровать, на которой так жадно спал священник Дзено, пока его не убил пятый инфаркт. «Помните нашу прогулку втроем по коридору?» — спросил Лудовико. «Помню. Помню также, как вас удивили слова священника Дзено об амнезии». «На то были свои причины. Мое последнее перед болезнью дело в Валло делла Луканья как раз касалось случая тяжелой амнезии».

С тех пор наши совместные прогулки приобрели иной характер. Следователь рассказывал, а я слушал, изредка прерывая его вопросами. Ему явно приносила облегчение или, быть может, даже скрытое удовольствие возможность сбросить с себя «груз» (по его собственному определению). Мой интерес возрастал с каждым днем и, если плохая погода удерживала меня дома, я бывал раздражен вдвойне. С радостью я наблюдал возвращение прежнего следователя Лудовико: он стал живым, проницательным и сам радовался вновь обретенной остроте ума.

Я долго размышлял, каким образом передать его повесть-сериал (заявшую две недели). Хотя после каждой прогулки я делал довольно по-

дробные записи, которые лежат сейчас передо мной на столе, в конце концов я решил не писать от первого лица и не делить повествование на главы по числу наших прогулок. Я решил построить повествование по своему — максимально его сгустить, рассказывать от третьего лица, а на главы разделить в соответствии с логикой и хронологией событий.

## V

Полгода оставалось следователю Лудовико до пенсии, когда в Агрополи было начато шумное дело Портеров. Его сразу же предложили Лудовико, им он и намеревался завершить свою карьеру.

Дерек и Вайолет (итальянскими приятелями называемая Виолеттой) Портер были по образованию археологами. В двадцатые годы, вскоре после окончания Оксфорда, они добровольцами приехали на раскопки в Пестум. Работали даром — дети состоятельных семей, они могли себе это позволить. Портеры купили и отремонтировали домик в Агрополи, недалеко от руин знаменитого Замка, на невысоком обрыве над морем. Ровесники века, они были парой, о которой часто говорили: «все реже встречаешь людей, так влюбленных друг в друга». В Италию они приехали, уже хорошо выучив язык в университете, поэтому в Агрополи Портеры быстро стали «своими». Даже фашистские антианглийские настроения не повлияли на отношение к ним, а местные власти Агрополи и областные в Валло делла Луканья к Вайолет и Дереку не цеплялись.

В то же время их работа на раскопках в Пестуме не ладилась — местные археологи относились к Портерам с неприязнью. Через несколько месяцев им дали понять, что итальянцы предпочитают не иметь дела с иностранцами, пусть даже работающими безвозмездно. Портеры с достоинством восприняли этот афронт, тем более что как раз решили бросить археологию. Вайолет начала рисовать, а Дерек — ваять. Причем с огромным увлечением, — подчеркнул следователь Лудовико. Достаточно сказать, что они буквально вцепились в Агрополи и его окрестности, очень редко совершая поездки туда, где можно было бы насладиться шедеврами итальянского искусства. «Все это выяснилось во время следствия», — добавил следователь Лудовико без гордости. «Зачем? — вырвалось у меня. — Разве это имело отношение к делу?» «Нет, но мы решили в мельчайших деталях воссоздать все долгое пребывание Портеров в Италии. Судебное следствие зачастую напоминает сотни рентгеновских снимков, сделанных в надежде, что наконец обнаружится какое-то скрытое пятнышко. Не забывайте, что речь шла о непонятном, необъяснимом убийстве. Во всяком случае, на первом этапе следствия».

Портеры не стремились выставлять свои произведения. Они за гроши продавали (не для заработка — в нем они не нуждались) свои картинки и



миниатюрные скульптуры в базарный день на рынке Валло делла Луканья. Следователь Лудовико не один раз видел их (до трагедии) в окружении богатых крестьян из области Чиленто на этом еженедельном базаре, где торговали всякой всячиной — от продуктов до одежды и мебели. Приличия ради они с веселым смехом торговались из-за своих «шедевров» (как они сами их называли — «i nostri capolavori»). Покупатели-крестьяне любили их и денег не жалели, а иногда платили натурой — куском масла, яйцами, курицей, кроликом. Лудовико сам не раз видел, пробираясь между лотками на работу, их «шедевры». Вайолет специализировалась на пейзажах, постепенно придавая им характер иллюстраций к сказкам. Дерек вырезал или лепил из глины странные небольшие — мужские, женские, детские — фигурки, явно подражая экспонатам с музейных витрин в Пестуме.

Шли годы — и Портеры стали частью пейзажа Агрополи и Валло. Жители обоих городков привязались к паре «симпатичных англичан», растроганно и одобрительно глядя на не скрываемую даже в общественных местах нежность супругов друг к другу, — и осуждали их только за одно: отсутствие детей. На юге Италии ребенок — высшее доказательство Божьего благословения и взаимной любви родителей. Бездетные браки вызывают так называемые «смешанные чувства». Но даже это не изменило отношения к «нашим Портерам» — «i nostri Porter» (как их, в конце концов, стали называть).

В мае 1939 года, когда над Европой сгустились темные и мрачные тучи, Портеры уехали в Англию. В Лондоне они провели всю войну: он — служащим в военном учреждении (поскольку был человеком слабого здоровья, физически хрупким), она — санитаркой в военном госпитале.

## VI

Сразу после войны они дважды написали соседям в Агрополи, что вскоре вернутся. «Написали» — не совсем точное слово. Автором обоих писем был целиком и полностью Дерек, подпись же Вайолет казалась странно корявой, нерешительной, будто курица лапой водила. Одной фразой Дерек намекнул, что «пережитая война надорвала душевные силы его жены».

Эту фразу, по-старомодному исполненную тревоги, следователь Лудовико процитировал дословно, поскольку считал ее первым свидетельством «болезненных отклонений» Вайолет.

Обещание скоро вернуться в Агрополи оказалось преждевременным. Приехали они лишь в середине пятидесятых. В первый момент жителей Агрополи поразил сам вид Вайолет. Бледная, похудевшая (кое-кто даже счел, что «истощенная»), почти прозрачная. Во время первой прогулки она каждые несколько шагов искала, на что опереться или присесть хоть на краешек. Она здоровалась со всеми встречными, но так равнодушно, словно бы ради при-

личия, что возникало сомнение — помнит ли она их на самом деле. Дерек шел за ней, улыбаясь направо и налево и приветливо здороваясь, однако от человека наблюдательного не могли укрыться мрачные отблески в его глазах.

Как явствовало из дальнейших, собранных Лудовико показаний и свидетельств, внешнему виду Вайолет соответствовало ее поведение. С каждым днем становилось все яснее, что за туманной пеленой она не различает давних знакомых. Аптекарь из Агрополи выразил это так: «*E assente, immersa nel suo sogno di cui non riesce a svegliarsi*» — «она отсутствует, погружена в свой сон, от которого не в силах пробудиться». Но это еще ничего — поведение Вайолет объясняли тем, что художница будто бы погружена в свои «видения». И в самом деле, в хорошую погоду она по-прежнему ежедневно рисовала. В ее пейзажах ничто не напоминало того, на что она глядела, — Вайолет и впрямь обитала среди загадочных грез или снов, где море и небо сливались в огромное пустынное желтовато-черное пространство. А однажды она вообще не вышла из дома. Следовательно Лудовико хорошо запомнил эту дату — 14 сентября 1958 года: она ознаменовала окончательный уход Вайолет из жизни Агрополи и начало ее «болезни», как назвал эту самоизоляцию Дерек.

С тех пор по его лицу жители Агрополи узнавали о состоянии Вайолет. Если можно так сказать, оно выражало постепенно, неудержимо возрастающее беспокойство, почти испуг, а то и панику. Именно таким видели Дерек Портера жители Агрополи. Все чаще, закрыв на ключ дом рядом с Замком, он отправлялся в Валло и Неаполь. Все чаще приезжали в Агрополи «гости из больших городов» (в том числе и из-за границы). И все отчетливее, все шире простирала свои крыла Безнадежность. Люди спрашивали себя, почему Дерек не уговорит жену полежать в шезлонге на крыльце, почему не выведет ее иногда на прогулку. Ответов не было (сам он избегал говорить о Вайолет), потому что никто не знал, в чем же заключалась ее «болезнь». Знал ли это Дерек, который, произнося слово «болезнь», самой интонацией подчеркивал кавычки? Знали ли это «гости из больших городов», в которых нетрудно было признать врачей?

Мы подошли к рыбацкой часовенке на Мергеллине. На ее стене — толстой стеклянной глади — все еще висел листок с выгоревшей на солнце надписью, напоминавшей о годовщине смерти священника Дзено. Следовательно Лудовико в задумчивости остановился перед ним.

## VII

Как следовало из дальнейших показаний Портера, «болезнь» Вайолет стала в конце концов для него просто болезнью. Обманываться дальше бессмысленно: амнезия в острой скоротечной форме, очень быстро про-

грессирующая — болезнь каждый день словно полностью пожирала или уничтожала очередной пласт памяти. Врачи уже не сомневались в диагнозе, но, когда речь заходила о попытках приостановить процесс, лишь беспомощно разводили руками. «Собственно говоря, это неизлечимо. Можно верить (но не больше), что нежность, чуткость и ум окружающих могут разжечь — на более или менее долгое время — угасающие искры памяти. На самом же деле больная нуждается лишь в заботе и постоянном присмотре, поскольку люди, страдающие амнезией, не отдают себе отчета в том, что делают. Причины болезни и обстоятельства, в которых она возникла, неизвестны».

А Портер как раз и старался отыскать эти причины и обстоятельства. Во время войны Вайолет, санитарка в военном госпитале около Гилфорда, была энергична, деловита, улыбчива. Ее любили и ценили. Дерек, работавший в одном из военных лондонских учреждений, имел возможность жить в их прежней квартире в Челси. Они виделись раз в неделю или десять дней. Нет-нет, поначалу не было никаких признаков того, что причина болезни заключается в «военных переживаниях», как он написал в первом письме в Агрополи. Только через год после войны первые симптомы заставили Дерек отложить возвращение в Италию. Симптомы еще невинные — он принимал их за рассеянность. Приглядысь он внимательнее, наверное, заметил бы, как Вайолет становится другой — в домашней жизни, перед мольбертом, в разговорах, в любви. А прежде всего — в чтении. Она со странной жадностью глотала литературу о жестокостях войны, с которыми сама практически не сталкивалась в провинциальном госпитале — разве что оказалась свидетельницей бомбежек Лондона. Вайолет не желала об этом говорить — чтение стало словно бы ее интимным обрядом. Когда вечером она закрывала книгу, лицо ее казалось опаленным огнем. В постели Вайолет делалась напряженной, неподвижной, не давала до себя дотронуться. Дерек отказался от поездок в Оксфорд, где его уговаривали прочитать курс археологии. Он просто боялся оставлять жену в пустой квартире, поскольку одним из симптомов происходивших в ней изменений была боязнь выйти из дому. В целом, однако, эта перемена, пусть и тревожная, не предвещала более глубоких нарушений. Незадолго до возвращения в Агрополи, на которое подсознательно Дерек возлагал огромную надежду, наступило ухудшение. По утрам Вайолет часами просиживала перед натянутым на мольберт полотном, касаясь его кистью, которую держала дрожащей рукой, курила сигарету за сигаретой, а время от времени откладывала кисти и палитру и принималась накручивать на грязный палец прядь волос — и могла долго сидеть так в каком-то сомнамбулическом оцепенении. Муж не решался разбудить ее, поскольку с детства знал, что если дотронуться

до лунатика, тот падает, как подкошенный, и может сильно пораниться. И сидел неподвижно за столом, лепил из пластилина свои фигурки, не сводя с жены глаз. Тогда он начал писать что-то вроде дневника, но записывал скорее происходившие с женой метаморфозы и свои наблюдения, чем собственные переживания и мысли.

Вайолет равнодушно восприняла проект возвращения в Агрополи — она, которая во время войны не раз видела во сне тропинку, ведущую к дому на замковой горе, море, колышущее привязанные к берегу рыбацкие лодки. Но она не возражала, а порой даже на короткое время сосредоточивалась и помогала паковать чемоданы и сундуки. И тем не менее Портер не мог отделаться от ощущения, что везет в Италию безвольный предмет, а не живое существо.

## VIII

Два дня плохая погода удерживала меня дома. Как это часто бывает в Неаполе, природа взяла реванш за долгий солнечный период: дождь лил, не переставая, небо придавило город свинцовыми тучами, в потоках воды медленно передвигались автобусы и машины. У меня мелькнула мысль, не позвонить ли следователю — в конце концов рассказывать можно и по телефону. Мелькнула и тут же погасла — Лудовико-повествователь стал для меня неотделим от прогулок по приморскому бульвару.

Я решил воспользоваться паузой, чтобы поразмышлять об истории Портеров — благодаря рассеянным тут и там намекам я уже смутно догадывался, к чему клонит следователь. Но и эту затею я быстро бросил. Мыслями моими неожиданно завладел отец Дзено. Что означали слова врача о том, что время от времени он надолго пропадал где-то, что в Баньоли его привозила полиция — «потерянного», во власти внезапного приступа амнезии, которую незадолго до смерти, в больничном коридоре он назвал «горячим дыханием пустыни»? Откуда взялось это определение? Сколько в нем искреннего выражения его собственных чувств, а сколько — риторики, усвоенной или сознательно заимствованной у учителей-проповедников?

Меня потрясло это определение, но потрясло инстинктивно — так порой действует на нас поэтический оборот, когда мощная сила образа опережает проникновение в смысл. Я еще не знал, насколько точен этот образ. Все будто бы смешалось. Воспоминание о последнем, смертельном инфаркте священника Дзено и подсунутая мне воображением картина его метаний по пустынной равнине, только что выжженному полю: он идет куда глаза глядят, возвращается, останавливается, закрывает ладонями красное лицо, и вновь, словно пьяный, ковыляет вперед, и вновь, поша-

тываясь, возвращается — человек одинокий, человек, отторгнутый миром, человек, не осознающий собственного существования.

## IX

На основании показаний Портера следователь Лудовико установил критическую точку в болезни Вайолет, с которой все покатилося по наклонной плоскости, уже не оставляя никакой надежды на остановку. Стояла летняя ночь, когда Вайолет вдруг проснулась с пронзительным криком: «Где я?» Портер обнял жену, она дрожала, словно вывихнувшая крыло птичка в человеческих ладонях. Дерек был потрясен. Он машинально и беспомощно повторял: «Дерек. Агрополи», осыпая поцелуями ее разгоряченное лицо. Она не реагировала на эти нежности, хотя и приникла к нему. Потом вдруг сорвалась с кровати, уселась в углу под мольбертами и умоляющим тоном все повторяла тихо: «Где я?», не обращая внимания на присутствие мужа. На рассвете она уснула сидя, и он осторожно перенес ее на кровать.

Лудовико остановился и прислонился к стене. Он явно устал, а может, разволновался. Мы молча глядели на залив, где между скалами волнореза в лучах солнца резвилась стая чаек; они ловко терлись брюшками о поверхность моря и белыми ракетами взмывали в воздух.

— Да, — переведа дыхание, произнес следователь. — Да, нельзя не увидеть в этом поворотный момент. Не знать, где ты находишься! Что за мука! Но ощущала ли ее сама Вайолет? Мне кажется, нет. Она уже переходила на другую сторону. Дерек Портер был иного мнения.

Он верил, что еще существует шанс остановить жену, схватить ее за руку, разбудить, как поступали когда-то с лунатиками. Следователь считал эту веру или надежду доказательством того, что, несмотря на все заключения и диагнозы врачей, несмотря на собственные наблюдения над прогрессирующей болезнью, Портер не хотел или же был не в силах смириться с реальностью. В конце концов, что такое надежда? Бессильный бунт против отчаяния. Тот, кто говорит, что нельзя жить без надежды, утверждает, что нельзя жить без непрерывного бунта.

Легко сказать — бунт, протест. Дни, каждый из которых свидетельствовал о неизменном и все ускоряющемся ухудшении, связывались в единую цепь, воздвигая между Портером и женой гладкую непрозрачную стену, которую невозможно разрушить или хотя бы пробить. Вайолет смотрела на него неподвижными слепыми глазами, словно молча вопрошала: «Кто ты?» Он раздевал ее и одевал, мыл в ванне, расчесывал ей волосы, кормил, засовывая в рот маленькие кусочки — она все принимала без сопротивления, но если бы не он, сама не пошевелила бы и пальцем.

Единственным доказательством того, что у нее есть еще какие-то желания, была постоянная неутолимая жажда. Вайолет выпивала многие литры воды и соков, будто ее нутро выжгло на прогретом солнцем песке. Это, однако, никоим образом не влияло (как ни больно об этом говорить) на самостоятельную потребность пользоваться туалетом — если муж вовремя не вмешивался, она пачкалась: обоняние она совсем утратила. Дерек пытался вывести ее из оцепенения с помощью воспоминаний, каждый эпизод прошлого начиная сакраментальным: «помнишь?» Нет, она не помнила, не было даже уверенности, что она вообще слушает — казалось, Вайолет находится под стеклянным колпаком. Порой Дереку приходило в голову посадить ее перед чистым холстом, натянутым на мольберт и сунуть ей в руки кисть и палитру с красками. Вайолет подолгу сидела, не двигаясь, потом поспешно, стремительно, как будто с яростью принималась покрывать полотно мазками, пятнами, каракулями — точно маленький ребенок, которого родители уговорили порисовать.

Время шло, жители Агрополи постепенно привыкали к виду одинокого Портера, когда, закрыв дом на ключ (предварительно спрятав спички и сняв газовый кран), он отправлялся в местный магазинчик или уезжал за покупками в Валло.

Что жена погрузилась в амнезию окончательно и коснулась дна, Дерек понял, когда она спросила, кто он и как его зовут. Она и сама бы не в состоянии была ответить на подобный вопрос, спроси он ее об этом. «Оба они остановились во времени, — шепнул следователь Лудовико, — она послушно, словно пораженная параличом, он же — делая все более слабые отчаянные попытки сорвать домик в Агрополи с мертвой безвременной мели».

## Х

Пришел день, которого Дерек Портер не ждал. Он уже как-то смирился с неизлечимой болезнью, сдался, чувствовал, что от пламени бунта уцелели лишь тлеющие угольки, знал, что единственное, что он еще может сделать для Вайолет, — это с непреходящей нежностью заботиться о жене до самой ее смерти. Он надеялся, что так и будет, молясь в глубине души о том, чтобы пережить ее и не оставить в одиночестве. Ему причиняла страдания сама мысль, что после его смерти ей пришлось бы жить одной, не зная, кто она и где находится.

Но того, что произошло, он не допускал и в самых черных мыслях. Это было совершенно неожиданно, более того — необъяснимо. Кто мог предположить, что амнезия заразна? В тот страшный день в начале осени, в день, когда словно закопченное стекло отрезало его от берега моря,

Дерек в глубокой депрессии сидел в шезлонге у окна, время от времени поглядывая в угол, где в кровати еще спала Вайолет. И вдруг он почувствовал, что материя *его* памяти становится похожа на потрепанное и истлевшее сукно, которое вот-вот окончательно расползется. «Дерек прекрасно отдавал себе отчет, — поспешно пояснил Лудовико, — что у него этот процесс идет иначе, что это не воспроизведение, а следствие болезни жены». Супруги были так прочно связаны между собой с той самой минуты, когда повстречались в университете, так сторонились окружающих, так отгородились вдвоем от остального мира (даже — на свой лад — во время войны, не говоря уже о пребывании в Италии), что прошлое Портера отражалось в прошлом жены и наоборот. Больная Вайолет уже не нуждалась в зеркале Дерек. Но и для него зеркало жены разлетелось на мелкие кусочки. Теперь он неизбежно должен был потерять память, поскольку утратил участника и *свидетеля* своего прошлого. Странно звучат слова «заразился амнезией». Но в ходе следствия выражение это в показаниях Портера повторялось не один раз. Начиная с того осеннего дня, он все чаще осознавал, что прошлое его сузилось до периода болезни Вайолет. Люди, пораженные амнезией, не сознают, что теряют память — жизнь для них словно бы ссыхается, превращаясь в горстку мелких материальных фактов, произошедших мгновение назад, которые, в свою очередь, тоже мгновенно деформируются. Портер не утратил способности к рефлексии, он знал, на что обрекала его эта их с Вайолет особая связь — он превращался в спутника ее болезни. «Вот послушайте (остановился вдруг следователь Лудовико), какой он воспользовался метафорой. Он говорил: если прогрессирующую амнезию можно сравнить с удалением все новых пластов памяти, то операция Вайолет проходила под наркозом, во сне, а его — по живому, наяву».

Достаточно явным, хотя и медленным изменениям подвергалось и его отношение к жене. Он не забывал о своих обязанностях опекуна и санитара, все так же добросовестно ухаживал за женой, но из всех его действий постепенно, капля за каплей, испарилась нежность. Он замечал эту перемену, но, к собственному удивлению, не ощущал угрызений совести.

Миновала осень, наступила зима. В этих местах она не столько холодная, сколько насыщена влагой. Большую часть дня Дерек занимался тем, что рубил дрова и топил камин. Когда на юг Италии приходит «хорошая» или «чистая» весна, природа просыпается с безудержной стремительностью и щедростью, начинается словно бы состязание зелени растений, голубизны неба и веселых, зеленовато-синих отблесков моря. Борясь с монотонностью жизни, Портер рано утром шел на рыбалку. Он усаживался на скале в маленьком заливе — оттуда был виден дом, где еще спала Вайолет.

## XI

Следователь Лудовико: «У Дерекa легко было брать показания, он не запырался, был сосредоточен, правдив и откровенен. Вплоть до самого главного узла, к которому и должно шаг за шагом вести следствие. Лишь тогда Дерек напрягся, ушел в себя, и если не умолк окончательно, то был уже к этому весьма близок. Нет, он не пытался возражать или лгать, но с трудом, с болью в глазах выдавливал из себя искаленные слова или отдельные слоги. Я потратил много времени и сил на составление протокола последнего допроса. Он подписал его, не читая».

В ночь с 22 на 23 апреля Портер проснулся незадолго до рассвета с ощущением страха, какой вызывает порой ночной кошмар. Он не помнил, что ему снилось. С колотящимся сердцем уселся в кресло, вглядываясь в Вайолет. Она спала спокойно, ровно дыша. Наверное, ему лишь привиделась улыбка, будто бы мелькнувшая на ее губах. Быть может, это была судорога истощенного лица — в последнее время она уже почти ничего не ела. Он помнил — эта реальная или мнимая улыбка разожгла в нем что-то вроде гнева, словно была абсурдным доказательством того, что Вайолет заразила его нарочно. Как в трансе, он поднялся, снял с кровати свою подушку, положил на лицо спящей жены и изо всех сил надавил. Но сила и не требовалась, Вайолет даже не дрогнула, лишь посинели ее обнаженные руки. Через какое-то время он приподнял подушку. Вайолет была мертва. Дерек снова уселся в кресло, в голове у него мелькнула безумная мысль, что он мог бы еще долго жить с ней вот так, что мог бы любить умершую Вайолет. Потом, прикрыв подушкой ее лицо, он вышел из дому. Все еще в трансе, медленно спустился по каменным ступеням к морю, взглянул на розовеющий горизонт и понял, что уже совсем светает. Не раздеваясь, вошел в воду, но холода не почувствовал, наоборот — его обжигал горячий ветер. Он погружался все глубже и глубже, каменистое дно ушло у него из-под ног, вода залила глаза и уши — потом он вспоминал переполнявшую сердце радость от того, что тонет.

Его спасли рыбаки, возвращавшиеся с ночной рыбалки. Как выяснилось позже, они молча, не понимая, что он собирается делать (ох уж эти экстравагантные иностранцы!), следили за ним из-за выступа скалы.

## XII

Судебное заседание в Валло делла Луканья продолжалось один день. Портер подтвердил все свои показания, тихим голосом ответил на вопрос председателя суда — «colpevole», «виновен». Ход процесса Дерекa, казалось, нисколько не интересовал, на скамье подсудимых он сидел,



опустив голову. Молча пожимал плечами, не отвечал, когда к его уху наклонился адвокат, подняв голову, обвинительную речь выслушал с одобрительным выражением лица. Присяжные вынесли вердикт «виновен», председатель суда зачитал приговор: четыре года с зачетом полугодового предварительного заключения. «Я заслужил пожизненное заключение и сам вынесу себе приговор», — произнес Портер громко. В тот же день Лудовико навестил его в тюремной камере. За этот разговор, о котором следователь «предпочитает умалчивать», он в ту же ночь заплатил первым инфарктом.

Портер отсидел в Асколи Пичено только год, затем за хорошее поведение его амнистировали и отправили в Англию. Говорят, он забился в какой-то маленький провинциальный шотландский городок. Жив ли еще? Отбывает ли свое пожизненное заключение? Домик в Агрополи он, вернувшись в Англию, подарил лондонскому Археологическому обществу. Туда иногда приезжали профессора и студенты из Лондона. Последний такой визит закончился трагедией: ночью, после отъезда группы в Англию домик в Агрополи сгорел дотла — видимо, виной тому была небрежность жильцов. Земля — черное пожарище, кусочек черной пустыни — осталась собственностью Археологического общества.

Впервые за все наши прогулки я взял следователя Лудовико под руку, увидев, как он достает из кармана таблетку нитроглицерина и быстро сует ее под язык.

Припекало солнце, и мы отправились на самый конец мола, к маяку, у подножия которого можно было сесть на широкую ступень и спокойно вдыхать теплый воздух залива.

*Февраль 1993.*

## Венецианский портрет

Вчера в разделе некрологов «Коррьере» я прочел: «В Венеции, в своем доме на Calle<sup>58</sup> San Barnaba в возрасте восьмидесяти семи лет скончалась графиня Джудитта Терцан. Она уснула вечным сном в согласии с Богом. О чем сообщает из Рима ее сестра, Джованна Олиндо. Просьба не нарушать соболезнованиями тихого прощания с покойной».

Некролог я заметил совершенно случайно, листая вечером газету в поисках телепрограммы. И так и остался сидеть в кресле. Как порой наплывают далекие воспоминания? У каждого, наверное, это происходит по-своему, у меня — беспорядочным стремительным потоком. И лишь назавтра — после беспокойной ночи без снов — события, лица, даты встают на свои места, словно фрагменты рассыпанной мозаики, постепенно складывающиеся в узор.

Весной 1946 года, на рубеже апреля и мая, я отправился в Венецию по важным для меня (и моего начальства в римском военном управлении) делам. Я считал, что поездка займет не больше двух недель — так и сказал жене. По дороге, по тем же делам я собирался ненадолго остановиться во Флоренции.

В то время уже можно было свободно пользоваться поездами и автобусами дальнего следования, но мы, люди в форме, доверяли только военному транспорту. Недостатком его в случае спешки и преимуществом, если говорить о туристических соблазнах, были частые и длинные остановки. Моя поездка была срочной, но не настолько, чтобы ее нельзя было под каким-нибудь предлогом продлить. Первый джип (американский) довез меня до Орвието, где я и провел вторую половину дня и ночь, предварительно договорившись с английским пикапом (экскурсия для военных) насчет следующего отрезка пути — до Флоренции.

Жаль, что в воспоминаниях невозможно — после многолетнего перерыва — передать атмосферу *первых* встреч с очарованием итальянской архитектуры, живописи и пейзажа, этих совершаемых девственным взором открытий, стираемых или изменяемых каждой следующей встречей. Единственное, что я помню — как в оцепенении и с внутренним трепетом, ничего общего не имевшим с эстетическим переживанием, долгие

---

<sup>58</sup> В Венеции — улица (*итал.*).

часы то сидел, то стоял, преклонив колени в Дуомо<sup>59</sup>, особенно в часовне Страшного суда. Это было и очищение от войны, от всего опыта последних шести лет, и безмолвная молитва о милосердии. Странно, что в Риме я такой потребности не ощущал.

Вечером в таверне у собора я выпил орвиетанского вина, а потом, не взирая на весенний холод, переночевал на каменной лавке на другой стороне Кафедральной площади, и при каждом пробуждении меня переполнял и усыплял вновь немного расплывчатый контур фасада Дуомо, в весенней темноте напоминавший огромный каменный орган.

Во Флоренции я быстро управился с собственными и порученными мне делами, обошел достопримечательности в центре города и, устав от толп военных и туристов, сбежал на берег Арно. Там в пыльном букинистическом магазинчике я за гроши купил большой том «Album di ritratti». И на рассвете, после проведенной у адресатов римского поручения ночи, оказался с этим «Альбомом портретов» в вещевом мешке на окраине города, в ожидании машины до Венеции или ее окрестностей. Попутка подвернулась только до Падуи.

В Падуе я наткнулся на знакомых польских офицеров и вместе с ними к полудню добрался до Венеции. Военная городская комендатура на улочке у площади Сан Марко оказалась уже закрыта — до второй половины дня. В какой-то момент, отказавшись от полагающегося мне бесплатного ночлега, я уже хотел постучаться в одну из немногочисленных нереквизированных гостиниц. Но все они были якобы переполнены — якобы, потому что правда легко читалась в недоброжелательных взглядах портье.

Так что я вернулся на площадь, где мне чудом удалось занять единственный свободный столик в кафе напротив Собора. И извлек из вещевого мешка свой том.

«Альбом портретов» был явно коммерческим изданием тридцатых годов — рука профессионального консультанта-искусствоведа его и не коснулась. Но выбор оказался богатым, репродукции хорошими, а заметки о художниках — позаимствованными из серьезных биографий и монографий.

Обычно в антологических изданиях такого рода пытаешься прежде всего отыскать главную идею. В данном случае авторы постарались представить как можно более широкую гамму оттенков портретного искусства. Очень тонка грань, отделяющая хороший традиционный портрет от портрета, задуманного художником как *интерпретация* — характера, психики, склада ума, жизненного опыта модели (или самого себя — в автопортрете). Я бы выделил три крупные категории портретов, не считая, естественно,

---

<sup>59</sup> Главный собор города (*итал.*).

традиционных, в которых главную роль играет сходство и костюм: 1. Меткие, когда портретист сразу, с первого взгляда, улавливает сущность выражения лица (примеры — Хольбейн и Рембрандт) — очевидно (во всяком случае, для меня), что значительное и верно увиденное лицо заявляет о себе в полный голос уже с первого взгляда. 2. Поэтически-эмоциональные в своем новаторстве и выразительности подобные хорошим стихам (скажем, Ван Гог). 3. Аналитически-психологические, с очень личной интерпретацией модели (Лоренцо Лотто), в отличие от типизации Тициана.

Лоренцо Лотто! Великий и поздно получивший признание венецианский художник — в первую очередь, портретист. Я вывожу это имя с некоторым смущением. Поверит ли читатель — а для меня важно, чтобы он поверил, — что в самом начале своего путешествия (и своего рассказа) я столкнулся с сюжетом, столь важным для «Венецианского портрета»? Если же в дальнейшем читатель скептически прищурится, прошу лишь помнить, что автор не властен над капризными, пересекающимися вдруг и ни с того ни с сего расходящимися линиями судеб — автор порой и сам бывает потрясен направляющей его руку Рукой.

Биографическая заметка в «Альбоме портретов», сплетенная из весьма солидных цитат, рисовала жизнь вечного неудачника. Лотто родился в конце XV столетия в Венеции. Наш век и конец предыдущего наконец разглядели в нем художника, порой превосходившего современников — Тициана, Микеланджело, Рафаэля, Дюрера, — но на протяжении своей довольно долгой жизни едва замеченного и недооцененного меценатами и знатоками искусства. Он рисовал много, но успеха не имел — бродяга, поглощенный поисками хоть самого скромного заказа. Ему платили гроши в церквях и за портреты. О характере его лучше всего говорит возглас язвительного Аретино: «Лотто — словно доброта добрый, словно добродетель добродетельный!» В свидетельствах эпохи можно найти упоминания о его «духовной темноте», о «религиозном смятении», заставлявшем подозревать художника в тайных симпатиях к лютеранству. Он считался учеником Беллини (сегодня известно, что мэтром его был Альвизе Виварини). Фрески религиозного содержания выдавали родство с Корреджо, в портретах Лотто превосходил любимца Стендаля. Так и не женился — бродяжничество углубило в нем стремление к одиночеству. Говорили, что он «лишен корней». Хотел, чтобы его похоронили в родной Венеции, но был слишком беден, чтобы поселиться там перед смертью. Последние годы он провел в монастыре, в Лорето, где ему была гарантирована ежедневная тарелка супа. Там он и умер на восьмидесятом (приблизительно) году жизни. Через двадцать лет после издания «Альбома портретов» обширную монографию о нем написал Бернард Бернсон. Сегодня я выписываю оттуда: «Никогда — ни до Лоренцо Лотто, ни после — не удава-

лось художнику в лице модели показать столь значительной части ее внутренней жизни».

Наступили сумерки, уже можно было отправляться в городскую военную комендатуру.

Мою официальную бумажку приняли тут же, без каких бы то ни было оговорок. Английский сержант из жилищного отдела спросил, предпочитаю ли я номер в гостинице или комнату в частном доме, подлежащем частичной реквизиции. Я выбрал комнату. Он с озабоченным видом просматривал списки и наконец, постучав пальцем по одному из адресов, с облегчением сообщил, что я могу получить целый первый этаж в домике на Calle San Barnaba. «Но предупреждаю честно (добавил он), что домик наполовину разрушен, запущен, владеет им венецианская графиня, которая занимает весь второй этаж. She is bitch and a witch»<sup>60</sup>.

Вечером я без особого труда разыскал особнячок, хотя он был расположен позади ряда домиков, а с улицы к нему вел узкий грязный лаз. «Contessa»<sup>61</sup> (так — а не по имени или фамилии — называли ее все в округе) взяла ордер, с едва сдерживаемым отвращением и искрой гнева в черных глазах оглядела меня с ног до головы, немного оживилась, узнав, что я поляк, и дала ключ от входной двери, предупредив сразу, что «домом она не занимается». Достав из комода, бросила на кровать простыни и полотенца, сообщила, что на кухне ничего не действует, так же, видимо, как и в ванной, в которой, впрочем, можно принять холодный душ. Кофе можно выпить в баре на Campo<sup>62</sup> San Barnaba, рядом с церковью. Она сказала, что реставрирует и делает копии с картин, нередко работает по ночам, а потому ценит тишину и покой. «Лучше всего, если мы забудем о существовании друг друга. И прошу не вести здесь светскую жизнь» (что было эвфемизмом солдатского обычая водить проституток).

Английский сержант оказался прав: запущенность первого этажа — двух комнат, кухни и ванной — была возмутительной; к счастью, кроме широкого ложа имелось кресло, приставленное к книжному шкафу, полному книг и альбомов по искусству. Остальное — стол, стулья, комод — заросло грязью, было шатким и при малейшем прикосновении опрокидывалось. Да и дом практически представлял собой руины — эти дыры от отвалившейся штукатурки, эта наружная железная лестница на второй этаж вплотную к стене (внутренней, видимо, пользовались редко — она опасно затрещала, когда Графиня спускалась, чтобы открыть мне дверь). Но в другой комнате, как нетрудно было заметить, относительно недавно кто-то жил: стены были

---

<sup>60</sup> Она сука и ведьма (англ.).

<sup>61</sup> Графиня (итал.).

<sup>62</sup> В Венеции — площадь (итал.).

увешаны репродукциями и фотографиями, а рядом со стеклянной дверью — выходящей на наружную лестницу и сейчас забитой — стоял большой, элегантный, закрытый (ключа в замке не было) платяной шкаф. Как выяснилось на следующее утро, на лестнице дремали днем три пушистых кота, отгоняя крыс, для которых лаз с улицы был дорогой к каналу.

Годы спустя, увлекшись «Письмами Асперна», я каждый раз, читая роман Генри Джеймса, вспоминал домик на Calle San Barnaba. По сравнению с домом двух героинь «Писем Асперна» он был, правда, беден, но в нем царила подобная атмосфера — как бы ее описать? — пожалуй, скрытого, всепроникающего распада. Несмотря на то, что моя Графиня была красивой на вид сорокалетней женщиной, а старая Мисс Бордро, бывшая в молодости любовницей известного поэта Асперна, ревниво стерегла его драгоценные любовные письма, уже одной ногой стоя в могиле.

Усталый, я упал на кровать, а когда проснулся, часы показывали десять. Я проголодался. Вышел через темный лаз на улицу; Campo был близко. Бар рядом с церковью еще открыт, но пуст (до начала летнего сезона десять вечера для Венеции — очень позднее время). Я прошел в заднюю комнатку, где подавали какие-то холодные блюда и вино. Хозяин опустил serrande<sup>63</sup> на входной двери, погасил свет в баре и подсел ко мне. Он уже знал, что я поселился у Графини.

Его не нужно было расспрашивать, вечерняя «непринужденная» болтовня за стаканчиком вина — наслаждение для любого бармена (barista). Contessa не была графиней по рождению. Молоденькую студентку Академии искусств соблазнил граф Терцан, намного старше ее. Она забеременела. Терцан согласился дать имя и титул ей и ребенку при условии, что после замужества женщина никогда не сделает попытки увидеть его. Граф купил ей домик на Calle San Barnaba — тогда еще приличный — и уехал в свое имение под Сондрио, в Вальтеллини. Здесь он больше никогда не появлялся — даже не приехал на первое причастие сына. Мальчик, Альвизе — Альви, как все его называли, закончил гимназию и поступил на архитектурный факультет. Мать зарабатывала им на жизнь реставрацией старых картин и копированием в Академии шедевров для богатых заказчиков. Она была влюблена в Альви (и пользовалась взаимностью), это был для нее единственный свет в окошке. Да-да, красивый хороший мальчик. Мать — вы ведь видели, она еще молода и хороша собой — живет, словно монашка. Не следит за домом, не следит за собой. Сейчас едва сводит концы с концами — кому теперь придет в голову реставрировать старые картины и заказывать дорогие копии в Академии; так задолжала, что в магазинах ей перестали давать в кредит. Я ей подаю по утрам

---

<sup>63</sup> Ставня, опускающаяся решетка (*итал.*).

capuccino e cornetto<sup>64</sup>, делаю хорошую мину при плохой игре, когда она просит записать это в тетрадь должников. Графиня! Внебрачная дочь школьной уборщицы (потом эта уборщица вышла замуж и родила еще дочку — сегодня та богатая женщина, живет в Риме), а строит из себя настоящую аристократку. Три последних года она живет одним: сына в начале 1943-го призвали в армию, через год он перестал писать. Вы увидите, как мать утром и после обеда бежит вниз, к почтовому ящику перед домом. И — ничего, уже два года ни слова, мы все об этом знаем. А ведь война закончилась ровно год назад, столько венецианских солдат вернулись уже к своим семьям. Вы увидите, сами увидите — утром к ящику, потом в Академию, после обеда — к ящику, вечером и иногда целую ночь у нее в комнате не гаснет свет. На электричество она, вероятно, тратит большую часть того, что зарабатывает. Редко выходит из дому. Говорят, что только в антикварные магазины или купить полотно и краски. Домик этот когда-нибудь развалится. Развалится, ей Богу, и погребет Графиню со всеми ее картинами. Ну, пора закрывать, уже полночь. Я вам тут наболтал всякого, но лучше ведь знать, у кого живешь. Подозреваю, что эти гроши, которые армия платит ей за комнату, — не последняя строка в ее бюджете. Правда, мало кто выдерживает там больше трех-четырех дней.

Со всеми делами я управился за два дня, так что, собственно, можно уже было искать машину в Рим. Но невозможно приехать впервые в Венецию, чтобы тут же с ней попрощаться. Так что я — с чувством облегчения, ощущая, как город все больше меня ослепляет — превратился в туриста. Впрочем, даже до запланированного первоначально дня возвращения было еще далеко.

Венеция третий — после Неаполя и Рима — крупный итальянский город, который я увидел сразу после войны; я не говорю о Флоренции, останков в которой свелась к мимолетному посещению города-музея, без возможности заглянуть глубже.

Каждый из трех этих городов по-своему оживал после войны. Неаполь — со страдальческой улыбкой (но все же улыбкой) и обманчивым блеском глаз, как и подобает городу, который за свою историю уже не одного захватчика и не одно иго сумел выдержать и одолеть невидимым оружием — лукавой и насмешливой покорностью. Рим — с гримасой отчаянной паники, безумным и смиренным взглядом бедняка, вдруг потерявшего почти все, что у него было, а оставшееся готового отдать за то, чтобы просто выжить. Венеция (возможно потому, что после окончания войны прошел уже год) — с неподражаемой элегантностью, достоинством

---

<sup>64</sup> Капучино и рогалик (*итал.*).

вом и тайным высокомерием недоτροги, города настолько гордого, что никто не осмелится поднять на него руку.

Труднее всего избежать ловушки банального повторения, когда пытаешься выразить восторг. Но и с любовными признаниями и клятвами происходит нечто подобное. Совершается своего рода самоотпущение греха банальности — ты перестаешь обращать на нее внимание, потому что стертые и избитые, казалось бы, слова начинают излучать новый свет, сами собой выходят за рамки собственных обыденных значений.

Таким было мое любовное посвящение в Венецию. С каждым днем я все сильнее влюблялся в город, выстроенный, по словам поэта, из сонных видений и восхищавший меня особой связью — хочется сказать, венчанием — сна с явью. Тот короткий миг пробуждения, когда улетающий сон еще длится и уже рассеивается в дневном свете. Такой была для меня материя Венеции. Еще реальная? Уже нереальная? Я надолго, очень надолго останавливался на мостах через каналы, словно в темной воде хотел увидеть зеркало, запечатлевшее былое, отраженный ход времени. На улицах и площадях я прислушивался к шагам — отдаляющимся ли, еще только приближающимся? Я не пользовался пароходиками, мне важно было всюду пройти пешком. Гондола казалась призраком. Я знал — и быстро с этим смирился, — что никогда, даже если поселюсь здесь или год за годом стану сюда приезжать, не пробуюсь к ядру Венеции, как это случается в других городах. Потому что его нет. Нет у Венеции ядра, или сердца, она слишком текуча и эфемерна, неуловима и уклончива. Мне не нравились площадь Сан Марко и роскошный Собор, не нравился Дворец дождей, не нравился город слишком конкретный, опирающийся на клочок твердой почвы. Я предпочитал Венецию, балансирующую на пограничье, — она подтверждала реальность сна. Даже на Canal Grande, этой змее (ведь именно так его называет большинство путешественников) сотканной Бог знает из чего дворцов, хрупких, словно видения, Венеция существовала и не существовала, владела самой идеей Европы и одновременно грозила исчезнуть, клонясь к закату. Именно ее — горько и все же восхищенно — я любил, меряя шагами с рассвета до ночи на всех доступных путях. Но правдой, о которой я не могу умолчать, было и то, что с первого мгновения Венецией моей любви стала также женщина, у которой я поселился.

Грубым солдафонским определением «bitch» пользовались английские и американские военные, говоря о женщинах вообще — чаще всего, о женщинах незнакомых или тех, кого они знали лишь в лицо; это было, собственно, своего рода оскорбление, плевок под ноги. Но, наградив Графиню словом «witch», английский сержант из городской комендатуры угадал — случайно или под впечатлением нескольких мимолетных официальных встреч — ее суть. Когда в черных горящих глазах, контрастировавших с



длинными и очень светлыми волосами, вспыхивала ярость, из нее вырывалась и ведьма *тоже*. Тогда Графиня выглядела грозно, ничуть не утрачивая своей привлекательности, да что там — редкой красоты. Мгновение спустя лицо ее окутывал темный мягкий бархат, черные глаза не столько гасли, сколько убегали куда-то вдаль, в места никому, кроме нее, недоступные. Высокая, стройная — никто не дал бы ей даже этих предположительных сорока лет — она обладала даром мгновенного перевоплощения, словно хотела постоянными превращениями смутить глядящего на нее. Графиня отдавала себе отчет в своей красоте, но без тени тщеславия. Если не считать взрывов гнева, порой выплескивавшихся наружу, это была ангельски спокойная, мечтательная и сосредоточенная женщина, обожавшая лишь сына и венецианскую живопись (сын был темой табу, венецианская живопись — пространством всегда открытым для беседы). Вопросов она не задавала, а любую самую деликатную попытку разговаривать ее отвергала движением бровей и сжатыми губами. Казалось, Графиня сознательно, целенаправленно оберегала свою таинственность. Этот силуэт я рисую *ex post*, по воспоминаниям о том периоде, когда, получив приглашение, я карабкался вечерами вверх. Вскоре мне пришла в голову безумная мысль: Графиня — как бы воплощение Венеции, нет, не в том смысле, что она (как говорится) достойная дочь города на берегу лагуны, отразившая некоторые его черты, но в смысле, что это была *сама* Венеция, предмет восхищения, неотъемлемая часть чудесного города, словно мир, навсегда плененный в зеркале каналов. Плебейское дитя, в котором приобретенная аристократическая патина образовала чистый звучный сплав с низким происхождением.

После того как несколько дней я пешком исследовал город «вдоль» и «поперек», забредая в самые узенькие *calle*, блуждая по берегам каналов, просиживая на солнце на маленьких сапро, перегибаясь через перила и ограждения мостов, пришел черед живописи. Я возвращался домой поздно, едва живой, и перед сном вглядывался в фотографии сына Графини. Их было четыре — в рамках, под стеклом, висящие лесенкой: от детства через отрочество к двум юношеским, университетским снимкам. Передать впечатление можно было лишь одним словом — херувим. Детские локоны и кудри уступили место буйной шевелюре, но глаза, пухлое, а затем удлинненное лицо по-прежнему выражали доброту и неизъяснимую прелесть. На последней фотографии взгляд стал несколько тверже, но все же не убил херувима. Девичьим изгибом губ сын немного напоминал мать.

Входя в Академию, я знал, что хочу увидеть здесь прежде всего. Обежал рассеянным взглядом картины в первых залах, заглянул в боковые и уже думал, что меня ожидает разочарование, когда в углу зала венецианских мастеров заметил свою хозяйку. Она копировала портрет Лоренцо

Лотто «*Giovane nel suo studio*»<sup>65</sup>. Поглощенная работой, Графиня не заметила, что кто-то сзади и чуть сбоку внимательно наблюдает за тщательной вышивкой по холсту тех же размеров, что и оригинал. Ах, Лотто! Левая рука, листающая страницы книги, представляла собой великолепный контрапункт довольно аскетической, гладко причесанной головы, не дающей права назвать портрет «*Giovane*». Юноша выходил, а точнее — уже вышел из юношеского возраста. Я приблизился и заглянул Графине через плечо — как у нее получается эта великолепная рука на фолианте. Только тогда, обернувшись, Графиня ответила на мое приветствие. Рядом, прислоненная к стене, стояла готовая к продаже копия «Грозы» Джорджоне, поражающая точностью передачи старинных цветовых нюансов, а в фигуре обнаженной женщины с младенцем на коленях почти превосходящая оригинал.

Мы вышли из Академии на канал. Она удивилась, как много я знаю о живописи, особенно о портретном искусстве. По ее мнению, никто не мог сравниться с венецианскими портретистами, а выше всех Графиня ставила Лотто. Мне нетрудно было ей возразить, но не хотелось — я вглядывался в нее, словно она и сама была живым портретом. И потому я машинально поддакивал, пока Графиня, заметив мою рассеянность и рассмеявшись не без едва ощутимого кокетства, не сказала: «Приходите вечером наверх, сейчас мне надо возвращаться к мольберту».

Так начались мои визиты наверх. Возбужденный и нетерпеливый, я возвращался вечерами из своих скитаний по городу — в сущности, я весь день ждал только этого вечера, все больше смешивая, а возможно, и отождествляя Венецию с венецианкой. С бутылкой виски и консервами из местного военного магазина я взбирался по потрескивающей лестнице наверх. Каким наслаждением было после ужина со стаканом виски в руке говорить с ней о живописи! Я забыл о Риме, о жене, о служебных обязанностях. Проходили недели «сверх программы» — третья, четвертая. В почтовом ящике, в который Графиня действительно заглядывала дважды в день — после прихода почтальона, — появлялись адресованные мне письма, напоминания, повестки, упрёки. Я отвечал восторженными открытками, ничего не объясняя, словно пьяный, который не слышит, что ему говорят.

Второй этаж занимал такую же площадь, что и первый, только там была сломана перегородка между мастерской и спальней, а в обоих крыльях расширены соответственно кухня и ванная. В сущности, весь этаж был одной большой мастерской, везде царили полотна, тетради для эскизов, альбомы, отдельные репродукции — под ними исчезла даже широкая тахта, а чтобы пробраться в крылья дома, требовалась особая ловкость. Собственно

---

<sup>65</sup> «Юноша в своем кабинете» (итал.).

мастерская, служившая одновременно и гостиной — здесь стояли два кресла — отличалась от спальни декорацией стен. Стены спальни были увешаны фотографиями сына, в мастерской на самом видном месте висели две очень большие, великолепно и тщательно обрамленные репродукции Лотто — «Giovannetto»<sup>66</sup> из миланского Замка Сфорца и «Ritratto d'uomo visto per tre lati»<sup>67</sup> из венской галереи. Возле окна, выходящего на лаз — с видом еще и на Calle, и на канал, — стоял мольберт; полотно средних размеров было накрыто узорчатым венецианским платком. Миланского «Юношу» — берет (с украшениями), полосатый кафтан, на коленях придерживаемая руками книжка — мастер изобразил в позе средней между профилем и en face: он сидел боком к зрителю, немного отвернув лицо эльфа с необычайно правильными чертами, красоту которого подчеркивал огромный глубокий глаз (второй был едва виден). Венский «Тройной портрет» казался шуткой Лотто. Мужчина — лет тридцати пяти с редкой бородкой и рукой, приложенной к груди, тяжеловатый в своей солидности и ошутимом жизненном опыте — а по обе стороны два профиля: более отчетливый правый и довольно смутный левый. Сочетание на одной стене миланского портрета и тройного венского производило потрясающее впечатление — казалось, один и тот же человек позирует в ранней юности и в зрелом возрасте.

Был ли я влюблен? Может, очарование это было болезнью, чудесной болезнью? Насколько я помню трактат Стендаля «De l'amour»<sup>68</sup> (у меня нет его сейчас под рукой), великий знаток человеческих сердец изображал и описывал чувства, побочные по отношению к главной любви, которую не вытесняет и которой не угрожает очарование, заморозенность, то, что итальянцы (а Стендаль прекрасно владел итальянским любовным языком), говоря влюбленности такого рода, называют «è stato stregato» — «заколдован». Естественно, и такое любовное ответвление на стволе чувства к другой, по-настоящему любимой женщине, может спустя некоторое время привести к стендалевской «кристаллизации». Со мной такого не случилось. А вернее — я остановился в шаге от этого.

Это произошло, пожалуй, через месяц после моего первого вечернего визита наверх. (Утром того дня я получил официальное письмо из римской военной комендатуры с предупреждением, что дальнейшее пребывание в Венеции может быть расценено как дезертирство; коллега приписал, что жена начинает «всерьез беспокоиться»). Около одиннадцати, когда мы беседовали, вместе опустошая бутылку, Графиня положила ладонь мне на колено. Я накрыл ее своей. Женщина не убрала руки, прикрыла глаза. Следующий шаг был за мной, у меня пересохло в горле, я понимал,

---

<sup>66</sup> «Юноша» (итал.).

<sup>67</sup> «Тройной мужской портрет» (итал.).

<sup>68</sup> «О любви» (фр.).

что меняется сама суть наших отношений; без сомнения это и была та самая «кристаллизация» — стремительная и продлевающая время. Неожиданно кто-то окликнул ее от калитки; в голосе кричавшего явно слышалось раздражение. Графиня вскочила и подошла к окну: «Спасибо, иду, извините». И мне: «Я сейчас вернусь, кто-то позвонил мне на номер соседей». (У себя она не ставила телефон то ли «из принципа», то ли опасаясь расходов). По потрескивающей лестнице Графиня сбежала вниз; сверху я видел, что дверь на первом этаже она не закрыла.

Когда я немного пришел в себя, меня охватил соблазн открыть полотно на мольберте. Оно оказалось не просто полотном. Это была картина в старой позолоченной раме, поеденной и продырявленной жучком. Я увидел уже отчетливый набросок миланского юноши в полупрофиль. Лицо херувима — да, это был Альви, я достаточно насмотрелся на его фотографии. Справа Альви en face, сходство еще более ошеломляющее. Композиция была задумана как двойной портрет.

Я успел накинуть на картину платок — внизу уже хлопнула калитка. Графиня дрожала от возбуждения: казалось, она не в состоянии внятно произнести и нескольких слов. Однако, слегка запинаясь, она сказала: «Умоляю вас, уезжайте завтра, мне нужна эта квартира внизу, умоляю, умоляю».

Рано утром я вышел из дому с вещевым мешком, но вместо того чтобы идти на вокзальную площадь, в последний раз погрузился в Венецию. Чудесная Венеция, чудесная венецианка, увижу ли я вас когда-нибудь снова? В сумерках я сообразил, что в кармане у меня ключи от дома, а в вещевом мешке не хватает «Альбома портретов». Вечером я, словно вор, прокрался на Calle San Barnaba, бесшумно открыл дверь и, не зажигая в прихожей света, на ощупь и на цыпочках подошел к столу у кровати, где лежал «Альбом». В это мгновение на гравиевой дорожке послышались шаги и на железную лестницу ступил высокий мужчина в военной куртке и пилотке. Сверху бегом спустилась Графиня и с приглушенными рыданиями бросилась ему на шею. Я видел их, оставаясь невидимым. Когда юноша заглянул вдруг через стекло в комнату, в которой, почти вжавшись в стену, стоял я — на мгновение передо мной возникло небритое твердое жестокое лицо с двумя горящими угольками вместо глаз. Такое у меня осталось воспоминание о возвращении «херувима» с войны.

Мне повезло. На вокзальной площади готовился к ночной поездке в Рим новозеландский грузовик, нагруженный ящиками под брезентовым тентом. В широкой кабине нашлось место для третьего пассажира — я тиснулся между шофером и его напарником.

В Риме — что не осталось незамеченным моими коллегами в комендатуре и женой дома — мною овладело странное настроение, сплав эй-

фории и тревоги. И в том и в другом нетрудно было обвинить Венецию. Я влюбился в Венецию — отсюда эйфория любви, тревогу же будили сомнения, увижу ли я ее вновь, поскольку наша армия уже готовилась к отъезду из Италии в Англию.

Летом мы с женой отправились на неделю в отпуск на Капри. Там на пляже я подобрал брошенный каким-то американским солдатом номер «Старз энд Страйпс» — ежедневной газеты для англоязычных военных, в которую я почти никогда не заглядывал, имея в своем распоряжении газету 2-го Корпуса и итальянскую прессу, что было особенно важно для изучения языка. Целый разворот «Старз энд Страйпс» был отведен венецианскому репортажу с фотографиями; я сразу узнал плохо отпечатанные портреты Графини и ее сына. Почему описанные американским репортером события не попали в итальянские газеты (не говоря уже о нашей скромной польской газетке), мне непонятно до сих пор. Неужели в атмосфере послевоенной Италии местных журналистов, любителей стопаса пег, смутила эта история?

В очень кратком изложении она выглядела так. Граф Альвизе Терцано, сын графини Джудитты, на исходе войны попал в специальный отряд Республики Сало, быстро прославившийся своей жестокостью, названный репортером «отрядом палачей», а итальянцами заклеянный как «la squadra fascista degli aguzzini e dei boia»<sup>69</sup>. После поражения Альви вернулся в родную Венецию, мать укрывала его у себя на Calle San Barnaba. Они имели обыкновение очень поздно, далеко за полночь, гулять по совсем уже пустому городу. Позавчера, 27 июля (сообщал венецианский корреспондент и репортер) из дверей дома на Campo San Barnaba выскочил мужчина в маске. Он подбежал к прогуливающейся паре и, не произнеся ни слова, трижды выстрелил в молодого графа. После чего скрылся в направлении Canal Grande, где его, видимо, ждала моторка. Заключительная сцена репортажа явно не была плодом воображения автора. Во-первых, из окна на Campo ее мог кто-то видеть. Во-вторых, *мое* воображение подсказывает мне то же самое. Пока не появилась полиция, то есть в течение двадцати минут после убийства, графиня Джудитта сначала молча стояла на коленях у тела сына, затем легла на него «словно это был ее любовник, а не сын» (слова репортера). В такой позе она оставалась до приезда полиции, и двое сильных мужчин еще долго не могли оторвать ее от убитого.

Интересно, что я не отдал этот номер «Старз энд Страйпс» жене, лежавшей рядом на пляже, а, изобразив рассеянность, бросился с ним в воду и стремительно поплыл прочь от берега. Размокшая газета начала мед-

---

<sup>69</sup> «Фашистская бригада изуверов и палачей» (*итал.*).

ленно тонуть — а я, держась рядом на поверхности, не сводил глаз с двух расплывающихся фотографий.

«Бригада изуверов и палачей», по определению итальянцев. Пока еще рано было собирать свидетельства или хотя бы информацию о ней. Но отрывки, хаотичные отрывки — да. В Риме стали появляться участники или свидетели северных битв. Они, правда, не отличались особой разговорчивостью — заключительная фаза войны усугубила жестокость обеих сторон, как фашистов, так и партизан; самым употребительным словом была тогда «эскалация». Но за вином, за бутылкой чего-нибудь покрепче языки порой развязывались. Дважды во время осторожных расспросов я услышал имя молодого графа Терцано. Каждый раз его называли «belva» — помесь «бестии» и «изверга». Один из рассказчиков пошел даже дальше — «belva umana»<sup>70</sup>, что звучит еще жестче.

Именно о нем — «херувиме» по имени Альви — я думал тогда непрестанно. О нем, а не о его матери. Война не поскупилась на примеры человеческого озверения и немыслимой ранее жестокости. Особенно в моей стране. Слушая вести из Европы, все шире захваченной гитлеровской армией и (сначала частично, потом все шире и шире) советскими войсками, мы порой опускались до инстинктивной глупой и эгоистичной реакции: «Человек привыкает ко всему». В этой фразе таился зародыш тоталитарного «перевоспитания». То была ложь, постепенно, словно яд, проникавшая к нам в души ложь. Я ходил по Риму, осознавая это, прекрасно, однако, понимая, что окончание войны, за которым последует возрождение элементарных человеческих чувств, не позволит мне так просто сохранить свою мысль. Наконец она сосредоточилась на лице Альвизе Терцано. Я помнил мальчишеское мягкое почти девичье лицо с фотографии — и лицо за стеклом, когда он заглянул в свою комнату в тот вечер, вернувшись домой, твердое, исполненное застывшей, концентрированной ненависти. Что было в промежутке? Как произошло это поразительное превращение?

Собирая отрывочную информацию, я, разумеется, не получил бы ответа на эти вопросы. Альви мелькнул в разговорах лишь дважды — палач, все более жестоко издевавшийся над «подозрительными лицами», расстреливавший стариков и детей, насиловавший женщин, сжигавший «вражеские» дома. Имя его наводило ужас. Там, где проходила его бригада, немного оставалось тех, кто мог оплакивать погибших.

Среди праздничной толпы на улицах Рима во время одиноких (или вместе с женой) ночных прогулок по берегам Тибра за мной неотступно

---

<sup>70</sup> Человеческий (итал.).

следовал Лик Зла. Рожденного потребностью, неодолимой потребностью причинять Боль.

Наша армия была уже переправлена из Италии в Англию — за исключением солдат, решивших вернуться в Польшу или по семейным обстоятельствам оставшихся в Италии. Я оказался среди небольшой группы тех, кому пришлось еще на некоторое время задержаться в Риме. Однако рано или поздно демобилизоваться было необходимо, а делалось это в Англии. Мне сообщили, что последний срок — поздняя осень 1947 года. Я договорился о нашем с женой переезде в Лондон на начало ноября. В сентябре, выполняя данное жене обещание, я поехал с ней в Венецию. Это, очевидно, должно было стать (для меня) прощанием с городом.

Мы поехали поездом — жизнь в послевоенной Италии быстро возвращалась в обычное русло. Но привилегии для бывших *liberatori*<sup>71</sup> уже отменили, поэтому ночлег нам пришлось искать самостоятельно. По предыдущей поездке я помнил, что бывший Дом Раскина на Zattere превратился в скромную гостиницу. После военной реквизиции он был в довольно плачевном состоянии, но экономка или хозяйка — немного взбалмошная старая англичанка — с первого взгляда воспылала к нам симпатией и поселила в сносной комнатке с красивым видом на остров Giudecca.

Я не скрывал от жены историю своей первой поездки в Венецию, утаив лишь, что едва не потерял от Графини голову. Для жены, как теперь и для меня, на первый план вышла трагедия с Альви, довольно показательная для бурных лет после падения фашизма. Назавтра поздним вечером мы вместе отправились к бармену на Campo San Barnaba. Что удивительно — он меня помнил! В полночь мы пригласили его за свой столик. Замечу здесь, что в день приезда я один побежал к дому на Calle San Barnaba — несколько раз тщетно нажимал кнопку звонка, потом бросил написанную тут же записку в почтовый ящик, хотя понимал, что *теперь*, скорее всего Графиня больше в него не заглядывает. Был час, а может, и два, когда бармен жестом позвал нас в уже темный первый зал, к выходящему на Санро окну-витрине. Графиня шла ровным, энергичным шагом, на четверть часа мы потеряли ее из виду — вероятно для ночной прогулки у нее был определенный маршрут, потому что тем же шагом она пересекла Санро в обратном направлении. Не удержавшись, я выскочил на площадь и подбежал к ней. Графиня безучастно, устало взглянула на меня (куда подевались ее горящие глаза?) и тихо сказала: «Это недоразумение, я вас не знаю, пожалуйста, не мучайте одинокую женщину». Потеряв дар речи, я отошел в сторону.

---

<sup>71</sup> Освободители (*итал.*).

Графиня (по рассказам бармена) совершенно одинока, утром ходит в Академию, а ночью — на короткую прогулку, больше не пьет утренний кофе в баре, по-прежнему делает копии в Академии и рисует дома (в ее комнате целыми ночами горит свет), чаще, чем раньше, продает свои репродукции — не столько как хороший копиист, сколько как знаменитая героиня прошлогодней драмы. Говорят, по воскресеньям рано утром она в любую погоду ездит на могилу сына.

Когда я обрабатывал и редактировал написанное, во всей своей яркости проявилась автобиографичность моего рассказа. Хорошо это или плохо? Вообще-то я люблю писать от первого лица, но как правило, речь идет о повествователе, которого лишь иногда и то с оговорками можно отождествить с автором. А тут автобиографичность безудержная и откровенная. В чем дело? Писательский инстинкт подсказывает мне, что иначе быть не могло, но в то же время я отчетливо ощущаю, что необходимы пояснения.

В нашей жизни есть несколько типов событий. Бывают события, которые происходят рядом, привлекая наше внимание, но не втягивая нас непосредственно в механизм своего «действия», как будто не имея доступа к глубинным пластам нашей восприимчивости. Это самый простой случай — с помощью воображения писателю удастся или не удастся «проникнуть» внутрь интриги. Бывает вовлеченность опосредованная — когда внешняя дистанция непрестанно колеблется и время от времени сходит на нет, принимая форму более или менее активного участия (тогда речь идет о «вчувствовании»). И, наконец, мы, хотя и редко, ощущаем тесную связь с событием, на самом деле касающимся нас довольно поверхностно — специфическое, даже нелепое ощущение, будто наше участие в нем значит гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Вот тогда звучит — и звучит все громче — автобиографическая нота. Именно такое и произошло в «Венецианском портрете».

В ноябре 1947 года мы приехали в Англию. Я опушу предшествующие хлопоты, связанные с демобилизацией, и бюрократические процедуры, неизбежные при переселении в чужую страну — перейду сразу к нашей темной комнате в доме близ станции метро «Глочестер Роуд». С перспективы стольких минувших лет эта комната ассоциируется у меня с глубоким колодцем. Именно тогда — а не в последующей квартире рядом с красивым старым парком, — глядя в выходные дни на стену замкнутого мрачного двора, я оказывался жертвой венецианского бреда и сна наяву. Как это возможно? Как мог я видеть или, скорее, воспроизводить образы Венеции на фрагменте обшарпанной грязной стены? Не знаю, однако могу с уверенностью сказать: по мере того, как наша жизнь в темной комнате все больше напоминала ночной кошмар, перед моими глазами множились мимолетные эйфориче-



ские видения. Потом это явление вышло за пределы дома, и подобные галлюцинации стали посещать меня на некрасивых и бедных улочках, окутанных желтым светом фонаря. Непонятно, как мне удалось перенести и сохранить в живой (я бы даже сказал — с каждым днем все более живой) памяти осколки венецианского пейзажа и два лица — венецианки и ее сына.

До самого конца моего почти пятилетнего (правда, в новой квартире с долгими перерывами) пребывания в Англии действовал этот механизм коротких побегов из лондонского колодца в Венецию. Слово «почти» относится к шести месяцам постепенного, но неотвратимого нисхождения — ступень за ступенью, все глубже на дно колодца (сколько же было таких этапов?) нашего лондонского существования. И вдруг венецианские видения уплыли прочь, Лондон был лишь Лондоном. Мы с женой думали, что нам никогда уже не выбраться из сгущающегося мрака на дневной свет. После ее смерти я три года провел в Мюнхене. Женившись снова, переехал в Италию.

Через год после того, как я поселился в Неаполе, все газеты — под аккомпанемент специальных статей и репродукций — сообщили о большой выставке Лоренцо Лотто в венецианском Дворце дождей. Торжественное открытие — в присутствии президента Республики и членов правительства — назначили на второй день Рождества 1956 года. Выставка должна была действовать до 1 мая следующего года. В книжных магазинах появился тяжелый том Бернсона «Лотто». Пресса ломала голову над секретом довольно странного выбора сроков. Зимой по разным причинам заграничные туристы обходят Венецию стороной — это, очевидно, и побудило организаторов представить выставку сперва итальянской публике и лишь потом пришельцам из других стран. Один из журналистов, ударившись в «поэзию», поигрывал оригинальным объяснением: «таинственному», «недооцененному при жизни», «пригретому в нищете монастырем в Лорето», «непризнанному родной Венецией» Лотто суждено пять столетий спустя сойти на родную землю «в клубах зимнего венецианского тумана». Больше всего писали о незамеченном современниками величии художника («превосходного портретиста!»), о его странствиях в поисках заработка, о нередко полуголодном существовании, об одиночестве. «Венеция бьет себя в грудь и склоняет голову, мир открывает Мастера», — так звучал заголовок одной из статей.

Все материалы содержали краткую, в несколько фраз, таинственную информацию: украшением выставки станет неизвестная прежде картина Лотто, недавно найденная на чердаке дома в Лорето, где когда-то, столетия назад, жил самый богатый в городе купец, «*collezionista degli oggetti preziosi*» — «собиратель ценностей» — благодетель художника.

В 1954 году картина была случайно найдена, куплена венецианским антикваром Марини, признана произведением кисти Лотто знатоком его творчества, графиней Терцан и ею же отреставрирована.

Я приехал в Венецию 20 декабря, один, поскольку вторая жена не могла оставить нашего маленького ребенка. Ранний приезд — меня пригласил в Падую на рождественский ужин фронтовой товарищ, поляк, женившийся на итальянке, — не облегчил мне поиски комнаты. Все венецианские гостиницы оказались переполнены, номера зарезервированы как минимум за месяц — Лотто благодаря шумихе, поднятой прессой, стал «культурным событием года». На худой конец я мог на несколько дней воспользоваться гостеприимством друзей в Падуге, но мне не хотелось даже на минуту покидать Венецию (за исключением Рождества). Не особенно рассчитывая на успех, я пошел в Ruskin House. Старая англичанка меня помнила, помнила и мою первую жену, и была так взволнована встречей спустя годы, что немедленно впахнула в загроможденный номер — комнату нашего послевоенного путешествия, зарезервированную парой из Болоньи только начиная со дня открытия выставки. Я пообещал хозяйке, что, посмотрев выставку, вернусь в Неаполь вечерним поездом, а чемодан с утра оставлю у портье.

Ночь я провел без сна — закутавшись в плед (в гостинице Ruskin House не было отопления), сидел у окна, упорно вглядываясь в купол церкви на Giudecca, словно верил, что рядом присядет дух человека, вместе с которым я несколько лет назад глядел на тот же самый фрагмент ночного пейзажа, — словно свято верил, что мертвые нематериально оживают, если сохранить в неприкосновенности картину, в которую когда-то надолго погрузился их взгляд.

Ночь была чистой, холодной и безветренной, небо мерцало бледными звездами, по темному каналу бежали мягкие складки, будто по бархатному плащу. Перед самым рассветом на город вдруг спустилась пелена тумана — густая и властная, через четверть часа в нем исчезла Венеция, сделавшись настолько невидимой, что можно было усомниться, на самом ли деле она существовала еще мгновение назад. Раздались гудки пароходов, на пристанях упавшее белое облако пронзили острия моментально откуда-то появившихся фонарей и факелов. Туман — редко и ненадолго прояснявшийся — покрывал Венецию все время моего пребывания. Но что это были за прояснения! Венеция превращалась в череду промытых и стремительных образов. Глазам открывались, чтобы тут же исчезнуть, портреты прохожих. Да, портреты; только тогда — словно готовясь к выставке Лотто — мы научились замечать в человеческих лицах их врожденную зеркальную способность «позировать для портрета». Каждый из нас — живой портрет, особенно тогда, когда на мгновение возникает из тумана; такие мгновения и есть первооснова для великих портретистов.

Длинная очередь медленно втягивалась во Дворец дождей, увлекая лоскуты тумана за собой в перегороженный вестибюль, где стояли кассы и киоски. За линией контроля с многочисленными билетерами открывались выставочные залы. Я шел энергичным шагом, мельком поглядывая на известные мне по репродукциям картины Лотто, спеша к «украшению выставки», к ее (как написали накануне газеты) «сенсации».

Наконец довольно далеко, в последнем, наверное, зале я увидел освещенную нишу, которую окружала полукругом толпа. Туда и надо было пробираться, чтобы начать осмотр выставки с нового приобретения — неизвестного прежде, чудесным образом найденного портрета Лотто.

Ниша — это я смог разглядеть — была обита темно-красным или фиолетовым сукном, а может быть, парчой с обеих сторон, сверху и снизу на нее были направлены стилизованные под свечи продолговатые лампы, над верхней лампой висела табличка с обширными пояснениями, которые разобрать с такого расстояния было невозможно. Я испытываю аллергическую неприязнь к большим скоплениям людей, так что оставалось только ждать. Но я зря на это рассчитывал: как только полукруг немного редел, вновь прибывшие занимали освободившиеся места. Хочешь не хочешь, пришлось забыть о своей аллергии и приблизиться к толпе, выбирая удобный момент. Наконец мне удалось охватить взглядом нишу, пусть и между головами или через плечо тех, кто стоял в первом ряду.

Сначала я увидел Графиню. Она сидела в инвалидной коляске, ноги до самых стоп укутывал плед; выше пояса она полностью сохранила прежнюю красоту — и только лицо не то чтобы постарело с годами, но словно омрачилось тенью безумия. Глаза горели, как и прежде, быть может, даже более живым и немного тревожным огнем. «Она парализована, — сказал стоящий передо мной мужчина своей спутнице — через четыре года после того, как застрелили сына, у нее отнялись ноги». Графиня отвечала на вопросы тех, кто смог к ней протиснуться. Я слышал ее ответы — все тот же глубокий и мягкий голос! — дельные, исчерпывающие, с призывом (возможно, незаметной для других) гордости. Когда я сумел подойти так близко, что она не могла меня не заметить, Графиня на мгновение остановила на мне взгляд. Ни один мускул ее аристократического лица не дрогнул, и она снова принялась отвечать на вопросы. Я был абсолютно уверен, что она узнала меня, но не хочет в этом признаться. Даже больше — от меня она ждет того же.

Не без труда, локтями прокладывая себе дорогу, я приблизился к портрету. Хотелось бы избежать дешевых драматических эффектов, но нельзя ведь — ради максимальной точности описания — опустить то, из чего складывалась первая реакция: мощный удар меж глаз, вдруг задрожавшие и сделавшиеся ватными ноги, румянец — словно на меня вдруг дохнуло из раскаленной печи. У меня захватило дух. Композиция картины,

называвшейся «*Ritratto d'uomo visto per due lati*», или «Двойной портрет», родственной венскому «Тройному портрету», была мне знакома по полотну на мольберте Графини, которое я самовольно открыл в ее мастерской. Только композиция. Тогда под шелковым венецианским платком моим глазам предстал едва начатый, но уже четко различимый портрет в профиль и *en face* юного сына художницы в образе прелестного херувима. Теперь я стоял перед «Двойным портретом» Альви после возвращения с войны; того Альви, какого я (вероятно, только я) на мгновение увидел сквозь стекло, отделявшее его комнату от лестницы. Мужественный, решительный, с дерзким и бесстрашным взглядом; однако в этом лице молодого кондотьера не было озлобленности и жестокости. Он был красив (напоминал именно недавно принятого на службу кондотьера), как красив был и его двойной портрет.

В табличке над верхней лампой подробно рассказывалось об обстоятельствах, при которых картина была обнаружена, приводилась (с вопросительным знаком) предположительная дата ее создания — 1555 год, — утверждалось, что имя модели установить невозможно, объяснялось, «что совершенно уже зрелый, даже несколько перезревший стиль портретного искусства Лотто (*pienamente maturo e forse anche un po stagionato*) заставляет предположить, что написан портрет за год, самое большее за два до смерти художника. Ах, Графиня! Как же она углубила это мастерство — в оттенках цвета, в линии головы и плеч! Какая безграничная любовь к подлинной модели портрета окрылила *ее* искусство!

Я еще раз, чуть переведя дух прежде чем направиться в другие залы выставки, прошел мимо ее коляски. Но, ощутив на себе взгляд Графини, не посмотрел в ее сторону.

Прошло несколько лет. Я регулярно покупал журналы, посвященные живописи, не раз мне случалось восхищаться цветными репродукциями «Двойного портрета» Лотто, сопровождавшимися учеными комментариями искусствоведов, лестными отзывами *en passant* о реставраторском подвиге Джудитты Терцан. По случаю приобретения картины венецианской Академией, престижный журнал «Иль Мондо делл'Арте» опубликовал большое интервью с Графиней, украшенное фотографиями реставратора, ее дома и ее мастерской. Я без конца перечитывал интервью и восхищался умелой и умной эквилибристикой Графини, ее профессиональными размышлениями об искусстве венецианско-лоретанского Мастера, но прежде всего — ее хладнокровием. Я, который — возможно, единственный на свете, кроме венецианского антиквара Марини, — знал правду и секрет этот таил глубоко в душе, гадал, откуда у этой парализованной женщины силы для игры с огнем. Ведь я не сомневался,

что подделка, пусть и превосходная, выдающая великий прежде скрытый и вдруг проявившийся живописный талант, долго не продержится. И оказался прав, но не предполагал, что история продлится столько времени — до 1975 года. Что же касается источника сил и изумительной выдержки Графини, бросившей столь безумный вызов, кое-что на мгновение приоткрыл судебный процесс.

Первой молнией приближающейся бури стала в октябре 1975 года опубликованная в крупной газете статья специалиста по Лотто с коварным заголовком «La Contessa Van Meegeren?»<sup>72</sup> Не указывая пальцем на венецианский «Двойной портрет», не называя имени Графини, но упомянув фамилию гениального фальсификатора картин Вермеера (пусть и с вопросительным знаком), автор писал об опасности, которой подвергается, больше, чем кто-либо другой, Лотто, неудачник и бедняк, «разбрасывавший свои шедевры где попало, далекий от того, чтобы позаботиться об элементарной защите своих авторских прав — легкая добыча для подражателей (что не является преступлением) и фальсификаторов (что таковым является)». Статья открывала дело и приглашала «уважаемых коллег» к дискуссии.

Не знаю, было ли письмо Джудитты Терцан в газету ошибкой или же смелым и разумным шагом. Она ведь могла не реагировать, поскольку упомянут был лишь ее титул, но не имя, а «Ritratto d'uomo visto per due lati» в тексте не назывался ни разу. Видимо, она сочла, что подобная тактика — немедленно расставить точки над *i* — себя оправдывает. «Я догадываюсь, — писала она в письме, — что профессор Салимбени, действительно выдающийся знаток Лотто, который в своей статье предпочитает по каким-то причинам не называть вещи своими именами, подразумевал отреставрированный мною «Двойной портрет» со знаменитой венецианской выставки. Даже тень, а вернее, тень тени инсинуации, является для меня достаточным поводом, чтобы требовать заключения экспертной комиссии, естественно, с участием профессора Салимбени».

Салимбени ответил по-деловому и сухо. Да, по разным причинам (осторожный намек на личную трагедию Графини) он предпочел петлять вокруг темы вместо того, чтобы взять быка за рога. Письмо графини Терцан развязывает ему руки. Он действительно считает «Двойной портрет» Лотто очень удачной, в определенном смысле даже достойной восхищения подделкой. Ни минуты не колеблясь, он предлагает создать комиссию из шести человек и свое в ней участие. С его точки зрения, комиссия должна быть создана и действовать от имени Трибунала. Ведь Академия, как владелец портрета, имеет право подать в суд на графиню Терцан и антиквара Марини.

---

<sup>72</sup> «Графиня Ван Мегерен?» (*итал.*).

Так и сделали. Еще до судебного процесса в венецианском Трибунале мнения членов комиссии разделились поровну: трое экспертов сочли портрет подлинным, вновь обретенным творением Лотто, трое — исключительно умелой подделкой. Суд, продолжавшийся всего неделю, их отношения к предмету спора на изменил. Приговор не был бы вынесен — и, следовательно, Графиня и Марини могли выйти из зала суда с высоко поднятой (наполовину) головой, а портрет вернулся бы из зала суда в залы или запасники Академии, — если бы не заявление Джудитты Терцан. После окончания процесса пресса гадала, зачем она его сделала; для меня, честно говоря, это не было неожиданностью. Графиня призналась в фальсификации и в точности воспроизвела ее ход и обстоятельства, не отказав себе в маленьком удовольствии подчеркнуть, что наполовину ее затея увенчалась успехом. Объясняя свои мотивы, она сказала: искушение хорошо заработать. «Но не только, — добавила Графиня и лишь тогда сорвался ее спокойный и ровный голос, — еще я хотела на века оставить миру портрет моего утраченного и возлюбленного (*amatissimo*) сына».

Венецианского антиквара приговорили к пяти годам тюрьмы без отсрочки исполнения приговора. Графиню также — правда, с оговоркой, что как калека она будет отбывать заключение в колонии для инвалидов близ озера Комо. Портрет, *corpus delicti*<sup>73</sup>, решением суда был арестован.

Мы сидели у открытого окна на пятом этаже дома на берегу Тибра. В прозрачном ажурном воздухе на другом берегу за мостом был виден памятник Джоаккино Белли — насмехавшемуся над чрезмерной любовью королю сонетов на диалекте *romanesco*, которого пытался переводить влюбленный в него Гоголь. Дом находился за пределами старого гетто, недалеко от синагоги, и жили здесь люди обеспеченные. Сидящая напротив меня Джованна Олиндо, младшая сестра Графини по матери, уже много лет вдова необыкновенно богатого торговца недвижимостью, была похожа на старую ощипанную индюшку: она все прикрывала глаза, время от времени извлекая из своей засушенной фигурки фразы — скрипучие и тоже словно ощипанные.

Нелегко было вымолить этот визит. Я позволил себе чуточку солгать («с вашей сестрой меня связывало нечто большее, чем мимолетное военное знакомство») — грех, в котором я здесь исповедуюсь и который при этом себе отпускаю: я не видел иного способа связаться с единственным человеком, который мог рассказать мне о судьбе Графини в годы, прошедшие от приговора до смерти.

---

<sup>73</sup> Состав преступления (*лат.*).

Джуди (сестра называла ее семейным уменьшительным именем) отбыла весь срок наказания в колонии для инвалидов — апатичная, словно бы отсутствующая, бездеятельная, не желавшая даже воспользоваться привезенными сестрой рисовальными принадлежностями. От сестры она хотела лишь одного — чтобы та оплачивала адвокатов, неустанно возобновлявших попытки вернуть арестованную картину. Все усилия были тщетны, по всей видимости, суд опасался повторного использования подделки. Постоянные отказы довели Графиню до глубокого нервного расстройства. После окончания срока наказания ее перевезли за счет сестры в санаторий для нервнобольных в долине Аосты. Там она провела восемь лет, «умершая при жизни» (по выражению госпожи Олиндо). Из полной прострации ее вывело только решение суда о возвращении картины. Графиня ожила. Немедленно уехала в Венецию, в свой домик, многие годы простоявший закрытым и запущенным. Сестра ее содержала и нашла постоянную компаньонку, дальнюю родственницу матери, железную старую деву. Несколько лет до смерти от сердечного приступа Графиня прожила, мучимая подозрениями, вечно сердитая, на страже своего сокровища.

Так что интуиция меня не подвела. Эта история — по крайней мере отчасти — оказалась современной версией «Писем Асперна», венецианской повести Генри Джеймса. Вплоть до мелкой детали: родственница Графини — параллель со старой девой Титой, племянницей мисс Бордро.

Мы пошли в соседнюю комнату пить чай. На стене, куда не попадали солнечные лучи, висел под небольшим распятием «Двойной портрет» Джудитты Ван Мегерен. Я вглядывался в него так долго, что госпоже Олиндо пришлось с ноткой раздражения в голосе напомнить мне о чае. Венецианский портрет был и в самом деле шедевром — кто знает, сумел бы Лотто нарисовать что-либо подобное? Автору подделки удалось изобразить два благородных, непреклонных, покоряющих своей красотой лика Зла.

*Июнь 1993.*

## Арка Правосудия

Площади, рынки — моя давняя любовь. С ранней юности, даже отрочества я видел и ощущал в них (разумеется, не умея найти для этого точных слов) весь огромный мир — уменьшенный и сведенный к доступным человеческому зрению масштабам. Быть может, это осталось у меня с тех времен, когда школьником я недолго жил в своем родном городе в пансионе, окна которого выходили на большой Рынок, каждый день с утра до обеда тесно заставленный лотками и крестьянскими подводами, а на рассвете и во второй половине дня служивший плацем для солдат, живших в казармах по другую сторону площади. Соседство военной комендатуры и букета рыночных голосов и криков, одноцветных солдатских колонн и хаотичной, яркой пестроты базарной толпы слилось, должно быть, в моем юношеском воображении в образ чего-то ограниченного и одновременно очень просторного. Этот образ — синоним богатства мира в осколке большого зеркала — так и не потускнел в моей памяти и не раз являлся мне во взрослой жизни.

Много я перевидал позже площадей и рынков — в Англии, Германии, Франции, Италии, Персии, Палестине, Индии, Бирме. Они не были тем, что я воображал себе в молодости — эти площади лишь лучше или хуже выполняли свои локальные функции, им не хватало того универсального привкуса, каким окружила их когда-то моя фантазия. И только здесь, в Неаполе, я еще полнее и ярче, чем в молодости, увидел, чем может быть Mercato<sup>74</sup>.

Piazza del Mercato<sup>75</sup> расположена между портовой улицей и главной, античной артерией города, которую народ — соединяя в одно целое ровный ряд прежних цеховых переулков — называет «Spassanapoli», «линией, рассекающей Неаполь». Это словно позвоночник города, с изогнутыми ребрами переулков по обе стороны. По одному из таких боковых переулков можно дойти до Рынка, если вы находитесь в центре старого города, а не в окрестностях порта.

За два года до того, как, по декрету Карла I Анжуйского, для будущего Рынка было в 1270 году выделено и огорожено пустое поле на окраине средневекового городища, оно послужило лобным местом. Таким оказалось начало: здесь отрубили голову последнему из Гогенштауфенов, юному герцогу Конраду, которого называли Коррадино. И дух казни ви-

---

<sup>74</sup> Рынок, базар (*итал.*).

<sup>75</sup> Рыночная площадь (*итал.*).



тал здесь — несмотря на постоянно появлявшиеся новые магазины и лавочки — до самого конца XVIII века, а точнее, до 1799 года, когда на Piazza del Mercato повесили группу зачинщиков и предводителей неудавшейся (якобинской) Неаполитанской революции. Таким образом, на смену топору палача пришла виселица: на ее ступеньки поднимались приговоренные к смерти преступники и убийцы, а для жителей города и приезжих она вросла в пейзаж Рынка. В эпоху топора Мазаньелло головой заплатил за короткий плебейский бунт: на Рынке он жил, торговал рыбой, отсюда руководил бунтом, на Рынке же, в церкви Дель Кармине, его поймали, убили и мертвому отрубили голову. Церковь Дель Кармине построила приехавшая из Германии мать князя Коррадино, которой Карл I не разрешил увезти останки сына в далекий фамильный склеп. Это не единственная церковь на Рынке. Французские монахи воздвигли еще одну, Сант-Элиджо. Вокруг нее и будет строиться этот рассказ.

С течением времени торговая площадь разбухала, выходила за пределы своих первоначальных границ, превращалась в особый мир — точно такой, какой я наблюдал из окна пансиона в своем родном городе. Это странно и, быть может, не очень понятно, но я не могу забыть о главном признаке этого «своеобразия», — мир предстает отделенным и одновременно замкнутым в своем отражении, своем универсальном отблеске. Рынок моей молодости — площадь торговли и оружия; неаполитанский Mercato — площадь торговли и правосудия. Все равно, какого — с маленькой или большой буквы, опозоренного или превознесенного, истинного или построенного на лжи и насилии — но правосудия, без которого человек чувствует себя потерянным; так нас успокаивает созерцание маневров наших потенциальных вооруженных защитников. Другими словами, глубинная сущность Рынка — сплетение разных элементов.

Построенная французскими монахами, анжуйская церковь Святого Элигия бросается на Рынке в глаза по двум причинам: во-первых, хотя и скромная, она довольно красива; во-вторых, арка соединяет ее со зданием напротив, где когда-то находилась больница. Большой аркой с окном в верхней части в свое время, видимо, пользовались, чтобы срочно попасть из церкви в больницу. Под окном полстены занимают *grosse horloge*<sup>76</sup>, придающие арке необыкновенную легкость и элегантность. Под часами по обе стороны, тоже над изгибом арки — два небольших медальона, которые туристу или случайному прохожему покажутся оригинальным архитектурным украшением, будь у него время и желание долго и внимательно рассматривать арку, а не ограничиться мимолетным взглядом. В одном медальоне две небольшие головки из мрамора — явно

---

<sup>76</sup> Большие часы (*фр.*).

мужские. В другом — тоже две головки такого же размера, мужская и женская. Никто так и не смог разгадать смысл изображений, но без сомнения они призваны что-то донести до нас, ведь, будь медальоны задуманы как обычный орнамент, их, вероятно, сделали бы одинаковыми — столь естественный и распространенный декоративный мотив.

Тот, кто скептически относится ко всякого рода легендам и доверяет лишь историческим записям, называет арку просто *L'arco di Sant'Eligio*<sup>77</sup>. Тот же, кто верит в легенды или даже считает их устной историей — в чем-то более важной, нежели та, что зафиксирована в летописях, — скажет об «Арке идеального правосудия»: «*L'arco della giustizia esemplare*». И в мраморных головках увидит нечто большее, чем архитектурное украшение.

Таким образом, для профессиональных историков речь идет лишь о легенде. Ее можно записать, как это сделал Суммонте в *Historia di Napoli*<sup>78</sup>. Он мог бы недвусмысленно указать, что это лишь предание, а не исторический факт, но не сделал этого. Более того, традиционную для легенды формулу — «старики рассказывают» — он возвысил до роли исторического источника. Я согласен с ним, хотя, разумеется, для специалистов мое мнение ничего не значит. Я согласен с ним как писатель, ибо верю, что формула «старики рассказывают» воспроизводит ту полосу прошлого, которая его воскрешает, особенно если рассказы стариков передаются из поколения в поколение. А так случилось с описанной здесь легендой об «идеальном правосудии» — с начала XVI века до конца прошлого столетия. Постепенно ли угасала легенда, потому что медленно умирало и «идеальное правосудие»? Это мне неизвестно, такие исследования требуют специальной подготовки. Для меня важна лишь долгая, а потому значимая жизнь предания.

Читателя ради следует еще вспомнить — до того, как повествование пройдет под сводом Арки Правосудия — о моем знаменитом предшественнике, Александре Дюма. В «Корриколо», книге о Неаполе, в главе «Венчание на эшафоте» он затрагивает ту же тему. Но гусиное перо Дюма слишком разогналось в погоне за легкими литературными эффектами в сравнении с моей авторучкой, стремящейся лишь отдать дань легенде и поддержать ее гаснущее пламя.

В течение трех с половиной столетий старики рассказывали, что около 1500 года Адриано Караччоло, молодой и красивый неаполитанский граф, владелец многочисленных дворцов в городе и богатый калабрийский латифундист, обнаружил однажды в своих владениях девушку (и девственни-

---

<sup>77</sup> Арка Святого Элигия (*итал.*).

<sup>78</sup> История Неаполя (*итал.*).

цу) необыкновенной красоты, скромную и набожную, как и ее родители — вассалы графа, жившие в усадьбе далеко от магнатского замка. Звали ее Патриция Бурроне. Хозяин положил на нее глаз, когда охотился в окрестностях усадьбы. Старики рассказывали, будто он влюбился с первого взгляда; более сдержанные из них, подмигивая, добавляли, что это была лишь мимолетная страсть, свойственная людям его положения и возраста при феодальной вседозволенности. Семья Бурроне не была крестьянской, на общественной лестнице она занимала более высокую ступень, поэтому графу нелегко было удовлетворить свой каприз путем насилия (возможно даже в присутствии беспомощных родителей). Провести с девушкой ночь граф пожелал с ее согласия, пусть даже вынужденного. И энергично принялся за дело. Он прижал отца к стене фальшивым обвинением в убийстве, требуя за помилование и освобождение из тюрьмы отдать дочь. Условие было выполнено, о чем старики рассказывали одной фразой: «Патриция поддалась его вожделению». Инцидент удалось бы скрыть, переживи семья трагедию молча, смирившись с ролью жертвенного агнца. Но руки, на мгновение опустившиеся в жесте отчаяния, вскоре поднялись в неожиданном стремлении к справедливости. Вся семья — отец, мать, дочь — отправилась в Неаполь. Легенда умалчивает о том, каким образом удалось им предстать перед регентшей Изабеллой Арагонской. Возмущенная Изабелла убедилась в том, что жалоба обоснованна, после чего отправила в Калабрию вооруженный отряд с приказом доставить виновного в Неаполь. Тому удалось бежать и скрыться. Ему дали восемь дней, чтобы выйти из укрытия. Когда назначенный срок минул, Изабелла приказала рушить графские дворцы в Неаполе. Это подействовало — виновный явился к королевскому двору и предстал перед коронованной судьей. По приговору Изабеллы, который старики считали примером идеального правосудия, граф Адриано Караччоло обвенчался в церкви Святого Элигия с красавицей Патрицией и прямо с алтаря отправился на установленный под аркой эшафот. Брак должен был смыть позор перед людьми, а казнь — наказать за преступление перед Богом и Правом. Суммонте утверждает, что мраморные головки над аркой «должны были увековечить акт идеального правосудия», но, мне кажется, изображения противоречат этой версии. Медальоны означали что-то другое — можно только догадываться, что именно.

Интересно, что схема идеального правосудия (венчание как компенсация оскверненной чистоты и девичества, казнь — кара виновного за насилие) в последующие столетия повторялась неоднократно, причем существуют и более достоверные свидетельства, чем легенда, слагающаяся из устных рассказов. Такое происходило в разных местах, довольно далеких от Арки Правосудия на Piazza del Mercato в Неаполе — во фламандском городе, над озером Комо, в Падуе (по приказу князя Феррары), в Ис-

паний (по приказу Филипа IV). Благодарная тема для размышлений: было ли это подражанием неаполитанскому примеру или же «идеальное правосудие» распространялось по Европе без какого бы то ни было внешнего влияния? Интерес писателей (Шекспир, Лопе де Вега), видимо, говорит в пользу последнего.

Большинство исследователей, однако, убеждены, что речь от начала до конца шла об «идеальной конструкции сурового правосудия», в которой наказание «исправляющим» браком и смертная казнь за насилие должны были совершиться вместе, словно две опоры этой гармоничной арки.

А если поверить в версию, которая в рассказываемой стариками легенде об идеальном правосудии возникла робко и лишь однажды, чтобы, прожив короткую жизнь, быстро исчезнуть? Рассказывали, что в тот момент, когда виновного вели на эшафот, его только что обвенчанная жена пала на колени перед палачом с криком «Нет!» и лишилась чувств. И что граф бросил тогда на нее с эшафота взгляд, исполненный любви. По этой версии молодая вдова сразу же после казни мужа ушла в монастырь — это позволяет предположить, что единственная ночь насилия оказалась ночью подлинной любви, о чем не знали ни родители девушки, ни Изабелла Арагонская. А если бы и знали, все равно не изменили своего решения, ведь идеальное правосудие не может быть половинчатым. Думаю, что эта версия, хотя вскоре и отброшенная творцами и распространителями легенды, была правдоподобна. Более того — она лучше всего объясняет появление на арке двух медальонов: двойной мраморный портрет преступника и казненного — и такой же портрет любовников, разлученных топором палача.

Но не следует мне, подобно Дюма в «Коррикола», чрезмерно увлекаться эффектом ради (иного, впрочем). Когда порой я захожу на Piazza del Mercato и наблюдаю за продавцами, лавочниками, покупателями, разговорчивыми и крикливыми, стоящими под сводами Арки Правосудия и зная не знающими о многовековой и умершей — видимо, уже навсегда — легенде, то задаю себе вопрос: не есть ли стремление человека к правосудию сильнее, чем стремление к свободе, равенству и братству?

*Ноябрь 1993.*

## Глубокая тень

Я — глубокая тень; перестаньте мучить меня.  
*Джордано Бруно Трибуналу Инквизиции*  
(перед оглашением приговора)

Возможно, вы испытывали больший страх,  
оглашая свой приговор, чем я — его слушая.  
*Джордано Бруно Трибуналу Инквизиции*  
(после оглашения приговора)

Он родился в Ноле, городке близ Неаполя, поэтому его часто называли не по имени, а прозвищем — *Nolano*, Ноланец. Родился в 1548 году — сын наемного солдата и крестьянки. Нола сначала прославилась благодаря тому, что местный епископ Паолино (канонизированный после смерти) на переломе IV и V веков изобрел колокола. Почти десятью столетиями позже город упрочил свою славу — в его стенах появился на свет Филиппо Бруно, который, сменив при вступлении в доминиканский орден в Неаполе имя Филиппо на Джордано, в 1600-м испустил грешный дух на костре, по приговору Трибунала Святой Инквизиции, на римском *Campo de' Fiori*. Он сгорел под погребальный звон окрестных церквей. Таким образом, Нола соединила оба предмета своей гордости: изобретатель колоколов в ореоле святости вознесся к райскому блаженству, вероотступника же и еретика, казнив под звуки колоколов, обрекли на вечные адские муки (в которые он, впрочем, не верил).

### I

В мае 1592 года в Венеции он был арестован и брошен в тюремную камеру *San Domenico de Castello*.

Протоколы судебного процесса описывают его как «низкого и худого человечка с редкой бородкой». Самый знаменитый биограф Бруно пишет: «Трудно сказать, кем он был на самом деле. Ни один здравомысля-

щий человек не осмелится отрицать, что это великий философ и прекрасный писатель. Речь однако идет не только о бесспорных достоинствах его ума и столь же бесспорных талантах. Привлекает сама эта загадочная фигура. То агрессивный, вспыльчивый, уверенный в себе буян, дерзкий и ироничный, то молчаливый отшельник, по собственной воле обрекающий себя на изоляцию, раздражительный и всегда готовый надолго уйти в тень. Восемь лет продолжался процесс над ним. Судьи Трибунала Инквизиции не слишком спешили, наоборот — они словно стремились сломать Бруно пыткой уходящего времени, и подвергнутое тяжелому испытанию терпение его таяло. Когда в камере он выходил из своей тени, то изрыгал проклятия и ругательства, похвалялся, будто у него было больше женщин, чем у Соломона, которому Библия приписывает тысячу. Богохульствовал, оскорбляя Христа и Богоматерь — слова его даже повторить невозможно. Но это внешняя человеческая кора — плод многолетней нищеты, унижений, неудач, бродяжничества, гонений. На последнем этапе судебного процесса он сумел подняться на вершины своих знаний и философской проницательности».

Когда майским утром 1592 года Бруно переступил порог тюремной камеры, он метался, бесновался, стучал по стене кулаками, изрыгал сотни бессвязных слов, среди которых чаще всего повторялось имя венецианского патриция Мочени. Он даже не заметил, что не один в камере. На второй подстилке лежал монах в рясе капуцина — бледный, с горящими глазами, он жадно вслушивался в изливавшийся из уст нового узника поток. Лишь в сумерках, поев, Джордано Бруно остановился перед ним, устремил на него острый взгляд и невольно занес руку. «Я брат Челестин из Вероны, не бей меня, не надо, мне и так не избежать скорой смерти». Бруно опустил руку, но в глазах, по-прежнему пристально глядевших на Челестина, появился и все усиливался страх. В тюрьму его бросили по доносу венецианского патриция, но Бруно хорошо знал принцип Инквизиции: «один свидетель — не свидетель». Челестин мог бы стать вторым — после Мочени. И стал им. Процесс сразу покатился по нужным (для Трибунала Инквизиции) рельсам. Бруно не в состоянии был сдержат свое вызывающее красноречие до конца пребывания в венецианской камере с Челестином из Вероны. А Челестин, через несколько месяцев переведенный в Рим, тут же написал донос — на своего товарища по камере, затем на себя. Его донос на себя был формой совершенного в приступе безумия самоубийства. Он возводил на себя такие страшные обвинения, в своих неустанно повторяемых исповедях («Христос, Господь наш, не спас род людской», — прозвучало в одной из них), что папа Климент VIII приказал, не медля более, отдать Челестина в руки светской власти, дабы смертная печать навеки закрыла ему уста. Светская власть, однако, по не-

известным причинам медлила целых шесть лет. Сентябрьской ночью 1599 года Челестина привязали к столбу на Campo de' Fiori и тут же разожгли костер. Ночью, поскольку французский посланник в своем дворце, стоявшем как раз на этой площади, желал отгородиться от «мрачного зрелища» плотными шторами на окнах. Бруно последовал за Челестином из Вероны в феврале 1600-го.

Но мы слишком забегаем вперед.

## II

Считается, что на пороге смерти перед глазами умирающего с головокружительной быстротой проносится вся его жизнь. Так ли это, сказать трудно. Однако с абсолютной уверенностью, подкрепленной многими примерами, можно утверждать, что тюрьма дает непреодолимый импульс воспоминаниям. После первого потрясения от потери свободы — раньше или позже — наступает черед медленного погружения в прошлое. В какой-то момент почти каждый узник неожиданно умолкает, перестает разговаривать с сокамерниками или самим собой (если он один в камере), отрывается от настоящего и, уткнувшись лицом в изголовье, закрыв глаза, заставляет память будить и воскрешать образы минувшего. В некоторых узниках этот период пробуждает надежду, что обретенный в воспоминаниях вкус свободы приблизит ее скорейшее возвращение. Узников следует разделить на две категории — одни вспоминают хаотично, перескакивая с одного события на другое, пренебрегая их очередностью, а иногда и сознательно ее нарушая; другие, начиная с некой избранной ими точки воспроизводят по порядку ход жизни, словно пишут в уме автобиографию. Джордано Бруно, мастер и преподаватель мнемотехники, относился ко второму типу.

Исходной точкой в свитках памяти было для него вступление в доминиканский орден. Он не чувствовал в себе призвания, орден был для него, сына бедных родителей, единственным шансом прорваться к вожделенному высшему образованию. Бруно тянулся к учению с отроческих лет, уже тогда страстно, хотя и беспорядочно, читая. Когда он принял послушничество, ему показали на площади Святого Доминика наружный монастырский балкон, место проповедей и поучений Фомы Аквинского. Со всей юношеской запальчивостью и горячностью он, словно завороченный, часто всматривался в этот балкон. То был предмет его устремлений и надежд.

В 1572 году он был рукоположен в священники, тремя годами позже стал доктором теологии. И тут же, получив диплом и преисполнившись уверенности в себе (но не гордыни), был обвинен — на основе несколь-

ких публичных выступлений — в ереси. Он бежал в Рим, где (врожденное упорство?) дал вовлечь себя во второй процесс о ереси и, что еще хуже, в дело об убийстве собрата по монашескому ордену (его заподозрили в соучастии). Вина Бруно так и не была доказана. Но и из Рима ему пришлось спасаться бегством. С тех пор он вступил на тернистый путь подозреваемого и гонимого бродяги. Сбросил монашескую рясу, какое-то время кружил по северной Италии, непрестанно переезжая из города в город: Турин, Падуя, Бреша, Бергамо, Милан. Он ловко уходил от рук преследователей, однако не мог не понимать, что на родине ему долго не продержаться. С какой же горечью и яростью он пробирался в Женеву! Даже спустя годы при воспоминании об этом горло сжимала судорога, словно невидимая рука хотела задушить его прежде, чем он спустится с гор к появившемуся на горизонте силуэту царства Кальвина. Нет-нет! Он еще не стал блудным сыном Церкви!

Кто знает, быть может, именно гнев затравленной жертвы в сочетании с порывистым характером заставил его оставить в Женеве католичество и перейти в кальвинизм. Медовый месяц (так он его называл) закончился неожиданно — острой полемикой с главным теологом кальвинизма. Наспех осужденный, он вынужден был бежать снова. Остановился в Тулузе, где успел написать и защитить диссертацию по философии о «De anima» Аристотеля; ему дали кафедру. Вскоре, однако, его критическое отношение к философии Аристотеля возмутило слушателей. Он сказал себе: в Париже безопаснее. И в самом деле, в Париже он пробыл дольше. Заручился поддержкой посланника Де Кастельно и самого Генриха III, которому посвятил мнемонический (или мнемотехнический) труд «De umbris idearum» — «О тенях идей». Де Кастельно, назначенный посланником при дворе Елизаветы, взял его с собой в Лондон. Двухлетнее пребывание в Англии (1583—1585) без сомнения оказалось самым счастливым и наиболее творческим временем его жизни. В культурной среде Лондона, живо тогда интересовавшейся итальянским Ренессансом, его буквально носили на руках. Он опубликовал в Лондоне все свои итальянские диалоги, какое-то время преподавал в Оксфорде. Камнем преткновения стала «Cena delle Ceneri» — «Вечеря в Пепельную среду» — в особенности посвященные английскому обществу сатирические фрагменты и выпады против традиционной философии. Бруно вернулся во Францию. Второе пребывание в Париже окончилось катастрофой после публичной дискуссии с французскими почитателями Аристотеля. Кто-то из доброжелателей порекомендовал ему Германию. Цепочка княжеских дворов и университетов: Майнц, Марбург, Виттенберг, Прага, Гельмштадт (переход в лютеранство и быстрый отказ от нового вероисповедания), Франкфурт. Во время каждой остановки он с наслаждением предавался



«разврату», который не был в его глазах грехом — Бруно видел в нем Божий промысел.

Его охватила ностальгия, он устал, все острее ощущал потребность в отдыхе, спокойной гавани. Джованни Мочени, очень состоятельный венецианский патриций, недавно горячо увлекшийся магией и мнемотехникой (в обеих областях Джордано Бруно пользовался заслуженной славой) пригласил его к себе. Каким безумием было принять это приглашение! Немного отдохнув, Бруно стал больше внимания уделять планам скорого отъезда из Венеции, чем обещанному Мочени обучению. Тот втайне поклялся отомстить. Это он своим доносом в венецианский Трибунал Инквизиции открыл еретику и вероотступнику восьмилетний путь на Campo de' Fiori.

### III

Оба доноса — венецианского патриция Мочени и Челестина из Вероны — совпадали в трех пунктах, что было важно для Трибунала Инквизиции с его принципом наличия как минимум двух свидетелей. Итак, еретик и вероотступник утверждал (во-первых), что Христос был не распят, но повешен на виселице, вытесанной из разветвленного ствола дерева; что (во-вторых) существует множество миров, все звезды — вечные миры, а утверждение, что наш мир единственный — свидетельствует о невежестве; что (в третьих) после смерти тела душа начинает свой путь от мира к миру, от мертвого тела к другому, живому.

Три обвинения, повторенные в обоих доносах, лишь узаконивали начатый процесс, позволяя предъявить дальнейшие обвинения. *Sommario*<sup>79</sup> Трибунала превратилось в длинный перечень еретических тезисов. Христос согрешил, попросив Бога пронести чашу мимо него — якобы божественная его природа должна была воспротивиться такой просьбе; нет оснований верить в существование ада; превосходство Авеля над Каином не безусловно; Моисей был лишь магом, великим волшебником; возможно усомниться в даре пророчества; возможно также усомниться в догмах Церкви; культ святых ложен; требник заслуживает пренебрежения. В двух последних пунктах *Sommario* вероотступник обвинялся в склонности к святотатству и низких замыслах по отношению к родному монастырю (в случае вынужденного возвращения в его стены).

*Sommario* — своего рода шедевр, образец упрощения судебной процедуры на начальном этапе следствия, проводимого венецианским Трибуналом Инквизиции. Лучшее тому доказательство — упоминание о воз-

---

<sup>79</sup> Краткое содержание, аннотация (итал.).

возможности вернуться в родной монастырь, т.е. прощения после признания грехов и глубокого раскаяния. А Джордано Бруно во время венецианских допросов по тактическим соображениям бил себя в грудь, если не было другого выхода, а не слишком тяжкие и опасные обвинения осторожно и умело оспаривал.

Это верно, воскрешение на тюремной подстилке прошлого пронизывало все его существо постоянно возраставшим стремлением к свободе — настолько бурным и мучительным, что порой он бился о стены, словно слепец в поисках щели. Часто он лежал целыми часами, устремив взгляд на выступающие из потолка камни, погруженный (казалось) в каталептический сон. Выйти отсюда, бежать любой ценой! Стало ли бродяжничество его второй натурой или лишь теперь он ощутил вкус былых скитаний, бегства от преследований, возможности дышать полной грудью, гибкости тела и ясности разума? Теперь, в тюрьме, когда тело с каждым днем дряхлело, а ясность разума постепенно мутилась (к счастью, не настолько, чтобы потерять способность противостоять венецианским инквизиторам)? В приступах отчаяния Бруно всматривался в окошко — небольшое, зарешеченное, под самым сводом. Днем он видел лишь чистый или грязный лоскут неба. Но ночью, в хорошую погоду, с облегчением глядел на мерцающие звезды, которые считал бесконечными, вечными мирами.

Позже, когда римский Трибунал Инквизиции потребовал его экстрадиции, венецианский период показался Бруно каникулами. В Риме он предстал перед судьями, несравненно лучше своих венецианских коллег владевшими искусством расследования и допросов, чей огромный опыт и инквизиторское мастерство бросали вызов доктору теологии и философии. Большой напор заставил искать и более искусные ответы. Подобно хищнику, которого потревожили и выманили из логова, Бруно был постоянно готов к прыжку и борьбе.

#### IV

Римский процесс поражал своей логикой — как следствия, так и допросов и обвинений. То, что в Венеции казалось блужданием вслепую, с неплотно завязанными глазами, на ощупь, не раз дававшим обвиняемому возможность уклониться, совершить тактический маневр, в Риме заставляло обе стороны возможно более четко определиться для продолжительного неспешного позиционного состязания. Трибунал прежде всего постарался расставить точки над *i*. Если Бруно сомневался в божественной природе Христа, сына Божьего, если видел в нем лишь прекраснейшего и чистейшего человека во всей — прошлой, настоящей и будущей — истории рода людского; если не верил в Непорочное Зачатие, если, наконец,

подменял Святого Духа понятием Души Мира, Anima Mundi, в которой существуют в виде неотъемлемых ее частичек наши индивидуальные души — то ведь не мог быть им принят и догмат Святой Троицы. Что соответствовало действительности. Но отстаивая свои взгляды, Бруно уверял, что его философия, рассматриваемая в самой глубокой своей реальности, идеально гармонирует с религией и не содержит никаких элементов ереси. Джордано Бруно и Трибунал Инквизиции словно боролись «на локотки». В схватке сплетенных ладоней то одна то другая сторона сгибает руку противника или же поддается ее напору.

Ересь! Никакая не ересь, я просто иначе верю в Бога, моя вера не слабее веры членов Трибунала. А кто утверждает, что Святая Месса не нужна? Кто называет священников ослами? Я, но моя религия обходится без месс и священников. Ну а что же это за «моя религия»? Религия бесконечности этого мира и всех звездных миров. Бесконечности и вечности. Так кто же сотворил мир? Библия говорит, что Бог, но мир столь же вечен, как и Бог. Далее — лекция по Копернику, ведь Бруно был последователем теории торуньского каноника.

После каждого допроса, вернувшись в камеру, обвиняемый осознавал, что становится все более тверд в своих убеждениях — его поведение теперь непохоже на увертки или биение себя в грудь в венецианский период, когда он жил только мыслью о том, как бы поскорее выпорхнуть из тюремной клетки. Теперь, сначала подсознательно, а затем с каждым днем все более отчетливее, он понимал: ему никогда уже не вырваться из когтей Инквизиции, «non uscirò mai più dalle grinfie dell'Inquisizione». И уверенность эта делала его все более непреклонным и заставляла со все большим холодным отчаянием упорядочивать свои сумбурные прежде мысли. Сгорит на костре мое тело (повторял он себе), но не сгорит моя глубокая тень. Он помнил, когда и как родилась в его голове эта фраза: после первого допроса в присутствии кардинала Беллармино, участие и председательство которого придавало Трибуналу Инквизиции исключительную торжественность и особую значимость.

## V

В этюде о неаполитанском кальвинисте, князе Галеаццо Караччоло, который, оставив католичество, оставил также и семью, перебравшись из Неаполя в Женеву, Бенедетто Кроче пишет: «Два неаполитанца — Галеаццо Караччоло и Джордано Бруно — встретились в Женеве; первый ускользнул от Святой Инквизиции, избежал тюремных казематов и костра, другой же после многочисленных скитаний вернулся в Италию, словно зачарованный, замороженный неизбежным своим концом на костре».

Несомненно, так оно и было — слова «зачарованный, замороженный» употреблены историком и философом не напрасно, не эффекта ради. Если проследить жизнь ноланца (по-своему тоже зачаровывающую, заораживающую), нельзя, в конце концов, не заметить этого. В этом заключается драматизм и (во всяком случае, до определенной степени) загадочность судьбы Глубокой Тени. В венецианской тюрьме Бруно мечтал лишь о свободе. Он не перестал мечтать о ней и позже, в римской тюрьме, но к этому чувству приешивалось «отвердевание» (я бы назвал это так), стремление и потребность сразиться со Святой Инквизицией. Бруно, казалось, уступал, готов был отступить от ереси и признать ошибки, но уже в следующий момент отступался от отступничества, брал назад признания. Где-то в глубине билась и подавала голос убежденность в собственной правоте и ненависть к Трибуналу. Более того, уверенность в том, что такова его миссия, миссия, данная ему Господом, пусть даже за ее исполнение он заплатит собственной жизнью.

Появление за штурвалом Трибунала кардинала Беллармино придало следствию новый оттенок. Прежде всего утихла вдруг прежняя ненависть к судьям. Не исчезла окончательно, но утихла настолько, что Бруно доверчиво и уважительно смотрел в глаза знаменитому кардиналу. Дело было не в авторитете кардинальской порфиры — в конце концов, на заседания Трибунала приходил порой сам папа Климент VIII, для которого «вероотступник и еретик Джордано Бруно» стал просто-таки назойливым «ядовитым сорняком в чудесном саду Церкви». В глазах кардинала Бруно заметил едва заметный огонек симпатии и понимания.

Роберто Беллармино был человеком спокойным, доброжелательным и в своей аскетической жизни позволял себе лишь одну благородную страсть — заботу о бедных. Сам он умер в такой нищете (завещав все свое имущество беднякам), что устроенные ему похороны не соответствовали высокому положению кардинала. Церковь, высоко ценившая его способности, обширные познания и праведную жизнь, вознесла его на алтарь лишь в нашем столетии, в 1930 году.

Суровость в нем — теологе, «биче еретиков» и страже светской власти Церкви — сочеталась с пониманием. Его полемика с врагами светской власти Церкви не вполне удовлетворяла Папу Сикста V, возведенного на престол после смерти Климента VIII. С Галилеем его связывали сердечные отношения, в которых присутствовали интерес и даже восхищение, никоим образом не предвещавшие будущего приговора Трибунала Инквизиции (не приведенного в исполнение в связи с «отречением» приговоренного). Теории Коперника он рекомендовал трактовать как гипотезы, которые будущее призвано проверить и подтвердить научно.

Таким образом, Бруно мог ожидать, что дискуссия будет вестись на самом высоком уровне, а достойный оппонент, невзирая на обстоятельст-

ва и остальных членов Трибунала, станет скорее собеседником, на равных спорящим с подсудимым, чем инквизитором, искореняющим ересь.

Он не слишком ошибался, но то был уже не венецианский Бруно, занятый тактическими увертками, не сводящий глаз с расширяющейся щели в тюремных воротах. Беллармино предложил не смешивать два понятия: с философом он готов дискутировать как равный с равным, еретика и вероотступника надеется припереть к стене, заставить отступить от ошибочных и грешных взглядов и спасти от костра относительно мягким приговором к тюремному заключению. Если бы это происходило в Венеции вскоре после ареста! Кто знает, быть может Бруно со слезами благодарности поцеловал бы перстень кардинала и Великого Инквизитора. Но прошло уже столько времени, такие глубокие корни пустило в сердце ноланца недоверие, настолько он усомнился в возможности спасения! И (что, вероятно, оказалось важнее всего) такой гордостью, если не гордыней, наполняла его перспектива сражения — один на один, невзирая на смертельную опасность — с достойным противником!

## VI

Каким представлялся мир еретiku из доминиканского ордена в его размышлениях и видениях? Бесконечным и вечным, подобно Богу (который, как мы уже слышали, не мог, таким образом, быть его создателем). В движении, согласно утверждениям (а не гипотезам) ученого торуньского каноника. Окруженным вечными и бесконечными звездными мирами. А гаснущие звезды — не свидетельствуют ли они о бренности материи? Нет. Рождающиеся, умирающие и воскресающие звездные миры — уверял Бруно — это мимолетные творения неизменной космической субстанции. Изменной и вечной. Космогония ноланца неизбежно стояла на трех основах: бесконечность, вечность и неизменность. Вместе они составляют душу мира, *anima mundi*, выражением же ее и ипостасью является Бог. Не Бог Отец и не Сын Божий, но Бог безличный, оживляющий космическую субстанцию и разделяющий душу мира на индивидуальные души. Это они, непрестанно скитаясь и кружа, покидали умерших, чтобы поселиться в живых — необязательно людях, животных также. Хотя Бог не создал мир, он наполнил его смыслом, дыханием бытия, превращая нас, людей, в глубокие тени души мира. *Umbra profunda sumus*<sup>80</sup>.

Помнил ли Джордано Бруно терцину Данте из XIX песни «Рая»? Била ли она постоянно, словно подземный источник, в его мыслях и воображении?

---

<sup>80</sup> Я — глубокая тень. (лат.).

Lume non è, se non viene dal sereno,  
Che non si turba mai; anzi è tenebra,  
Od ombra della carne, o suo veleno.

«Свет — только тот, который восприят / От вечной Ясности; а все иное — / Мрак, мгла телесная, телесный яд»<sup>81</sup>.

Мгла телесная, телесный яд... Он знал, что редко сияет свет, плод вечной Ясности. А в темноте приходится выбирать — или мгла, глубокая тень, или отравленная кровь в жилах, ускоренные шаги к смерти.

## VII

Беллармино украдкой рассматривал его. Бруно имел право — вплоть до самого оглашения приговора — носить свою залатанную доминиканскую рясу с капюшоном. Зал допросов и судебных заседаний в пятиэтажном дворце Апостольской столицы был просторен и светел. Одним большим окном он выходил на Piazza Navona, сквозь другое, гораздо меньшее, угловое, сочился сумрак переулка. Длинный стол Трибунала поставили по диагонали в светлом углу. Прислоненные к обеим стенам, стояли за спиной членов Трибунала орудия «физического давления», как называли орудия пыток. Располагая лишь неполными протоколами допросов и судебного процесса, нельзя с абсолютной уверенностью утверждать, что Бруно время от времени подвергался «физическому давлению». Если и так, то, вероятно, очень редко, ведь членам Трибунала не приходилось особо жаловаться на сдержанность его языка.

Сквозь большое окно в зал широкой волной лился свет — даже если по площади хлестали римские ливни. А в ясные дни здесь было просто очень тепло, порой даже жарко. Бруно однако с упорством, поначалу раздражавшим кардинала, отказывался снять свой капюшон. В конце концов Беллармино не только смирился с этим, но и начал понимать его упрямство. Подвижное, словно живое серебро, лицо вероотступника постоянно оставалось в тени, как бы ассоциируясь с его образом «человека — глубокой тени». И в глубине души Беллармино признавал, что, несмотря на сопротивление, с каждым днем все больше поддается убедительности этого образа. Быть может, действительно, как повторял с маниакальной настойчивостью ноланец, в глубокой тени таилось единственное человеческое отражение вечного божественного света? Кто знает, не следовало ли относиться к еретику как к поэту-философу? Такое предположение было на руку кардиналу: с первой минуты, не скрывая от себя самого, что Бруно вызывает

---

<sup>81</sup> Перевод М.Лозинского.

у него некоторую симпатию, он намеревался отделить философскую и поэтическую вольность от религиозной ереси и постепенно, с помощью добровольного отказа подсудимого от посягательств на католические догмы подвести его к *atto di abiura*<sup>82</sup>. Откровенно говоря, в идеале Инквизитор желал бы наказать осужденного за те совершенные во время его европейских странствий поступки, которые действительно заслуживали кары, а затем, после нескольких лет темницы, отослать Бруно в Неаполь в монашеский орден, рекомендовав монастырю снисходительно отнестись к философско-поэтическим отклонениям ноланца. В эпоху инквизиторской жестокости и беспощадности большее благородство трудно было себе представить.

В марте 1598 года в работе Трибунала Инквизиции наступил долгий восьмимесячный перерыв. За два месяца до этого на основании договора в Фазнце Климент VIII получил обратно Феррару. Рим отмечал эту победу, радостно и шумно праздновал папский триумф, в воздухе запахло карнавалом. 13 апреля Климент VIII отправился в Феррару с большой свитой, в которой были и кардинал Беллармино, и другие члены Трибунала. А поскольку кардинал нередко председательствовал на процессе, пришлось объявить перерыв. Бруно получил писчую бумагу, обязавшись черным по белому записать свои показания. Получил он и требник доминиканского ордена.

Климент VIII вернулся в Рим в декабре и приказал возобновить процесс. Но едва Беллармино дал соответствующие указания, Тибр из-за внезапных непрекращающихся дождей вышел из берегов, и началось невиданное наводнение. По улицам, словно горные реки, неслись стремительные потоки воды, площади превратились в озера. Римские наводнения означают массовое бегство крыс из казематов и подвалов. Их видели в уличных потоках и озерах площадей. Часть, однако, осталась под землей. Плохое это было время — жестокое и отчаянное — для узников подвальных камер. Могу себе представить дни и ночи Бруно, вжавшегося в стену, мучимого бессонницей. Его временное «отвердевание», чередовавшееся с расслаблением благодаря диалогам с кардиналом, день за днем обращалось в неуправляемый гнев. Он ощущал поднимавшуюся в нем ненависть к Трибуналу Инквизиции и — что еще хуже — словно в плохо зарубцевавшейся ране, вновь открылось все то, что было предметом обвинений в ереси и вероотступничестве. Причем открылось с удвоенной силой. Стоя у стены по щиколотку в воде, время от времени отпихивая подплывавших к ногам крыс, отчаянно цепляясь взглядом за различимый в окошке карниз церкви, Бруно изрыгал проклятия и богохульства, словно в нем оттаили замороженные, казалось, воспоминания о европейских скитаниях. Перо то дрожало в его в пальцах от холода, то он с силой, словно стилет, сжи-

---

<sup>82</sup> Акт торжественного отречения (*итал.*).

мал его, не раз прорывая бумагу, на которой писал свою защитную речь. Ни Беллармино, ни судьи Трибунала не ошиблись, увидев, что за три дня до Сочельника перед ними в молчании предстал новый Бруно.

Не случайно, согласно воле кардинала, была выбрана именно эта дата. Беллармино все еще надеялся услышать «atto di abiura», гнал от себя призрак костра, верил в спасение ноланца, в сущности (хоть и сам себе не признавался) желал этого спасения. И надеялся, что приближающееся Рождество, отзвуки, чуть ли не аромат которого доносились через приоткрытое окно из Рима — ясного, солнечного после наводнения — смягчит сердце еретика. Однако новый Бруно — с ожесточенным лицом в темной оправе капюшона — почти сразу, на втором часу допросов, подрезал этой надежде крылья.

Sommario обвинительного акта, поначалу состоявший из десятка пунктов, на заключительном этапе процесса был сведен к трем четким «звеньям». Первое включало прегрешения меньшей значимости, хотя и серьезные, по мнению наиболее ригористически настроенных инквизиторов (Беллармино не принадлежал к их числу, но они пользовались поддержкой Климента VIII). Сюда входили: вольнодумство обвиняемого, неуважение к Церкви, нарушение дисциплины, «бунтарские» планы во время пребывания в монастыре (он даже планировал его поджог), оскорбления церковных чиновников и братьев по ордену (называемых им «ослами»), общая неприязнь ко всякого рода догматизму, насмешки над святыми, реликвиями и образами, почитаемыми Божьим людом, резкая критика требника, ублажение грешного тела, склонность к проклятиям и суевериям. Обвинения, по правде говоря, не лишены догматических импликаций, но Святой Инквизицией трактуемые как *suspicio*<sup>83</sup> ереси, а не фундаментальная ересь, и каравшиеся сравнительно мягко, особенно если обвиняемый с раскаянием заявит об отсутствии еретических *intentio*<sup>84</sup>, а судьи Трибунала поверят его заявлениям. Это «звено» Бруно уже миновал не без серьезной помощи кардинала.

Ключевым было второе — чисто теологическое — «звено». Здесь еретика мог спасти от костра лишь полный «atto di abiura», не оставляющий ни малейших сомнений, ни малейшей тени в словах и паузах. Верил ли обвиняемый в догму Пресвятой Троицы? Чтобы верить в нее по-настоящему, он должен отречься от *anima mundi* во имя Святого Духа, должен отказать от идеи излишне человеческой природы Христа, в котором видел (как и в Моисее) волшебника, к тому же согрешившего за минуту до гибели на кресте, должен наконец склонить голову перед пресуществлением и девственностью Марии и ее Непорочным Зачатием. Без акта полного от-

---

<sup>83</sup> Подозрение (*итал.*).

<sup>84</sup> Намерение (*итал.*).



речения от вероотступничества и подчинения Трибуналу Бруно считался бы (по мнению современного историка) приверженцем Церкви, чья структура аналогична римской, ритуал достоин восхищения, а иерархичность построения незыблема, но одновременно Церкви, свободной от всего догматического учения. Другими словами — делает вывод историк — сочли бы, что он стремится к католицизму, лишенному христианства.

В третье «звено» были включены философско-научные спекуляции и доктрины ноланца, которые сам он выдавал за несомненные и рациональные истины, а Трибунал считал утверждениями, явно посягающими на область догматов веры. Речь шла о вселенной бесконечной и вечной, о вращении земли, о переселении душ, и к тому же отрицании постоянного существования Ада. *Anima mundi* в метафизике «ноланской философии», отводила индивидуальной человеческой душе роль «кормчего». Большинство членов Трибунала находило, что в третьем «звене» ересь царит без каких бы то ни было ограничений и чувства меры. Беллармино рассчитывал разоружить или хотя бы смягчить это «звено», противопоставив обыкновенные «гипотезы» утверждениям, требующим научного обоснования. То есть он рассчитывал на то, что Бруно лишь «предупредят», рекомендовав (пусть даже сурово) большую сдержанность. Дым костра возносился над вторым «звеном».

## VIII

Доносившиеся с площади в подземелье предпраздничные голоса, крики, пения отчасти действовали именно так, как рассчитывал кардинал. Бруно лежал на подстилке и тщетно затыкал уши. Чем сильнее он затыкал их, чем судорожнее закрывал болевшие от полумрака глаза, тем более безоружным предстал перед воспоминаниями, пропитывавшими его одинокую обитель, словно струйки воды во время недавнего наводнения. Нет, вероятно, ничего более живого и более осязаемого, чем память о детстве. Под веками оживал празднично одетый мальчик, которого родители ведут за ручки в собор. Вместе с ним оживала Нола, как ни в какой другой день года освещенная огнями. Плакал ли он от счастья? Склонялась ли к нему мать, целуя мокрые щеки? Ах, выйти отсюда, выйти любой ценой, вдохнуть зимний воздух ярко освещенной площади!

Не более часа переполняло его это чувство, когда ему велели сесть перед кафедрой Трибунала на узкую табуретку. Тогда он был готов на многое, побуждаемый к ответам незаметно улыбавшимся кардиналом. Затем из нутра покорного обвиняемого угрожающе возник тот, другой Бруно.

Нет, он ни в чем не уступит, ни от чего не откажется, ни от чего не отречется! Стоя, он многократно повторял это с новой для судей ожесточен-

ностью, вдруг огрубевшим голосом, и, наконец, приложил правую ладонь к сердцу жестом клятвы или присяги; низкая и худая фигура его словно бы вытянулась и расширилась, приняв поистине грозный вид. Страхи, устремления, непрерывные сомнения соединились в одно: эйфорию внутренней духовной независимости — пусть даже он ошибается и заблуждается, — в странное и радостное возбуждение от верности собственным идеям и представлениям. Это и есть свобода, так я обрету ее в большей мере, чем если бы меня помиловали, если бы с благословением вытолкали за ворота тюрьмы. Так он думал, так шептал себе в мыслях, словно молитву. Повторя время от времени: «Я глубокая тень». Насколько лучше он понимал теперь значение этих слов. Каждый человек — глубокая тень, жизнь дает лишь один краткий миг, когда ты оказываешься в кругу света. Настал наконец этот миг и для него — и продлится до самой мученической смерти.

Взгляд Беллармино, словно по чьему-то знаку, изменился — прежде доброжелательный, он стал холодным, пронзительным, презрительным. Кардинал наклонился к своему соседу, шепнул что-то на ухо, тот встал и велел стражникам увести узника в камеру. Заседание суда над ожесточившимся еретиком, *geo confesso indurito*, назначили на 8 февраля. В этот день Трибунал соберется в последний раз.

Он действительно собрался в последний раз под председательством Климента VIII. Обвиняемому задали лишь один вопрос — подтверждает ли он свое позорное заявление от 22 декабря. Он ответил звучным голосом: «Да, но для меня оно не позорно». Папа, слегка побледнев, стукнул правой ладонью по столу и воскликнул: «*Basta, in ginocchio!*»<sup>85</sup> Ритуал Трибунала Святой Инквизиции требовал, чтоб обвиняемый священник опустился на колени и, склонив голову, выслушал оглашение приговора — он не должен подниматься с колен, сколько бы ни продолжалось чтение. Джордано Бруно пал на колени, опустил на грудь голову в капюшоне, однако не сложил молитвенно ладони, как это рекомендовал (но не требовал) ритуал. Оглашенный кардиналом приговор, был, вероятно, самым коротким из всех, какие довелось огласить трибуналам Инквизиции. «*Colpevole dell'eresia grave, condannato al rogo*» — «Виновен в тяжкой ереси, приговорен к сожжению».

## IX

Приговор сопровождался неизменной формулой: «*Si consegna il condannato al braccio secolare*» — «Приговоренный передается светской власти». Светская власть в лице вооруженных стражников, перевела назавтра Бруно из казематов Piazza Navona в тюрьму для приговоренных на буль-

---

<sup>85</sup> Довольно, на колени! (*итал.*).

варе на берегу Тибра Tor di Nona. Его быстро вели по узким улочкам, напрямик, кратчайшим путем, чтобы избежать праздной толпы и пересудов.

Приговор к сожжению позволял не опасаться, что осужденный попытается связаться с внешним миром, поэтому средства предосторожности были значительно смягчены. Этому Бруно обязан камерой на третьем этаже с видом на Тибр. Он часами просиживал у зарешеченного окна — неспешно несущая свои воды река наполняла его покоем. Покоем — но также и растущей покорностью. Ровный берег Тибра, еще не вошедшего после наводнения в обычное русло, своими волнами, казалось, охлаждал и очищал его «нет», брошенное Клименту VIII и Трибуналу.

Вечерами зажигались на пристанях бледные огоньки, а на бульваре появлялись, торопливо минуя друг друга, темные фигуры. Скорее тени, чем фигуры — и это успокаивало приговоренного. Он не стремился — что обычно свойственно узникам — заглянуть прохожим в лицо. Своей тенью за решеткой, до поздней ночи остававшейся неподвижной, он присоединялся к идущим, даже в воображении следя за тем, чтобы капюшон покрывал его голову.

Ранним утром 17 февраля у тюремных ворот остановился запряженный двумя волами короб на двух больших колесах. Подталкивая (но не волоча), стражники загнали Бруно, у которого были связаны руки, в короб и поставили рядом с вязанкой хвороста для зажигания костра (сам костер, из сложенных надлежащим образом бревен, был готов на Campo de' Fiori уже накануне вечером). Довольно широкая повозка, а в особенности — широкая упряжь, заставили отказаться от узких переулков и ехать по запруженным в это время дня улицам, где за телегой сразу потянулась процессия: люди размахивали кулаками, кричали, плевали в сторону приговоренного. Тот еще глубже спрятал лицо под капюшоном и прикрыл глаза. В отличие от прекрасного, но по-человечески слабого Христа, он не попросит Бога пронести мимо чашу сияю. А может, он и есть новый Христос? Быть может, с него начнется новая вера?

Костер на Campo de' Fiori окружали группы людей, не спешивших с проклятиями, наоборот — их словно поразила внезапная немота. Моросил мелкий дождик. Бруно, раздетый донага, озябший и дрожащий, сам вошел внутрь поленницы, входное отверстие тут же закрыли. Раздался похоронный звон. Хворост быстро загорелся, но тщетно лизал пламенем мокрое дерево. С костра не донеслось ни слова жалобы, и долго видно было неподвижное, закопченное лицо. Наконец бревна занялись и, раскалившись, вскоре стали оседать на съеживающееся тело вероотступника.

В таверне на углу улицы, ведущей к площади Фарнезе, бокал за бокалом пил красное вино — словно желая поскорее забыться — Караваджо. Затуманенным взором — быть может, глаза его заволокли слезы — мас-

тер живописной светотени вглядывался в огонь, пожиравший останки Глубокой Тени.

## Х

С самого утра Campo de' Fiori предстает нашим глазам в двух обличьях. Среди расставленных с самого рассвета лотков, прогибающихся под тяжестью всевозможной снеди, среди пирамид фруктов, корзин с овощами, лоханей, полных рыбы, насаженных на крюки окороков, бутылей оливкового масла и вина, покровительствует Цветочному Полю мэтр Рабле. Около полудня и до обеда Campo de' Fiori напоминает огромный человеческий улей — и видом, и беспорядочным гудением. После обеда торговцы начинают разбирать лотки, загружают продукты в пикапы, оставляя после себя горы мусора, которые потом сгребают лопаты городских ассенизаторов. Площадь затихает, вновь обретая свою естественную перспективу и пространство, а мэтр Рабле возвращается к себе. И тогда из пустоты возникает тонувшая прежде в хаосе рынка каменная фигура ноланца в капюшоне, поставленная там, «где горел костер». Ее создал в 1889 году Этторе Феррари. Акцент в памятнике справедливо сделан на капюшоне. Статуя изваяна так, что мы не видим лица, скрытого в его тени. Рельефы на цоколе извлекают из истории знаменитые примеры преследования иноверцев и религиозной нетерпимости. Известно, что римский городской совет считал памятник очередным шагом в полемике с Апостольской столицей.

Целый день на капюшон еретика опускаются голуби, срываются, хлопая крыльями, затем возвращаются вновь. Но во время торговли они незаметны — как незаметен и сам памятник. Лишь в сумерках и ранним вечером на готовящемся к отдыху и сну Цветочном Поле каменный капюшон, облепленный голубями, оживает и царит во мраке. Время от времени, словно камень из пращи, взмывает высоко в небо черно-белый голубь, надолго исчезает и, наконец, падает вниз и цепляется коготками за край капюшона. Это, разумеется, душа ноланца, каждый день пытающаяся навсегда слиться с темной *anima mundi*.

*Январь 1994.*

## Блаженная, святая

За год мои отношения с самой крупной газетой южной Италии «Суд» настолько углубились и упрочились, что редакция решила расширить тесные рамки первоначальной «специальности». Моей «специальностью» — за рамки которой до сих пор не предпочитали не выходить ни газета, ни ее временный сотрудник — были политические проблемы Восточной Европы и России. И вот главный редактор, пригласив меня к себе в кабинет на чашку кофе, едва я вошел, объявил: «Вы писатель, нечего вам киснуть в этом тесном — в последнее время все более тесном — загончике. У меня к вам предложение, для начала — по крайней мере, отчасти — связанное с вашей страной и европейским Востоком».

И положил передо мной по-журналистски лаконичную телеграмму информационного агентства, которая другим газетам, видимо, не пригодилась.

— Дело, как видите, происходит в городке Мачера, расположенном высоко над Потенцей. Оттуда в Мачеру ходит только один автобус, по утрам — это примерно десять километров по крутой и довольно разбитой дороге. Когда стемнеет, он возвращается на ночь в Потенцу. Мы снимем вам номер в хорошей гостинице рядом с автобусной остановкой. Никакой спешки. С моей точки зрения, дело деликатное и даже щекотливое, материал скорее для повести, чем для цикла репортажей. Если вас это заинтересует, разыщите, что можно, в Неаполе и сообщите, с какого дня заказывать гостиницу в Потенце.

«Разыскать, что можно, в Неаполе» оказалось не так просто. Первая и единственная попытка сделать это привела меня ненадолго в Рим. Телеграмма информационного агентства, которую я не раз перечитывал (и в конце концов выучил почти наизусть), содержала, как это всегда бывает в такого рода документах, сухой пересказ, похожий на обглоданный до костей скелет живого существа.

Марианну К., молодую девушку из деревни под Кельце перед самой гражданской войной в Югославии пригласила в Горажде сестра — в конце второй мировой та вышла замуж за боснийского врача, с которым познакомилась на работах в Германии. У них были две дочери-близнецы, гораздо старше Марианны. Врач и его жена (тоже врач) погибли на улице от пуль сербских снайперов. Три девушки — дочери врача лет тридцати и семнадцатилетняя Марианна — попали в руки сербских солдат во вре-

мя «этнической облавы». Их держали в женском бараке для нужд военных и в течение четырех месяцев каждую ночь насиловали — прямо на месте или на солдатских квартирах. Дочки боснийского врача и его польской жены покончили с собой (одна была беременна) сразу же после освобождения от «службы». Марианна также была беременна и решила родить ребенка — и по собственной воле, и заклиная итальянским католическим священником из сараевской миссии. Он организовал — с помощью братьев в Потенце — ее отъезд в Италию. Священник из городка Мачера над Потенцей, взял девушку в свой дом и поручил опеке старухи матери. Упорство, с каким Марианна готовилась к тому, чтобы родить дитя насилия, каждую свободную минуту проводя за молитвами в церкви, снискало ей восхищение жителей Мачеры (неизвестно, всех ли). Почитатели называли ее «Beata»<sup>86</sup> или даже «Santa»<sup>87</sup>.

Эти имена не были придуманы богобоязненными жителями Мачеры. Впервые оно прозвучало в анонимной заметке Бюллетеня Епископства в Потенце, которую потом перепечатал более солидный неапольский Бюллетень Архиепископства. Таким образом, заметка обрела привкус почти официальной рекомендации, во всяком случае, парафированной архиепископом-кардиналом.

В Неаполе у меня был знакомый священник, «кавалер пера», как он сам себя называл, другими словами — графоман, мечтающий опубликовать свои кошмарные «религиозные» стихи, но неспособный выйти за рамки описаний церковных празднеств для Бюллетеня Архиепископства. После долгих уговоров он выдал «редакционную тайну»: заметка опубликована в Бюллетене Епископства в Потенце, и перепечатана неапольским Бюллетенем Архиепископства по инициативе «высокого чиновника» из Ватикана. Неохотно, попросив сохранить это в тайне, он назвал мне его фамилию. О том, чтобы предстать пред суровые очи кардинала, я не мог и мечтать, но случайно узнал, что его личный секретарь, священник В. — мой читатель. Это упростило дело. В обмен на обещание дать автограф, он согласился встретиться со мной в кафе у Врат Святой Анны.

Молодой священник В. произвел на меня приятное впечатление — подвижный, «всезнающий» («за Бронзовыми Вратами следует знать все»), с живым умом; в качестве прелюдии к нашей встрече он высказал занятные замечания о моем творчестве. Затем я подписал принесенные им книги. И, наконец, несмело пробормотал: «У меня тоже есть просьба». Поначалу он довольно грозно свел брови, но я догадался, что это

---

<sup>86</sup> Блаженная (*итал.*).

<sup>87</sup> Святая (*итал.*).

дань официальному ритуалу. И в самом деле, кладези его премудрости — после осторожного давления — открылись. В. не особенно скрывал, что роль информатора «такого известного и уважаемого человека» доставляет ему удовольствие.

В одном он был абсолютно уверен — его патрон руководил действиями епископа Потенцы и неапольского архиепископа под влиянием кого-то, в церковной иерархии обладающего большим весом. Однако кого именно, В. не знал, во всяком случае, уверял, что не знает, несколько обиженным молчанием отвечая на мои предположения.

Прежде чем попрощаться, он вдруг ощутил потребность компенсировать мне серьезное (как ему казалось) разочарование. Многие указывало на то, что в молодой беременной польке, которая благодаря материнской любви решилась произвести на свет дитя насилия, Ватикан видел некий образец. «Un preclaro esempio della virtù cristiana»<sup>88</sup>, — добавил В. и поднялся из-за столика.

Сразу после возвращения из Рима в Неаполь я принял предложение редактора газеты и определил дату своей поездки в Потенцу.

Потенца — город безобразный. Интересно, что в Италии города средней величины или очень красивы, или очень уродливы, словно природа итальянской красоты признает лишь крайности. Великолепие итальянских городов определяется ясно различным историческим центром и его мелкими производными — от близлежащих районов до самой окраины. Отсутствие исторического центра или его бесцветность окутывает банальностью и серостью остальную часть города. Ходить по нему — словно рассматривать картины, не стоящие того, чтобы на них глядели и помнили.

Самое привлекательное в Потенце, вернее, ее довольно отдаленных окрестностях — фигура сочинителя мадригалов и преступника шестнадцатого века Карло Джезуальдо, князя Венозы. По мнению знатоков (в том числе Олдоса Хаксли), он был одним из самых выдающихся авторов мадригалов, по мнению же криминалистов — мало, кто мог сравниться с ним в жестокости. Тайком подстроив в алькове своего неаполитанского дворца свидание жены — красавицы, младше его — с любовником (князь давно подозревал измену), он приказал слугам не просто убить, но буквально искромсать любовников. Джезуальдо бежал за пределы неаполитанской юрисдикции в свое имение Веноза, к западу от Потенцы. Книги о нем, портреты, альбомы Венозы, картинки, изображающие сцену преступления, поэмы народных *cantastorie*<sup>89</sup>, пластинки с мадригалами —

---

<sup>88</sup> Замечательный пример христианской добродетели (*итал.*).

<sup>89</sup> Сказители (*итал.*).

основной туристический товар в городе. И уж точно — единственный предмет гордости.

Гостиница и в самом деле находилась рядом с автобусной остановкой, но я приехал в Потенцу слишком поздно, чтобы рискнуть в тот же день отправиться в Мачеру. Поэтому я лишь позвонил в дом священника. Узнав, что я поляк, его мать, а потом и он сам не скрывали удовольствия: «Наконец-то она сможет поговорить на родном языке».

Девушка действительно знала лишь несколько сербско-хорватских фраз, а за два месяца в Италии научилась специфическому итальянскому языку «глухих» иностранцев, состоящему из смеси искаженных слов и жестов. Радость, охватившая ее при виде меня была безудержной — Марианна схватила меня за руку, коснулась губами щеки и все повторяла: «Боже мой, благодарю Тебя, Господи», словно я был ее родственником. В определенном смысле я и был им. Она выросла в тех же краях, ее отец был лесником в районе Загнаньска, на полдороги между Кельце и Сухеднёвом.

Мы сидели в хорошо затененной беседке рядом с домом священника, был конец августа, жар *solleone*<sup>90</sup> еще не угас. Поначалу она молча гладила меня по руке, время от времени утирала платочком глаза и все шептала свое «Боже мой, благодарю Тебя, Господи». Марианна была, как шепнул мне на ухо сразу после приезда священник Пьетро, на пятом месяце (он тут же добавил понизив голос: «Мы называем ее «Beata», «Santa», но девушку раздражает это имя»). Получасовое, наверное, молчание позволило мне спокойно рассмотреть Марианну.

Лица полек сравнительно чаще других женщин отличаются милой и располагающей к себе посредственностью. Ни красивые, ни уродливые, что называется — милые. Кто знает, не следует ли писать Мадонн именно с таких лиц, без ренессансной приторности или мрачной готической драматизации. Когда я глядел на прислонившуюся к столбу беседки девушку (она предпочитала стоять, а не сидеть в шезлонге), мне вспомнилась «Мадонна перед разрешением от бремени» Пьеро делла Франческа из часовни в Монтерки: естественно, старше ее, но с лицом по-крестьянски милым, очень правильными чертами и очень прямым взглядом пронизательных глаз. Впрочем, быть может, ассоциацию вызвало платье Марианны, расстегнутое на животе точно так же, как на картине итальянского мастера — несколько пуговиц, подчеркивающих ее состояние и заставляющих предполагать близкие роды (я-то знал, что она лишь на пятом месяце). Но в этом портрете я опустил самое главное: и лицом и фигурой она была едва повзрослевшей девочкой. Особенно поражала фор-

---

<sup>90</sup> Самое жаркое время года; летний зной, жара (*итал.*).



ма ее рта, время от времени мимолетно искривляемого гримасой плача, легкое дрожание губ — глаза ее при этом заволакивались влагой.

Как только она немного пришла в себя и заговорила, мы полностью погрузились в воспоминания о родных краях. Естественно, ее воспоминания были более живыми — более свежими — ведь разлука была короткой: всего полтора года прошло с ее отъезда из лесничества в окрестностях Загнаньска. Перед моими же глазами отделенные столькими годами картины проплывали как за толстым матовым стеклом. Но в конце концов полумертвая память ожила, и вот я уже все более бойко сопровождал свою юную собеседницу. Мы собирали ягоды и грибы в густых загнаньских лесах, спугивали зайцев на полянах и вырубках, ловили пескарей под камнями в ручьях и рыбу покрупнее в реках, шли — вдоль железной дороги, чтобы не заблудиться — в старый темный бор в Тумлине. Она знала наш Темный Пруд в Березове, потому что ездила в те края с матерью — в Михнев и Вздолы, где жили их родственники, тоже работавшие в администрации Лесхоза. Эти прогулки так возбудили ее, она была так счастлива! Быть может, это объясняет и частично оправдывает мою ошибку. Я спросил, почему она не хочет родить ребенка дома вместо того чтобы пользоваться гостеприимством безусловно порядочных, но чужих людей, с которыми к тому же ей трудно объясняться. Она вдруг покраснела, отвернулась и молча приложила обе руки к животу. Я понял свою бестактность — без сомнения заслуживающую наказания — и быстро вернулся к нашим светлым ностальгическим скитаниям. Марианна украдкой бросила на меня благодарный взгляд. Как мог я не догадаться, что ее решение не изгладило ощущения незаслуженного позора? А позор, как известно, наиболее болезненно переживается среди близких.

Вечером я вернулся в Потенцу и, не поужинав, улегся на гостиничную кровать, разгрызая в душе горький плод стыда. Наверняка — слабее утешение! — я подсознательно отдавал себе отчет, что предложение редактора газеты было одной из тех безумных затей, которые раскрывают двусмысленность (чтобы не сказать больше) журналистики. Но полностью я осознал это лишь теперь. Было ясно, что со своей молодой землячкой я могу говорить обо всем, *кроме* того, что произошло с ней в Горажде. Своим поведением мне следует отодвинуть ее горе в небытие. Помочь ей расслабиться, а не держать в еще большем напряжении. Кроме того, нельзя признаваться, зачем я приехал из Неаполя; к счастью, священник Пьетро представил меня как поляка, которого неаполитанское архиепископство уговорило навестить землячку в приходе близ Потенцы.

Я решил на следующее утро объясниться по телефону с редактором. Перед сном я не мог отогнать от себя последнюю увезенную из Мачеры

картину. Группа стариков (из Мачеры ли, из Потенцы?), мужчин и женщин, пришла к беседке у дома отца Пьетро — их вел незнакомый, очень молодой священник. Они пальцами касались живота Марианны, после чего целовали их и набожно складывали руки. Девушка убежала, буквально убежала из беседки, в смятении забыв со мной попрощаться. А я машинально вспомнил южный обычай дотрагиваться пальцами до гроба, который выносят из церкви на катафалк, и потом целовать их.

Редактор удивил меня своим тактом — я считал его классическим образцом журналиста, готового без какой бы то ни было щепетильности, «by hook and crook»<sup>91</sup>, как говорят англичане, охотиться за любой сенсацией. Он выслушал меня, ни разу не прервав, хотя я приготовил довольно длинное объяснение. Когда я закончил, на другом конце провода наступила долгая пауза. «Я прекрасно вас понимаю, — сказал он наконец. — На вашем месте я поступил бы так же. Но раз уж мы заранее оплатили эту неделю в гостинице, советую вам использовать ее до конца и ежедневно навещать свою землячку. Ей это необходимо». Я был тронут и не скрывал этого.

Я поклялся себе избегать малейших аллюзий на тему сербских событий в жизни Марианны и игнорировать ее беременность — это правда. Но под этой правдой скрывалась и другая, над которой клятвы были не властны — мысленно я постоянно возвращался к тому, что строго запретил себе выражать словами. И глядел на ее почти детское лицо, много, даже слишком много болтал и шутил, лишь бы вызвать улыбку и искорку радости в ее глазах, но мыслями при этом был далеко, *там*. С этим ничего нельзя было поделать, как нельзя было ничего поделать с моим взглядом, время от времени неосознанно, мимолетно касавшимся ее живота. Я утешал себя, что Марианна не замечает моего раздвоения, что я сумел убедить ее — наша дружба и взаимная симпатия крепнут, *несмотря* на ее прошлое и ее состояние. Меня радовал каждый, пусть мельчайший, признак того, что Марианна все больше доверяет мне и успокаивается, распрямляется под грузом, который вынуждена нести.

Из газет я знал, что освобожденным из сербского «этнического» плена женщинам давали возможность прервать беременность, если они этого хотели, если инстинктивное желание жить было в них достаточно сильно, чтобы день за днем не погружаться в самоубийственные размышления. Что перевесило у Марианны? Набожность, вынесенная из дома, внушенная ей с детства родителями? Или неодолимый материнский инстинкт? Неодолимый *вопреки* обстоятельствам зачатия, *вопреки* тому, что христи-

---

<sup>91</sup> Правдами и неправдами, не мытьем так катаньем (англ.).

анский завет — дитя должно быть плодом любви, а не ненависти — оказался растоптан. Сомневаюсь, что она вообще была способна ненавидеть — с этим ее детским личиком и глазами, прозрачными в своей чистоте. А может быть ее склонил к материнству католический священник из миссии в Сараево, может, его голос напомнил ей отцовский? Или, слишком хрупкая и юная, она не сумела устоять перед его уговорами? На каком языке он обращался к ней? На эти немые вопросы, роившиеся в моей голове, не было ответов. Один влек за собой другой и так без конца, а я брал в ладони ее руку и привлекал к себе, словно обиженную и замкнувшуюся в себе дочку. Я делал это тем смелее, что она сама, без всяких вопросов, призналась однажды, что не хочет писать родителям. Видимо, навязанное самой себе сиротство помогало ей выносить тяжелое испытание.

Моя неделя приближалась к концу, срочные дела заставляли возвращаться домой. В последний день я отправился в Мачеру очень рано, чтобы успеть на обратный автобус в час и неапольский поезд в два.

Марианна еще спала в своей маленькой комнатке у самой беседки. Мною занялась мать священника Пьетро — угостила в беседке кофе. Сын ее, уже закончив утреннее богослужение, принимал прихожан в столовой дома, каждое утро превращавшегося в «офис». Оттуда доносились приглушенные голоса — священник явно соблюдал тишину. Соблюдала ее и мать, но по-своему, по-стариковски — с озабоченным видом хранительницы тайны. Тайна, а точнее, терзавшее ее беспокойство, касались, естественно, Марианны. Ей случалось — как сегодня — просыпаться очень поздно, и утренний сон бывал странен, Господи, до чего же странен, похож не столько на сон, сколько на долгий обморок: девушка лежала неподвижно, бледная, как полотно, казалось, не дыша, положив на живот сплетенные пальцы, словно убранная к похоронам покойница. «Врач из Потенцы рассеял наши — мои и сына — опасения, но можно ли верить врачам? Столько разговоров об их ошибках и оплошностях! Посмотрите сами, я только приотворю дверь, достаточно щелчки».

Картина, которую я увидел в полумраке при закрытых жалюзи, и в самом деле вселяла тревогу. Я пытался уловить хоть малейшее движение шеи или биение жилки, вглядывался в широко открытый рот, в кисти рук, мертво скрещенные на животе, в глаза под тяжелыми веками. Какой-то бездыханный сон.

Девушка пришла в беседку ровно в полдень, когда колокол пробил двенадцать раз. Села напротив меня в шезлонг, еще не совсем вынырнув из сна. Впервые я заметил в ней какую-то двойственность. Марианна то задумчиво, со счастливой или довольной улыбкой — улыбкой всех будущих матерей — гладила свой живот, то правой ладонью словно отталки-

вала от себя плод. Тогда черты ее на мгновение заострились в гримасе неприязни, быть может, даже страдания.

Времени на прощание у нас осталось мало. Марианна встала с шезлонга и со слезами на глазах, совершенно свободно, без тени застенчивости, обняла меня и опустила голову мне на плечо. «Я помню, — утешал я ее, — у дона Пьетро есть в доме телефон. А от Неаполя до Потенцы всего четыре часа пути».

По двум коротким разговорам я понял, что телефона она не любит. Более того — по каким-то причинам боится. В третий раз Марианна попросила мать священника извиниться за нее и передать, что она устала и не в состоянии доплестись до аппарата, стоявшего в конце коридора. Я перешел на письма, она отвечала быстро и красиво, в манере прилежной школьницы, обученной к тому же четкой каллиграфии. В каждом письме спрашивала, когда я приеду снова. «Мне хотелось бы хоть немного поговорить на нашем родном языке. По-итальянски я, наверное, никогда не научусь, хотя священник Пьетро Скополла и его мать, госпожа Маргарита, терпеливы и очень ко мне добры».

Во второй половине октября в моих занятиях возник длинный перерыв, так что я легко мог им воспользоваться и навестить Марианну и ее опекунов. Но я медлил, со дня на день откладывая поездку, пока меня в течение нескольких часов не сорвала с места бандероль редактора газеты. Я получил ее поздно вечером и тут же принялся за чтение. А на расвете уже сидел в поезде в Потенцу.

Это были записанные членами Международной Комиссии по защите прав человека показания сорокалетней боснийки, бездетной вдовы (она, правда, указала имя, фамилию и свой адрес в Горажде, но я предпочитаю опустить эти данные). Когда-то она отличалась — по словам членов Комиссии — необыкновенной красотой, теперь же перед ними стояла старая измученная женщина. Она встретилась с ними по собственной воле, никто ее не приглашал и не уговаривал. С первых фраз стало ясно, что женщина любой ценой хочет дать показания о преступлении, причем как можно более точные, включая самые постыдные детали. Свое свидетельство она считает двойной карой — палачам и себе за роль безвольной жертвы, неспособной на отчаяние и отвагу. Последнее ощущалось даже сильнее, иногда казалось, что свидетельница сама себя истязает с каким-то неудержимым наслаждением, словно ничего больше ей в жизни не осталось. Но — что в особенности поражало — женщина сохраняла при этом холодную и порой выводящую из себя точность повествования.

Она оказалась в группе ста восьмидесяти молодых и более-менее красивых женщин, попавших в Горажде в «этническую» сеть, раскинутую

сербскими солдатами. Достаточно было связей с боснийцами, в том числе, самых поверхностных или совершенно случайных (тут я понял, о какой группе идет речь, потому что в свидетельстве упоминалась молодая полька, у которой были две племянницы полубоснийки). Формальной целью было «улучшение расы», на самом же деле речь, разумеется, шла о создании публичного дома для солдат. Женщин сначала держали в закрытом бараке, куда по ночам приходили солдаты и, выбрав партнершу, у всех на глазах удовлетворяли свои мужские потребности. При этом упрямых наложниц поначалу били до крови. Потом сопротивление ослабло, сменившись тупой покорностью. В среднем за одну ночь каждую женщину насиловали по многу раз трое солдат. Позже им захотелось большей «интимности» — присмотрев себе женщину, солдат забирал ее в казармы. И, наконец, в барак провели телефон и вызванную женщину отводил к «адресату» один из пяти охранников «внутренней службы». Через четыре месяца жительниц барака освободили и разогнали. К этому времени, по мнению свидетельницы, каждая третья, а может, таких случаев было и больше, ждала ребенка. Да, она слышала о самоубийствах, но точных цифр не знает. Большинство стремилось сделать аборт. Она сама, на третьем месяце, прежде всего отправилась к знакомому гинекологу.

Свидетельство насчитывало около семидесяти машинописных страниц и было переведено на английский, французский, немецкий и итальянский. От редактора газеты я получил итальянский экземпляр с припиской «Вернуть в редакционный архив». Естественно, я полностью опускаю здесь «детали», щедрой рукой, с явным стремлением причинить себе боль, рассыпанные автором показаний. Я давно уже придерживаюсь мнения (которым в мире все более пренебрегают, а то и высмеивают — и в прессе, и на телевидении, и в литературе), что существует отчетливая граница: что можно, а чего нельзя людям сказать о людях.

Редактор документа — член Комиссии, которого попросили привести текст в порядок — отличался, видимо, немалыми литературными амбициями, потому что предпослал свидетельству своеобразный эпиграф: «Para eso habeis nacido» — «Затем вас произвели на свет». Так называется аквафорт Гойи из «Los desastres de la guerra»<sup>92</sup>, изображающий горы трупов партизан и свидетеля преступления, который при виде их не может сдержать тошноты.

Я приехал в Потенцу утром. Магазины и бары уже открылись, я нашел скромную гостиницу, тоже недалеко от остановки автобуса в Мачеру. Какая-то психологическая преграда удерживала меня от того, чтобы

---

<sup>92</sup> Бедствия войны (исп.).

немедленно туда отправиться. Осенняя погода, обычный для юга октябрь — мрачный, душный и дождливый. Не было смысла тащиться в плохую турецкую баню. Я постоял в гостинице под душем (не вполне исправным), и, устав после дороги, уселся в кресло у окна. Оно выходило на маленькую улочку, и я со странным облегчением рассматривал редких прохожих. Я пытался каким-то образом успокоить нервы, растрепанные чтением в поезде.

Я еще раз убедился, до чего убого наше воображение. До того как прочитал отчет, я представлял себе — исходя из собственного жизненного опыта и принципа максимального реализма — картину сербской «этнической чистки». Она сильно уступала реальности.

Подлинная картина делала поистине неправдоподобным образ Марианны. Неужели возможно, пережив то, что пережила она, быть такой, какая она есть, а вернее, такой, какой я ее узнал, — девочкой, крепко сросшейся со своим детством, душевно, казалось бы, незапятнанной? И смогу ли я забыть о своем новом и полном знании, глядя на нее и разговаривая с ней? Небольшим преувеличением будет сказать, что теперь я боялся встречи с Марианной.

Я появился в доме священника после обеда — к радости всей троицы. В глазах священника и его матери я заметил словно бы тень озабоченности, в глазах Маринны — ничем не замутненную радость. Она как раз собиралась на контрольный осмотр в амбулаторию (Мачера славилась своей санитарной службой), и я без колебания согласился проводить ее вместо священника. Милый и интеллигентный врач, дитя Мачеры, остался доволен результатами осмотра. Он считал, что роды должны наступить в декабре, предупреждал о предшествующей им порой родильной горячке (Мариана, которой я перевел его слова, кивнула). Рекомендовал, кроме выписанных раньше укрепляющих таблеток и сиропов, хотя бы двухчасовой отдых и прогулки. Сейчас как раз можно было погулять. Она взяла меня под руку и повисла на ней, доверчиво, словно дочка — так, вероятно, и воспринимали нас жители Мачеры — как отца и дочь, по-родственному прижавшихся друг к другу. Марианну по-прежнему приветствовали не скупившиеся на добрые пожелания прохожие, и, вероятно, только это омрачало для нее удовольствие от долгой прогулки, почти целиком заполненной голосом как никогда разговаривавшей девушки. Ничего удивительного — после своего рода «поста». Я был рад и за нее, и за себя — за себя потому, что мои мысли требовали молчания.

Мы вернулись домой ближе к сумеркам, священник и его мать напомнили Марианне, чтобы она два часа полежала. Покорно, без возражений, она ушла в свою комнату и закрыла за собой дверь. Мы втроем сидели в кухне, попивая легкое вино. Тень тревоги, сразу же после приезда замечен-

ная мною на лицах хозяев, разумеется, не была беспричинной. Понизив голос, почти шепотом, они рассказали, что их подопечная порой (не всегда) что-то произносит во время послеполуденной дремы. Произносит, конечно, на своем родном языке, которого они не понимают. А вдруг этот бред — такие вот фразы, всплывающие на поверхность неглубокого сна, — имеют смысл? А вдруг она говорит что-то, в чем не осмеливается признаться наяву? Вдруг чего-то хочет? Однажды священник тихонько вошел в комнату и с порога долго смотрел на нее. Его поразило изменившееся, лишенное обычной прелести лицо Марианны. Еще его удивило, как хрипло она выговаривает слова неизвестного ему языка. Может, они преувеличивают, может, зря беспокоятся, но им бы хотелось, чтобы я послушал, что она говорит, при ближайшем удобном случае. Поскольку сейчас — слышите, как тихо? — ничто, слава Богу, не нарушает ее спокойный сон.

Через два дня такой «случай» представился. И столь неожиданно, что хозяева сорвались с места, взглянув на меня одновременно умоляюще и вопросительно. На цыпочках, не отпуская осторожно нажатой ручки двери, я вошел к Марианне (впервые!). Комната была затенена жалюзи, на голой стене напротив двери над кроватью висела фотография Папы Римского. За изголовьем стояло высокое распятие, а под ним — тоже довольно высокий — аналой. Марианна не просто говорила, не просто словно бы выплевывала из себя какие-то слова, но скорее даже негромко кричала, будто давясь сдерживаемыми рыданиями. И — судя по выражению ее лица — яростью. Девушка лежала навзничь, в полностью расстегнутом платье, вздутый живот, казалось, через минуту лопнет. Я наклонился к ней, пытаюсь разобрать слова. Если бы меня кто-нибудь увидел в этой позе, то был бы, наверное, поражен выражением моего лица — я уверен, что его заливали то густой румянец, то смертельная бледность.

«Ну понятно, — сказал я хозяевам, ожидавшим меня за осторожно закрытой дверью, — иногда к ней возвращаются болезненные воспоминания о Югославии». Хозяева, словно по команде, одновременно вздохнули. На следующее утро меня вызвали в Неаполь. Я был рад этому вызову. Мы условились с хозяевами, что я приеду снова примерно 10 декабря — врач считал, что родов следует ожидать в середине месяца. Они предложили мне остановиться у них, в маленькой, но вполне сносной клетушке рядом с комнатой Марианны.

Дома, разобравшись со срочными делами, первые дни я пытался прийти в себя. Особенно по вечерам, вырвавшись из рабочей рутины, я то садился за стол к привезенным из Потенцы заметкам (сделанным на обрывках бумаге в поезде), то кружил по комнате, словно дикий зверь по клетке, в приступе неожиданного раздражения.

На клочках бумаги я записал слова, выражения, восклицания, фразы, выловленные из полусонного бреда Марианны. Не буду приводить их здесь, как ранее не процитировал ни одного фрагмента записанных членами международной комиссии показаний боснийской вдовы. По тем же самым причинам. Важны, однако, не те или иные, чудовищные, вызывающие ужас и тошноту, обрывки Зла, которыми любят эпатировать (и отравлять) так называемого «обывателя» журналисты и литераторы — охотники за так называемой «обнаженной действительностью без обиняков». Важно — было всегда и остается до сих пор — само Зло.

Не помню уже кому из известных писателей принадлежит утверждение, что литература есть неустанное размышление о смерти. Я бы добавил — и о мощи Зла. В том и другом случае литература пытается понять непонятное, уловить неуловимое, хоть немного осветить «ядро темноты». Но обычно она ведет себя так, словно отчетливая демаркационная линия отделяет Жизнь от Смерти, Добро от Зла. А для меня важно — хотя туда и трудно проникнуть — пограничье, та (воспользуюсь этим сравнением) конрадовская «полоса тени», которая означает покой, мертвое существование среди притаившихся стихий. Нет смерти, недоступной непосредственному опыту — вне границ жизни. Нет Зла, подкрадывающегося издали, исподтишка — вне границ Добра. Здесь царит закон проникновения.

Царит ли он на самом деле, ощущаем ли мы его? На первый взгляд, да, более того — он кажется нам банальным. Но одно дело — знать о нем, а другое — увидеть. Подобно тому, как я под вульгарными словами и застывшим искаженным лицом Марианны видел ее чистое детское личико.

Мы возобновили переписку. Не обращая внимания на то, что я присылал лишь короткие и, бывало, пустые ответы на неаполитанских открытках (давным-давно придуманное мною средство, компенсирующее эпистолярную бездарность), Марианна писала все более длинные письма, все больше входя во вкус. Она решила рассказать мне о себе все — с самого раннего, сохранившегося в памяти детства до выпускных экзаменов в скаржиской гимназии с совместным обучением. Несомненно, она рассказывала мне все это — не скупясь на излишние и даже смешные детали, чтобы скрасить свое одиночество. Кроме того, Марианна помнила, что я писатель — возможно, и это было определенным стимулом, потому что ее старания писать *красиво* были более чем очевидны. Незадолго до родов и моего приезда в Мачеру она вспомнила — мимоходом, осторожно, хочется даже сказать «покраснев» — о своем «мальчике» из скаржиской гимназии. Но она жила в слишком суровом доме, под слишком бдительным и усердным надзором родителей и загнаньского ксендза, чтобы



это пробуждающееся чувство могло окончательно проснуться. К тому же после досрочно сданных на «отлично» выпускных экзаменов ее в награду послали к старшей сестре в Боснию.

Я размышлял о причинах своей привязанности к Марианне. Прежде всего, думаю, меня просто приковала к себе ее беда. («Не влюбляешься ли ты случайно, — сказал мне когда-то очень близкий друг, — в каждое человеческое страдание?») Еще до знакомства с ней я с возмущением воспринял призыв Церкви к женщинам в ее положении: найти в себе христианскую отвагу произвести на свет дитя насилия и ненависти, поборов искушение избавиться от плода, и отложить на будущее христианское, естественное стремление родить ребенка любви. Марианна, вне зависимости от окружавшей ее атмосферы «святости» — созданной, по-моему, церковными кругами — восхищала меня, потому что была к ней нечувствительна, равнодушна, с оттенком даже раздражения. Почему же она решила родить дитя насилия? Как поборолась в себе гнев обесчещенной, оскорбленной, битой и поруганной женщины, вопреки всему вслушивающейся в сигналы зарождающейся жизни, которая росла в ней и созревала, каждым своим движением подчиняя себе ее собственное существование? Это захватывало меня, привлекая к Марианне с непреодолимой силой. Нет, она не была в моих глазах «блаженной, святой», она была творением инстинктивного великодушия и доброты, поразительной для ее возраста. И еще одно — во имя истины я не могу это скрыть — с того мгновения, когда я услышал ее полусонный бред и увидел изменившееся лицо, я еще больше полюбил Марианну за сплетение и борьбу человеческих антиномий. Я не хотел, чтобы она была «пречистой святой» с олеографии, мне хотелось, чтобы это была реальная — то есть глубоко израненная — «святая».

Я сдержал слово и 10 декабря постучался в дверь дома священника. Меня поселили в тесной комнатке рядом с Марианной. Теснота не имела особого значения, потому что с первой минуты стало ясно — у себя мне придется только спать (причем готовым по первому зову соседки сорваться с раскладушки). Днем же и хозяева, и — втайне — Марианна ожидали от меня постоянного присутствия у ее изголовья. Сначала я не был уверен, хотела ли этого и Марианна, столь деликатная, столь чувствительная к проявлениям излишней опеки. Позже я узнал, что это была ее идея — не решившись сказать мне прямо, она поручила это отцу Петру и его матери, попросив не выдавать ее. Марианну вдруг охватил страх перед родами. Беременность была тяжелой, если можно так выразиться: девушка с трудом передвигалась по комнате и с облегчением — словно до пристани — добиралась до кровати. Марианна явно постарела, лицо избородили тоненькие морщинки, но порой — ненадолго — оно

обретало прежнюю свежесть благодаря прелестному детскому изгибу губ. Она не возражала, когда я гладил ее ладонь, а порой брал в руки — наоборот, благодарно улыбалась. Мне случалось погладить ее и по лицу, и легонько поцеловать в щеку, отчего на глаза у нее неизменно наворачивались слезы. Ей необходима была ласка, словно вода — усталому путнику на безлюдье. Мы по-прежнему разговаривали о наших родных местах — я никогда не думал, что о них можно столько сказать, — но ни разу она не упомянула о своем пребывании в Боснии, даже о счастливых довоенных днях. Я мог бы поклясться, что во время приступов родильной горячки или послеобеденной дремы она настолько утрачивала контакт с самой собой, что *другая* Марианна не оставляла в ней ни малейшего следа. Она выныривала из грязных и злых пучин, словно родившись заново, полностью сбросив пелену той метаморфозы, которую я — глядя на нее и слушая — с волнением переживал.

Молодой врач из Мачеры заходил каждые два-три дня, родов он ждал в любую минуту. В амбулатории он приготовил для Марианны специальную палату, договорился с хорошим гинекологом из Потенцы — о том, чтобы по неровной дороге везти ее в тамошнюю больницу, не было и речи.

Экзальтированная разговорчивость священника Пьетро, его «религиозные» аллюзии (календарные, например, — приближалось Рождество), его жестикация (он то и дело набожно складывал руки и возводил глаза к небу) — все это способствовало участвовавшим посещениям «паломников» и из Мачеры, и из Потенцы. Мне поневоле пришлось взять на себя роль сурового стража Марианны. Никто, кроме меня и матери священника, не смел переступить порог ее комнаты.

Схватки начались 19 декабря на вечеру. Кричавшую Марианну немедленно под грудой пледов перенесли в амбулаторию. Оттуда в дом доносился ее похожий на икоту крик, и это была единственная связующая нас нить. Посторонних в амбулаторию не пускали — так распорядился молодой местный врач, видимо, по совету гинеколога из Потенцы, обещавшего приехать через полчаса. Я пишу «видимо», потому что из амбулатории в дом все время кто-нибудь прибегал рассказать, что и как. Кажется, врач из Потенцы приехал вместе с епископом, которого встретил отец Пьетро. Я сидел в кухне с его матерью, мы молча переглядывались, встревоженные: крики усиливались. Наконец в девять крики смолкли. Через четверть часа в кухню вбежал отец Пьетро. «Taglio cesareo, — бормотал он в ужасе, — кесарево сечение». И побежал в церковь.

Дальнейшее — пересказ хаотических сведений, доходивших с улицы. Родился мальчик, необыкновенно большой, а мать погрузилась в глубокий обморок. Позже, в полночь, она не прореагировала на попытки при-

ложить к ее груди ребенка. Священнику разрешили на пять минут зайти в амбулаторию. Он ничего не захотел о ней рассказывать, лишь крестился и шепотом молился.

Марианна умерла на рассвете 20 декабря. В полдень открыли ворота церкви. К счастью, нельзя было близко подойти, слишком приблизиться к умершей, словно огороженной частоколом длинных и тонких свечек, поэтому отпали опасения, что люди из толпы бросятся целовать гроб. У Марианны было спокойное нежное лицо, навевавшее мысли не о похоронах, а скорее, о первом причастии. В пальцы сплетенных ладоней вложили маленькое распятие. На грудь положили овальный медальон с образом Мадонны. Ребенка забрали монахини из Потенцы.

Заупокойную мессу служил епископ Потенцы с помощью отца Пьетро. Он и произнес речь над засыпанной цветами и венками могилой. Я не слишком внимательно слушал его — меня раздражал главный мотив, «*un preclaro esempio della virtù cristiana*». Было холодно, ветрено, быстро падали на крышку гроба твердые комки земли, толпа разошлась почти бегом, словно замерзшее стадо овец. Я бросил свою горсть, обнял отца Пьетро с матерью и, продрогший, поплелся в дом за сумкой. Незнакомец из Потенцы на своей машине подвез меня до вокзала.

В середине апреля следующего года меня навестил в Неаполе молодой врач из Мачеры. Слушая его рассказ, я в душе невольно улыбался. Праправнук флоберовского аптекаря Оме, антиклерикальный «прогрессист», правда — интеллигентный и остроумный. Он не мог понять, почему Марианна умерла, все было сделано так, как следовало, и уважаемый коллега из Потенцы тоже мучился, раздумывая, что сказать епископу («Вы понимаете?»). Ребенок? Здоровый и крепкий мальчик, его согласились принять под свою опеку сестры из монастыря св. Урсулы в Авеллино. Дон Пьетро? Все в поисках чудес *ad maiorem Dei gloriam*<sup>93</sup>; рассказывает, что сразу после похорон слышал звуки из могилы, словно Марианна не умерла окончательно. В прошлом месяце была эксгумация в присутствии ватиканского монсеньора и римского врача — наш дон Пьетро счел ее очередным необходимым шагом к беатификации. Но знаете, неделю назад он погрузился в депрессию, ничего не говорит — видимо, кто-то сверху сдерживает его красноречие.

Красноречив был и врач из Мачеры, так что я облегченно вздохнул, провожая его к станции метро.

Интуиция подсказала мне, что необходимо повидаться со священником В., секретарем влиятельного кардинала из римской курии. Новой

---

<sup>93</sup> Слава в вышних Богу (*лат.*).

встрече способствовало удачное совпадение — в конце июля на итальянском вышла моя новая книга, и одновременно католическое издательство на севере выпустило книжечку священника В. о святом Франциске. Я купил ее, прочитал (она была очень милой), написал священнику В. письмо с комплиментами и вложил его в экземпляр своей книги, снабдив ее теплой надписью.

Через неделю пришел ответ. Священник В. был на седьмом небе и даже не пытался скрыть своей эйфории. Он предложил встретиться. Я пригласил его на обед в симпатичный ресторанчик возле Ватикана 7 августа. Он принял приглашение.

Я заранее знал, что удача моего предприятия зависит прежде всего от того, сумею ли я ненадолго перевоплотиться в актера. Сначала я говорил лишь о его книге, не давая ему вставить ответный комплимент. Это было легко, поскольку в начале года я внимательно изучил огромный труд историка Церкви из пизанского университета о проблеме «стигматов святого Франциска» — эрудиция автора и искусное изложение вызывали восхищение. Естественно, этот труд был знаком и священнику В., так что наша беседа, обильно окропляемая вином, превратилась в турнир эрудитов, с моими отступлениями в виде похвал его книге.

За кофе и коньяком я решился немного сдвинуть маску. Словно бы невзначай, *en passant*<sup>94</sup>, я вернулся к нашему предыдущему разговору. В. пристально поглядел на меня. Я не опустил глаз, понимая, что он испытывает меня, колеблется. В этом поединке взглядов, их скрещении, продолжавшемся невыносимо долго, я все же выдержал до конца. В. опрокинул еще одну рюмку коньяка и задумался, нервно отирая салфеткой лоб.

Следует отдать ему должное: из оживленного и элегантного собеседника он в мгновение ока превратился в человека, глубоко и искренне потрясенного, без тени притворства. «Это трагедия, страшная трагедия», — повторял он. Было видно, как сильно взволнован В. — под глазами у него вдруг появились мешки, а на лбу, несмотря на кондиционер, выступили крупные капли пота.

Я не в состоянии точно воспроизвести его рассказ (время от времени прерываемый сухим рыданием и словами «пусть это канет в вас, словно в глубокий колодезь»), придется ограничиться невыносимо сухим резюме «страшной трагедии».

Эйфорическое сообщение священника Пьетро о звуках, доносившихся из могилы на следующий день после похорон, совершенно в иной тональности переданное епископской курией в Потенце, встревожило соответствующие ватиканские круги, занимавшиеся процедурой беатифика-

---

<sup>94</sup> Между делом (*фр.*).

ции и канонизации. В Мачеру приехал римский прелат вместе с врачом, состоявшим на службе в Апостольской Столице. Было принято решение об эксгумации, на которую не допустили никого, кроме двух присяжных могильщиков из Рима. Открыв крышку гроба, они увидели умершую — она лежала на боку, лицо искажала гримаса ужаса, навеки застывшие глаза были широко открыты, распятие выпало из растопыренных пальцев, медальон с изображением Мадонны валялся между телом и стеной гроба. Взъерошенные светлые волосы, казалось, отросли, ногти тоже. Марианну К. похоронили заживо, погруженную в такой глубокий каталептический сон, какой случается исключительно редко и распознать который можно только уколов «покойника» — этот способ использовался, начиная со средневековья до начала нашего столетия. Чем вызван такой сон? Священник В. читал отчет ватиканского врача, но техническая медицинская терминология делала его герметически закрытым. Подобный случай, в котором нет виновных, случай скорее уникальный, чем редкий (священник В. воспользовался итальянским оборотом «più unico che raro»), естественно, автоматически прерывает процесс беатификации. Мученическая смерть должна быть настоящей смертью. Он хотел сказать — *другой* смертью.

Августовская жара лилась, словно из плавильной печи. Проходя по мосту через Тибр, я вспоминал старые добрые времена (послевоенные), когда река еще не была отравлена и заполонена крысами — тогда можно было спуститься на одну из пристаней и поплескаться в медленно текущей воде. За Тибром я чудом поймал такси, направлявшееся к Термини. Я не вернулся в Неаполь. В последнюю секунду втиснулся в поезд с надписью «Roma-Potenza».

Ночь я пролежал в гостинице, с трудом переводя дыхание и опасаясь за сердце. Первым шестичасовым автобусом отправился в Мачеру. Городок еще спал, улочки были пусты, поэтому я смог незамеченным проскользнуть на кладбище. Могила Марианны была все еще засыпана цветами (увядшими); там же (сверху) лежал свежий, судя по виду, венок с лентами, на которых золотыми буквами были выведены две фразы Иоанна Павла II: «Материнство часто является поступком героическим» и «Матери — героини нашего времени». На могильной плите из новенького мрамора я увидел имя и фамилию Марианны с датами рождения и смерти, под ними надпись «Madre di Jan»<sup>95</sup>, ниже большими буквами латинское прощание: REQUIESCAT IN PACE<sup>96</sup>.

На кладбище Мачеры с противоположной стороны есть ворота, за которыми начинается извилистая тропинка, сбегаящая к рабочему предме-

---

<sup>95</sup> Мать Яна (*итал.*).

<sup>96</sup> Покойся с миром. (*лат.*).

стью Потенцы. Когда-то во время одной из наших прогулок я стоял там с Марианной, но мы побоялись крутого спуска к тропинке. Сверху видна была поднимавшаяся в Мачеру женщина с картонной коробкой на голове, видимо, тяжелой, потому что она через каждые несколько шагов останавливалась. Мне вспомнился гениальный эпизод с великой Анной Маньяни в неоконченном фильме Росселини «Стромболи». Из большого города в родную горную деревню после многолетнего отсутствия, с чемоданом, перевязанным веревкой, возвращается проститутка. Она идет очень медленно, останавливается, на лице ее испарина, праздничное черное платье испещрено пятнами пота. Сцена, равной которой нет во всем мировом кинематографе, современная Голгофа. Я сказал об этом Марианне, она покраснела и шепнула: «Не богохульствуйте». А потом, помолчав несколько минут, уже за воротами кладбища, добавила, тоже шепотом и еще больше покраснев: «Это очень красиво и это правда — то, что вы сказали».

Я соскочил с небольшого уступа на дорожку, решив вернуться в Потенцу пешком. За холмом на горизонте — красное, словно на закате, солнце; несмотря на жаркий август — утренняя свежесть зелени, разветвленные стволы деревьев, пепельная серость скал, на лугах клочья исчезающего ночного тумана, вдоль дорожки блеск ручейков — ах, Боже, сколь чудесно творение рук Твоих! Но я смотрел лишь под ноги, спускаясь вниз, словно самоослепленный. Бывают в жизни моменты, когда нас ранит до крови и жестоко над нами смеется богатая, расточительная Красота Мира.

*Август 1994.*

## Мертвый Христос

Маргиналии, стружки с верстака. Их надо записывать на едином дыхании — без заставок, звездочек и отступов, ведь смысл их заключен в модуляциях голоса. В модуляциях не нарушаемого ничем и никем монолога.

«Барнэби Конрад, — пишет из Канады один мой внимательный читатель, — собрал в своей книге «Famous Last Words»<sup>97</sup> последние слова, произнесенные или записанные незадолго до смерти разными выдающимися людьми. Джордано Бруно (на костре): «Душа моя вместе с дымом вознесется в рай». Вы же в своей «Глубокой тени» написали о сожжении Джордано Бруно: «с костра не донеслось ни слова жалобы, и долго было видно неподвижное закопченное лицо», а в конце у Вас с неба камнем падает голубь, который символизирует душу ноланца, то есть эта душа как бы возвращается из рая».

Вот вам подтверждение писательской интуиции; ниже я приведу и другие тому примеры, а сейчас хочу обратиться к самому костру. В свое время из Ватикана донеслись слухи о скорой «посмертной реабилитации» Джордано Бруно («посмертная реабилитация» — советское изобретение постсталинского периода), затем, видимо, что-то изменилось, поскольку некий sodalis<sup>98</sup> известного католического публициста Витторлио Мессори (соавтора папской книги «Varcare la soglia della speranza»<sup>99</sup>) предложил понятие «справедливый костер» (для Джордано Бруно). Кажется, отец Бохеньский — намеками и более осторожно — нечто подобное излагал Парису в книге философско-религиозных бесед. Так что наша эпоха отнюдь не полностью освобождена от огня, поглощающего «любое еретическое отступничество от истинной веры». Пусть и дальше стоит на Campo dei Fiori полюбившийся голубям памятник Джордано Бруно, навсегда скрывшему лицо под опущенным капюшоном.

И в моем эссе «Караваджо: свет и тень», и в моем рассказе «Глубокая тень» на костер ноланца глядит из таверны великий художник. Откуда я это взял? — спрашивали меня. Опять-таки интуиция. И опять-таки подтвержденная реальностью. Художник — ниспровергатель принятых норм, скандалист и бунтарь (как явствует из недавно вышедшей книги

---

<sup>97</sup> «Знаменитые последние слова» (англ.).

<sup>98</sup> Коллега (лат.).

<sup>99</sup> «Переступить порог надежды» (итал.).

«Caravaggio assassino»<sup>100</sup>), — изображает в глубине «Мученичества св.Матфея» костер. Поначалу, рассматривая картину, я не придавал костру большого значения. Сегодняшние исследователи убеждены, что свой след на заднем плане картины оставил именно Джордано Бруно — словно брат св. Матфея. Тайный противник контрреформации провозгласил, таким образом, еретика святым мучеником.

Позволю себе процитировать подглавку «Morte della Vergine»<sup>101</sup> из моего эссе «Караваджо: свет и тень».

«Картина потрясающая: для меня — один из главных шедевров Караваджо. Неудивительно, однако, что заказчиками она была с возмущением, если не со скандалом, отвергнута. Беда тому алтарю, с которого Пресвятая Дева Караваджо предстала бы взорам прихожан!

Уже немолодая женщина, бесконечно утомленная жизнью, опухшая, с торчащим, как у беременной, животом, с отяжелевшими толстыми ногами крестьянки, всю жизнь проработавшей в поле. Лицо ее выражает не покой и величие смерти, а скорее облегчение: до чего же она устала; о том же говорит ее левая рука, свисающая с неопрятной постели. Тонкий, лишь слегка очерченный нимб над головой кажется здесь чем-то чуждым и одновременно естественным. Вокруг смертного одра рыдания — собравшиеся оплакивают усмиренную наконец боль бытия; некоторые закрывают руками лица. Да пребудет в вечном покое освобожденная Богоматерь.

Ее отекающее тело заставляет вспомнить современную художнику историю «святой блудницы». Молоденькая проститутка Катерина Ваннини, постучалась, раскаявшись, в ворота монастыря в Сиене. Став монахиней, она превратилась к концу жизни почти в святую — в этом был убежден Федерико Борромео, начавший после ее смерти процесс беатификации. Умерла она в возрасте сорока четырех лет от водянки. В свою «Morte della Vergine» Караваджо тайком пронес водянку сиенской Катерины.

«Morte della Vergine» следует рассматривать вместе с другим полотном Караваджо — «Кающаяся Мария Магдалина». Спящая на стуле Магдалина, с приоткрытым ртом и полусомкнутыми веками, с устало сплетенными руками, чем-то близка умершей Пресвятой Деве. Их объединяет боль бытия, острие которой всей кожей ощущал Караваджо подобно тернию смерти».

Еще один пример интуиции, на этот раз не только моей. И на этот раз — по меньшей мере отчасти, ошибочной. Караваджо и в самом деле сознательно стремился соединить несоединимое — Пресвятую Пречистую Деву и проститутку, чтобы отчетливее прозвучала не отпускаящая

---

<sup>100</sup> «Караваджо убийца» (*итал.*).

<sup>101</sup> «Успение Пресвятой Девы» (*итал.*).



его тема «боли бытия». Но никакого отношения к этому не имела его современница, «святая блудница» из Сиены. Новейшие исследования авторов архивного компендиума «Caravaggio assassino» выводят на сцену двух римских проституток (родом также из Сиены), которых художник отыскал в одной из таверн и привел в мастерскую в качестве (прежде всего) моделей: звали их Аннунция и Филлиде. Аннунция позировала ему для «Кающейся Марии Магдалины»; и Аннунцию, умершую при родах, он написал в «Morte della Vergine».

Размышляя об этом, трудно устоять перед искушением более тесно связать между собой двух врагов контрреформации — художника-еретика и философа-еретика. Караваджо был не только до глубины души проникнут «болью бытия», выразить которую стремился в своих работах. Ему, очевидно, оказался близок Джордано Бруно, провозглашавший, что «Бог — существо непознаваемое, к которому человек может приблизиться только так, как тень приближается к свету» и что «Бог, т.е. свет, не может быть полностью постигнут: человек способен к нему приблизиться лишь в виде тени». Упор на тень, сделанный философом («я — глубокая тень»), эхом откликался в художнике («я — мастер света и тени»).

Я гляжу на женщину из «Morte della Vergine» — с отяжелевшими толстыми ногами и простонародными чертами лица, с торчащим, как у беременной, животом (оказывается, после родов). И думаю о «Madonna del Parto»<sup>102</sup> Пьеро делла Франческа из кладбищенской часовни в тосканской деревушке Монтерки, вблизи родного художнику Борго Сан Сеполькро. Уперев левую руку в бок, правой Мадонна касается разреза платья, открывающего большой живот. Мать художника родилась в Монтерки, поэтому долго считалось, что это ее он нарисовал вскоре после того как она скончалась, но не сходятся даты. В прошлом это не имело значения — достаточно было помнить, что в старости именно сюда приходил порой слепой Пьеро, ведомый за руку мальчиком; и что кладбищенская часовня и Мадонна под балдахином, откинутые края которого поддерживают два ангела, — часовня, повторяю, и беременная Мадонна, стареющие и темнеющие с течением времени подобно придорожному распятию, исхлестанному ветром и дождем, палимому тосканским солнцем, — стали частью природы и мира, как Рождество под скошенной крышей<sup>103</sup> того же Пьеро. Мира мифологизированного и внезапно осиротевшего, потому что «Madonna del Parto» отреставрировали — точнее, почистили — и перенесли из часовни в маленький музей Монтерки (почему я и воспользовался выше словами «в прошлом»). Я, в сущнос-

---

<sup>102</sup> «Мадонна перед разрешением от бремени» (*ital.*).

<sup>103</sup> Речь идет о картине Пьеро делла Франческо «Рождество».

ти, не против реставрации (восстановленный «Страшный суд» Микеланджело в Сикстинской капелле сдал экзамен на «отлично»), однако считая, что не все можно реставрировать и перемещать. Голос темной «Madonna del Parto», рассказывавшей в кладбищенской часовне свою часть великого, таинственного «цикла» — Зачатие-Рождество-Учение-Распятие-Воскресение — звучал иначе, глубже.

Мука Распятия. Сицилийский художник Антонелло да Мессина показал в трех лицах три варианта плачущего Христа; у Мессины главное в картине — выражение тупой боли, маска физического страдания, рыдание, вызванное жестокостью пытки. Масаччо в «Распятии» заставил голову Христа расти прямо из туловища, словно перед тем как прибить к кресту, Ему сломали позвоночник. Не так давно в Милане — в открытых после долгого перерыва «наполеоновских залах» Галереи Брепа — я увидел наконец в оригинале «Мертвого Христа» — «Cristo Morto»; Андреа Мантенья, автор лучезарной росписи Свадебной залы в Мантуе, написал его в 1480 году. Это единственная картина, с которой он никогда не расставался и которую считал (справедливо) своим личным сокровищем. Картина волнующая, не имеющая себе равных, реалистическая и человеческая до крайности (и в этом близкая «Morte della Vergine» Караваджо; известно, например, что означает у Мантеньи выпуклость на полотняном покрывале, заслоняющем мертвое тело до пояса: эрекция — последний признак жизни у повешенных или распятых). «Cristo morto» назывался когда-то «Cristo scurto», что английские историки передают словами «strongly foreshortened figure»<sup>104</sup>. Законы перспективы нарушены при передаче пропорций этой фигуры — словно бы увиденной художником, стоящим на коленях у ног снятого с креста (и оплакиваемого Матерью и Иоанном Богословом) Христа: мы видим «резкое сокращение», судорогу, укорочение тела. С моей точки зрения, Мантенья стремился таким образом — и успешно! — изобразить Распятого как сгусток страдания, омертвевший комок едва угасшей боли.

Караваджо и Мантенья (а до определенной степени и Масаччо, и Антонелло да Мессина) отразили самую суть христианства — религии страдания, тесно связывающей страдающих с Распятием. Не слишком разумным поэтому представляется вопрос «Unde malum?»<sup>105</sup> (в сентябре в Кракове над ним ломали головы и мудрствовали поэт, философ и теолог). Зло существует в нашем мире, в нас и рядом с нами, в «боли бытия» и в страдании. Можно и нужно с ним бороться — это ощущают христиане, не сводящие глаз с образа Христа, верующие в Его «цикл». И к чему на-

<sup>104</sup> Фигура, изображенная в искаженной перспективе. (англ.).

<sup>105</sup> «Откуда зло?» (лат.).

поминая им, что птица глотает червяка, лиса бросается на птицу, человек расставляет железные капканы на лис, хотя сам хорошо знает, что ему тоже кем-то или чем-то уготована ловушка.

Официальная Церковь прекрасно это понимает. И старается веру соединить с утешением, надеждой и отвагой. Иоанн Павел II написал свой текст для книги «Varcare la soglia della speranza» по-польски, за исключением итальянского призыва «non abbiate paura» — «не бойтесь», с которым он взошел когда-то на престол. Ирена Пиветти, страстная католичка с вандейским крестом на груди, часто называемая итальянцами «нашей Орлеанской Девой» или «нашей святой», тридцатитрехлетняя председательница итальянской Палаты Депутатов (хотя, по правде говоря, она и не дева, поскольку была некоторое время замужем, и не примерная католичка, поскольку рассталась с мужем из-за отказа родить ребенка), слепо почитающая «папу римского Войтылу», предложила дополнить папский призыв так: «Не бойтесь Бога». Наш «лучший из миров», однако, быстрыми шагами движется в направлении, которое Святого Отца скорее уж должно заставить во весь голос крикнуть: «Бойтесь Бога, бойтесь Бога!» Хотя кричать, наверное, уже поздно, потому что на рубеже третьего тысячелетия, похоже, в мире господствует Мантенья со своим Умершим Христом.

*Ноябрь 1994.*

## Прах. Падение дома Берарди

The storm was still abroad in all its wrath...  
The radiance was that of the full, setting, and  
blood-red moon...<sup>106</sup>

*Е.А.Пое.*

The Fall of the House of Usher

### I

Запись в моем дневнике за июнь—июль 1977 г.

«Эоловы острова у берегов Сицилии, или — на языке туристической поэзии — Семь Жемчужин: Стромболи, Панаря, Салина, Липари, Вулькано, Филикуди, Аликуди. Два раза в неделю ранним вечером из Неаполя отплывает пароходик. Ночь опускается вскоре после того как мы минуем Капри. Еще мгновение в морской борозде тянется красный хвост заката, затем его поглощает чернота — чистая и совершенная.

Первая извлеченная из темноты перед самым рассветом Жемчужина — Стромболи. Когда пароходик бросает якорь, закат ночи подобен медленному освобождению дня от черной повязки. Виток за витком, чешуйка за чешуйкой — густой мрак, неохотно поддаваясь, светлеет. Из кратера быстрым проблеском показывается и тут же прячется обратно язык пламени, увеличиваются в размерах лодки перевозчиков, гаснет маяк на скалистом зубе у острова. Теперь Стромболи виден отчетливо. Начиная с черного песка на пляже, через белые пятна домов и необычайное богатство оттенков зеленого, местами переходящего в фиолетовый и желтый — до черной, лысой пирамиды вулкана. Первая Жемчужина скорее напоминает поднятую со дна моря глыбу, хранящую память об обтачивании, обтесывании, метании, расцвечивании.

Вторая — Панаря, цель нашего путешествия. Значительно меньше — три километра в длину, два в ширину, две с половиной сотни постоянных

---

<sup>106</sup> Буря еще неистовствовала во всей своей ярости...

То сияла, заходя, багрово-красная полная луна...

Э.А.По. «Падение дома Ашеров». (Перевод Н.Галь).

жителей. Классический сицилийский пейзаж — бурые гаревые осыпи, серо-зеленые лоскуты скал и *piante grasse*, мясистые кактусы, перемежающиеся ярким лихорадочным румянцем цветов. Единственное свидетельство прошлого — доисторическое поселение на Calaiunco, скалистом мысе в форме якоря. Округлые камни на краю высокого обрыва, спаленная до пепла земля, внизу изумрудное море, покрытое царапинами, словно трепещущая станиоль, за спиной голые розовые скалы и чертополох с сердоликовыми цветами. Путеводители рекомендуют туристам еще одну достопримечательность, также с тайным «доисторическим» привкусом. Что такое «alba lunare» — лунная заря, известно не только здесь. Но, быть может, только здесь с такой дивной первобытностью возникает бледный день из побледневшего на небе диска.

После окончания сезона жизнь острова сосредоточивается вокруг трех пунктов: маленький порт — церковь — кладбище. На кладбище я обнаружил надгробную надпись, объемлющую весь цикл. Панарейский рыбак «в руках всегда держал весло и сеть, чтит Бога, любил жизнь и море, умер в возрасте ста десяти лет». В порту люди ждут пароходов, перед церковью — ее открытия. Процессия в день покровителя острова, святого Петра — шествие горстки жертв крушения.

Скупая земля острова уже многие годы не возделывается, если не считать редких огородиков. Бывшие виноградники и небольшие поля одичали, заросли сорняками — ими некому заняться. Более предприимчивые жители сбежали на материк или за границу. Остались менее энергичные, которые откладывают заработанные в сезон деньги на «пустой» остаток года. Все привозится с Сицилии или с материка, на острове пекут только хлеб. Но даже оставшиеся в большинстве своем уезжают по окончании сезона батрачить на Сицилию. Осенью и зимой остров пустеет. В той части, где живу я — между кладбищем и доисторического поселения — всего две семьи терпеливо ждут весны. *La vita si ferma, tira solo il vento*. Жизнь замирает, дует лишь ветер. Эолов ветер».

\*

Я жил тогда у своего флорентийского знакомого, Лориса Берарди, в его доме «Villa Toscana» на низком холме. Оттуда из разных окон можно было охватить взором весь остров и море вокруг, сшитое горизонтами с пепельным, выжженным за день небом, а с вечера до самого рассвета окутанным красноватым отсветом луны. В свою виллу Лорис из Флоренции приехал пока один — Марина, его русская жена, уехала с ребенком в Штаты к родственникам и только август собиралась провести на Панарее. Лорис плохо переносил одиночество — отсюда и посланное мне при-

глашение. Я давно уже мечтал провести отпуск на одном из Эоловых островов, и с радостью принял приглашение.

С Лорисом я познакомился в 1975 году. Он приехал в Неаполь с рекомендательным письмом Роберто — нашего общего друга, блестящего эссеиста. В этом письме меня поразила одна фраза: «Помни, податель сего действительно любит литературу, что сегодня более, чем редкость, и навестить тебя в Неаполе он решил именно по этой причине, настроившись на долгую беседу». Лорис и Роберто подружились в Нью-Йорке, где они, эмигранты-антифашисты, провели семь лет — с 1938 года до конца войны. Лорис был моим ровесником, нам с ним исполнилось по пятьдесят в мае 1969 года. Роберто был старше.

Мой гость плохо знал Неаполь, поэтому я показал ему Святую Клару и Пинаотеку на Каподимонте, потом отвез в Куму. Там, в пустом Гроте Сибиллы, он начал понемногу рассказывать о себе. Лорис родился в обеспеченной флорентийской семье. Младший сын, после смерти отца он вместе с двумя братьями получил очень симпатичное наследство — бар в центре города, огромную мастерскую по пошиву дамской и мужской одежды, загородный дом. Необходимость заниматься наследством отвлекла его от едва начатой учебы на литературном факультете. Никакими определенными политическими взглядами он не отличался, разве что ненавистью к насилию. И вообще к прославлявшейся в тридцатые годы Силе. Это сблизило его с антифашистами, правда, поверхностно, ни в какие организации он не вступал. И склонило, в конце концов, к отъезду из Италии — за год до начала войны. Эмиграция Лориса не была вынужденной — политикой он не занимался, а «расовые законы», изданные в это время Муссолини (довольно неохотно), его не касались. «Собственно говоря, — объяснил он, опустив глаза, — все дело было в отвращении. Я шел однажды в Риме по улице По, где находилось Министерство культуры, знаменитый Minculpor. Оттуда как раз вышел В.Ц. — я хорошо знал его по Флоренции (он часто бывал у нас дома) и восхищался им как поэтом. Дрожащими руками он открыл конверт, вынул из него чек и вздохнул с явным облегчением. Я нарочно остановился перед ним — молча, не в силах заставить себя вымолвить хотя бы несколько приветственных слов. Увидев меня, он замахал чеком и с бледной улыбкой произнес: «Да-да, Лорис, запомни, до чего они нас довели». Я запомнил, хорошо запомнил. Через два месяца, в сентябре 1938 года, я сел в Генуе на пароход, отплывавший в Америку».

Эта коротенькая история свидетельствовала также о его отношении к литературе. Лорису было девятнадцать, с шестнадцати лет литература в какой-то мере заменила ему Церковь. Воспитанный в атмосфере равнодушия к религии, он ощущал потребность (его собственное определение) в

«ином измерении». К любимым писателям он относился отчасти как к священникам. Времена не благоприятствовали подобным поклонникам литературы. Знаменитый поэт В.Ц. был лишь одним из многих в длинном, все удлиняющемся ряду. Описывая молодого Лориса сегодня, в 1994 году, я не в силах сдержать волнения (и печали) при мысли, что он принадлежал к исчезающему племени читателей. Или к исчезающему племени искателей «иного измерения». Литература перестала быть переживанием. Книги в магазинах превратились всего лишь в товар, который продается лучше или хуже и о котором ничего не знает продавец — когда-то искушенный советчик и собеседник покупателей — любителей прекрасного.

Быстро выяснилось, что у нас примерно одни и те же любимые авторы и книги. Было что-то странное и одновременно символическое в сценах нашей беседы. Нередко в полдень Грот Сибиллы пустовал, словно туристы инстинктивно опасались «магического» часа, когда мрак, окутывающий обитель Прорицательницы, сталкивался снаружи с солнечным апогеем. Мы сидели рядом на каменной лавке в конце подземного коридора, где, согласно легенде, отчетливее всего слышались предсказания Сибиллы, в знаменитом «antro» — вырубленной в скале пещере. Каждый раз, когда я приходил туда — а в начале моего пребывания в Неаполе это случалось часто, — меня охватывало беспокойство или даже страх, я затылком ощущал холодное прикосновение чего-то неведомого. Так (наверное) на одинокого бродягу или провожающего покойного в последний путь действует ночью кладбище. Теперь, болтая с Лорисом, я не ощущал этого, но мне казалось, что некто таинственным узлом связывает наши судьбы. И инстинктивно мы оба понижали голос, придавая разговору характер почти конспиративного шепота. «Таких, как мы, — засмеялся он, — будут сталкивать в катакомбы». «Таких, как мы?» — эхом отозвался я. Но, разумеется, понял, что имелось в виду. Мир откровеннее и откровеннее насыщал все вокруг рутиной, привычкой — порой приходилось сомневаться, выживет ли традиционная дружба, традиционная любовь.

В тот же вечер он уехал во Флоренцию, ненадолго остановившись в Риме и пообедав с Роберто. Я знал, что мы вступили на путь дружбы — короткий или длинный, прямой или извилистый, но ведущий к желанной для нас обоим цели. Ах, если бы я мог тогда почувствовать, какой горькой окажется эта цель!

\*

Две мои недели на Панарее в 1977 году — последняя неделя июня, первая неделя июля: до полудня мы плещемся в чудесном чистом море, после обеда — сиеста с тщетными попытками немного почитать, начиная

с сумерек (когда спадала жара) и до полуночи исследуем островок. Это крошечный осколок мира, обаяние которого заключается в его миниатюрности. Если бы на вулканическом морском дне поднялось однажды «maremoto», морское землетрясение — с волнами, высокими, словно нью-йоркские небоскребы, Панарея навсегда бы исчезла в пучине. Вместе с виллой Лориса, хотя, быть может, ее башенка еще мгновение виднелась бы над клубящейся, кипящей водой.

«Villa Toscana» сразу напомнила мне — благодаря замеченному на ночном столике Лориса сборнику рассказов Эдгара Аллана По — дом Ашеров, рассказ, давший название всему тому. В ней, правда, не было ничего от мрачного Замка — вилла была одним из мастодонтов архитектуры конца прошлого столетия, но, как и в рассказе По, уродливые, претенциозные стены, колонны и зубцы странным образом таили в себе предвестие краха. Основатель рода Берарди, разбогатевший тосканец, выкупив обширное, но все в долгах поместье (в котором служил управляющим) у аристократа-банкрота, выстроил эту громадину почему-то именно на далекой Панарее, где немногочисленные туземцы еще долго почитали дом чуть ли не как храм. В путеводителях того времени он упоминается наравне с доисторическим поселением Calaiunco.

Лорис предоставил в мое распоряжение башенку, окруженную террасой — с ее заднего края открывалась четырехэтажная пропасть, отделявшая дом от отвесной скалы. Правда, в послеполуденные часы башенка превращалась в раскаленную печь, но позже четыре открытых окна давали достаточный сквозняк, а ночью даже приятную прохладу. Хозяева — Лорис и Марина — на первом этаже занимали большую комнату, все стены которой были заставлены книжными полками и увешаны картинами и репродукциями. Рядом находилась комната их двенадцатилетней дочки Ирины.

Чтобы обойти остров, не требовалось много времени. Но наше исследование вдоль и вширь, по диким диагоналям, нередко сквозь густую чащу, с остановками у глубоких расселин, посещениями домиков на дальних побережьях, многочасовыми наблюдениями за ловлей рыбы сетью и удочкой (я сам вытащил из кладовки под лестницей хорошую еще удочку и вернулся к страсти моего детства и ранней юности) — наше исследование, повторяю, подобно было медленному выдоху отравленного городской жизнью человека. Время едва двигалось, словно осторожные шаги; собственно, оно перестало существовать, измеряемое лишь сменой света, неба и цветов в природе. Ощущение изоляции от мира будило постоянное восхищение, выразить которое могло одно только молчание. И мы молчали, лишь изредка обмениваясь ничего не значащими фразами, словно нежелание говорить было здесь в порядке вещей. Иногда за-



ходили в бедный бар на пристани — попить кофе и послушать панарейские сплетни, настолько неинтересные, что они очаровывали своей скучностью, бывшей словно бы свидетельством (благословенного) сна островка. Мы обедали в «ресторане» рядом с пляжем — за неустойчивым столиком всегда одно и то же, *pescespada*<sup>107</sup> и бутылка белого вина. Охотно заходили на кладбище — никогда в жизни я не видел кладбища настолько пронизанного ощущением покоя и вечного отдохновения.

Вечером зажигались огоньки в прибрежных домишках, большей частью построенных дачниками с материка. Проходя мимо, мы видели на столах керосиновые лампы или подсвечники, как в «Villa Toscana» (аккумуляторы использовались только для холодильников). Дачники — как правило, люди обеспеченные — не желали электрификации Панареи, что вызывало горечь и даже гнев в сердцах местных жителей. Они тяготились «первобытностью», в поисках которой приезжали летом горожане.

Вечера — как правило, до самой полуночи — мы проводили среди скал и небольших каменных курганов *Calaiunco*, доисторического поселения, руины которого сохранились скорее в сознании археологов, чем в действительности. Увиденное отсюда, море — слегка розовеющее под огромным лунным фонарем, выглаженное до мертвенности — представляло собой феномен, о котором можно прочесть в сказках или в мифах.

*Alba lunare* — лунную зарю — я наблюдал с корабля, который должен был забрать меня в Неаполь. Лорис ждал на пристани, пока не подняли якорь. Ему предстояли три одинокие недели до приезда жены и дочери. «Рождество во Флоренции!» — крикнул он. «Рождество во Флоренции!» — эхом откликнулся я. Домой я возвращался в эйфории, счастливым опьянении.

## II

В середине декабря этого (1977) года я, как и обещал, поехал во Флоренцию. По дороге остановился в Риме и, конечно, тут же отправился к Роберту и его жене. Нас связывала долгая дружба — почти с того самого дня, когда я поселился в Италии. Хотелось бы сказать — дружба интеллектуальная, не будь слово «интеллектуальность» и его производные так занозены и не приобрели они призыв прогрессивного идиотизма (прилагательное, приводящее на ум и прогрессирующий паралич, и «прогрессивность»). Я не раз спрашивал себя, каким образом удалось Роберто сохранить чистоту и прямоту мысли, сердца, души (сегодня упорно изгоняемой из обращения) в неразрывной связи с высокой пробы

---

<sup>107</sup> Рыба-меч (*итал.*).

интеллигентностью. Разгадка, вероятно, в инстинкте, даже более того — мгновенно срабатывающем в каждом отдельном случае импульсе, заставляющем бежать из лагеря победителей на сторону побежденных по образцу Симоны Вайль. Инстинкт, воспитанный недоверием к Великим Системам, Доктринам и Идеологиям, и потребностью в «космической pietas<sup>108</sup>» перед лицом метафизической непроницаемости мира. Роберто называл наше время «эпохой злой веры», нигилистской реакции на всякого рода нравственные нормы и императивы. Если «добрая вера» — точный антоним «злой веры», то его позицией была открытость по отношению ко всему, что основано на ясном честном осмыслении и неустанном стремлении к истине при максимальной искренности чувств.

Я считал Роберто (пользуясь взаимностью) очень близким другом, в нашей дружбе ощущался даже привкус братских чувств, но я не относился к нему как к мэтру. Мэтром он был для Лориса, который со своим стремлением следовать за кем-то, годился на роль ученика. У меня были уже разные мэтры в далеком и близком прошлом. Но радовало сознание того, что мой новый друг был учеником Роберто, потому что, не принадлежа к писательскому цеху, он обладал ценным достоинством — бескорыстием и умением держать постоянную дистанцию. И — что скрывать? — как я понимаю теперь, подсознательно мне хотелось разделить с Роберто эту роль учителя, поскольку возраст и во мне рождал робкие менторские амбиции.

За обеденным столом и, позже, в креслах за кофе Роберто и его американская жена Рут рассказывали, как познакомились с Лорисом и как быстро с ним подружились. В Нью-Йорке итальянские эмигранты-антифашисты (итальянцы, эмигрировавшие ради заработка, в большинстве своем американизированные, были настроены «проправительственно») собирались по вечерам в клубе американских radicals в районе Куинс. Однажды там появился Лорис. Сначала на него посматривали подозрительно, тем более что он молчал и, казалось, чересчур внимательно прислушивался к разговорам (а в Нью-Йорке было немало полицейских агентов, присланных из Рима), но в следующий раз он вступил в дискуссию. Лорис говорил горячо, четко, по существу, анализировал настроения своих ровесников во Флоренции, предостерегал перед созданием «профессионального антифашизма», делал упор на естественное сопротивление в поведении и мышлении. Собственный приезд в Штаты считал проявлением слабости — он мог спокойно остаться и работать во Флоренции, но не сумел выдержать усиливавшегося фашистского хамства, эпидемии вульгарности и сознательного опрощения. Завороженные вульгарным (и

---

<sup>108</sup> Снятие с креста; сострадание, жалость (итал.).

от природы, и на показ) Дусе и его личной дружиной, итальянцы из снобизма изображали так называемую «народную непосредственность» — даже в богатых мещанских домах и аристократических салонах. Определенная духовная инстинктивная эlegantность в сочетании с отвращением к программной и крикливой агрессивности сохранилась — по крайней мере, отчасти — среди людей действительно простых, из социальных низов. Люди тонкие скрывали свою тонкость, люди образованные стыдились образования, духовные лица, казалось, забывали о своем призвании. Фашистские «карательные шеренги», заливавшие площади «океанические митинги», все более широко распространявшаяся «униформизация» жизни сопровождалась желанием выломиться из традиционных правил человеческого общежития.

Лорис сразу вызвал к себе симпатию, его все полюбили. Тогда он еще получал из дома денежные переводы, которые, согласно приказу итальянских властей, вскоре прекратились. Он нашел идеальное, хоть и плохо оплачиваемое место в международном книжном магазине, где и встретил прелестную Марину — из русской семьи, сумевшей бежать за границу после революции и через Германию и Францию добраться до Штатов. Живы были только брат и сестра Марины: он — в американской армии, она — медсестра в чикагской больнице. Как и Лорис, Марина прервала учебу в университете на медицинском факультете — ей нечем было платить. Она научилась делать узорчатые ткани, расписные тарелки и поддельную бижутерию. И это оказалось неплохим источником существования. Марина от рождения прихрамывала — это уберегло ее от военной службы, когда Америка вступила в войну. «Она до сих пор прелестна, — сказала жена Роберто. — Всегда приятно было и сейчас приятно, — добавила она, — смотреть на эту влюбленную пару — Лориса и Марину». Дочка их родилась уже во Флоренции, поздно — обоим было под пятьдесят.

\*

Марина, жена Лориса, и в самом деле была прелестна. Приятно было наблюдать за этой парой, все еще влюбленной друг в друга, видеть их взаимную нежность после почти сорока лет брака. Хромота Марины была незаметна; разве что ходьба явно утомляла ее, и ей приходилось часто присаживаться и отдыхать. Очаровательное лицо, свежее, несмотря на возраст, огромные глаза — печальные и одновременно прелестные, как на ликах тосканских Мадонн. Проблемой была двенадцатилетняя дочка Ирина, но об этом позже.

Дом семьи Берарди, основательный крестьянский дом с кусочком поля, садом и маленьким виноградником, находился за городом на Монте

Ориоло, близ Пьян дей Джиллари, где когда-то располагалась летняя резиденция великого флорентийского историка Гвильярдини. С трудом верилось, что за десять минут машина переносит вас из вечно запруженной народом Флоренции в классический пейзаж Тосканы с его мягкими линиями холмов и дорогами, усаженными кипарисами, напоенный тишиной, зимой неподвижный и прозрачный, словно рисунок на стекле.

Братья Лориса переехали в город, так что он стал хозяином всего родового гнезда под Флоренцией (братья отдали ему и панарейскую «Villa Toscana»). Они с Мариной были счастливы. Лорис с гордостью показывал свою богатую и все пополнявшуюся библиотеку. Марина в сезон без усталости работала в саду и на винограднике и даже пыталась (с помощью соседей-крестьян) заняться кусочком поля. Кроме того, на втором этаже она устроила себе мастерскую. Казалось — таким и было мое первое впечатление после приезда в сочельник — что на семейном небе нет ни облачка.

Облачко было, и очень темное — маленькое, но несущее гром и молнии. Ирина, дочка Лориса и Марины, родилась с дефектом слуха. Не глухонемая, сохранившегося процента слуха хватало, чтобы слышать, если с ней говорили очень медленно и при свете, дневном или искусственном — она помогала себе, читая по губам, — и говорить самой, пусть горловым, словно доносящимся со дна колодца голосом. Но из-за своего дефекта — это как раз и были «гром и молнии» — она постоянно была раздражена и агрессивна. Реакцией родителей, в свою очередь, была гипертрофированная чуткость, самозащитная и бессильная, полная страха и чувства вины, хоть ни в чем они виноваты не были и любили единственное дитя даже чрезмерной любовью. Ничего этого я не знал до своего приезда во Флоренцию — ни Лорис на Панарею, ни Роберто с Рут в Риме не сочли нужным предупредить меня об инвалидности девочки. Она была так прелестна, так гармонично соединяла в себе две красоты — русскую и тосканскую — что я долго не мог отвести от нее глаз, когда мы уселись за рождественский стол. Тем более поражали меня ее редкие, короткие, довольно сердитые реплики. В сущности, Ирина больше молчала, что подтверждало, как глубоко и болезненно она осознает свою неполноценность.

Благодаря своим связям Лорис устроил ее в школу при монастыре, где Ирину посадили за первую парту и окружили особым вниманием и заботой, против чего не возражали одноклассницы. Ее любили, но это не очень помогало. Атмосфера во флорентийском доме царила тяжелая, все постоянно были напряжены, и лишь поздним вечером, когда Ирина уходила к себе в комнатку рядом с мастерской матери, мы могли внизу спокойно поговорить втроем.

Флоренцию я знал неплохо, но мне не улыбалось бродить по городу одному, особенно в праздники. Лорис, несмотря на Рождество, был занят, Марину неудобно было просить составить мне компанию из-за ее хромоты. Я решил предложить ежедневные прогулки их дочке. Родители были поражены и счастливы, когда Ирина без малейшего колебания согласилась. Они не заметили или не пожелали заметить, что для девочки важнее всего было оторваться от родителей. Впрочем, какая разница, что двигало ею на самом деле! У меня в голове (возможно, и в сердце) уже созрел замысел завоевания дружбы этой грубоватой, резкой, всегда сердитой девочки. Я рассчитывал, что она постепенно оттаяет; разбить ее скорлупу стало для меня делом чести.

Лорис подбрасывал нас утром на машине в центр, а вечером должен был забирать домой из условленного места — каждый раз нового. Обедать мы собирались в ресторанах.

Стояла мягкая флорентийская зима, не солнечная, но освещенная ярким белым светом. Прогулки по такому городу, как Флоренция, — сплошная череда восторгов; под вечер способность к восприятию сокращается до минимума, и вы в силах уже лишь упасть в кафе на стул и прикрыть усталые глаза. Любое место, осматриваемое не впервые — церковь, музей, дворец, фрагмент улицы, — на какой-то миг кажется увиденным в первый раз. И снова сердце бьется, как будто спустя годы видишь любимое лицо, словно бы изменившееся, немного постаревшее, но где-то в глубине сохранившее прежнее выражение, когда-то пробудившее любовь и способное заставить ее вспыхнуть вновь. Прогулки в конце концов превращаются в блуждание среди рассыпанных щедрой рукой драгоценностей. Промывающий взгляд глоток воздуха — многочисленные обрывы над Арно. Река, такая грозная в период наводнения или даже просто половодья, включает в себе поблескивающую мягкость, подобную успокаивающим волнам тосканских холмов.

Дополнительным удовольствием в этом скитании по городу было то, что обычно скорее отталкивает — масса туристов. Мне доставляло радость проталкиваться сквозь толпу на площадях и улицах, становиться на цыпочки в дальних рядах, чтобы полнее насладиться алтарем или фреской в церкви, картиной в музее, инкрустацией старых ворот во дворце. И поднимать Ирину, чтобы она смогла увидеть это вместе со мной. Кто знает, не приносило ли мне удовлетворение в первую очередь то, что во время прогулок с девочкой мне удавалось понемногу ломать лед? Мы быстро сблизились, доверчиво протягивая руку, она искала меня в толпе, просила поднять перед бесценными достопримечательностями. Иногда она смеялась (а родители сокрушались, что Ирина не умеет и не хочет смеяться), правда, глубинным и громким смехом, будто ножом по стеклу, но для меня, ее опекуна и това-

риша по флорентийским скитаниям, друга ее отца, вскоре ставшего другом матери, это был смех желанный. Ее родители едва могли поверить моим вечерним отчетам. Потому что — странное дело — все это оставалось за порогом дома на Monte Oriolo. Ирина принимала свой «домашний» облик — столь огорчавший, если не ранивший родителей. Более того, менялось и отношение ко мне, словно дневные знаки дружбы в городе ни к чему ее не обязывали. Я притворялся, что ничего не замечаю, но во время вечерних разговоров с Лорисом и Мариной мне трудно было объяснить, что это для них девочка приберегала всю свою «колючесть» (их определение).

Приближалось к концу мое пребывание во Флоренции. В последний день утром мы поехали с Ириной в Santa Maria del Carmine. Мы долго, очень долго сидели перед фреской Масаччо «Святой Петр излечивает больных своей тенью». Когда я поднялся, собравшись уходить, девочка рукой удержала меня. И только теперь я заметил у нее на глазах слезы. Нет, она не плакала. Лицо было ожесточенное, злое, совсем не подходившее к мечтательным глазам, в которых стояли слезы. Лорис, чья мастерская была рядом с церковью, пришел, как мы условились, вскоре после того, как флорентийские колокола пробили полдень. В тот день мы вернулись на обед домой. Глаза Ирины высохли, на заднем сиденье машины она отодвинулась от меня, как будто и не было двух, так сблизивших нас недель. Но вернувшись домой, девочка отказалась от обеда, побежала к себе на второй этаж, закрылась на ключ и мы даже не попрощались перед моим отъездом на вокзал. Лорис преподнес мне на дорогу подарок. Словно смущаясь, он попросил, чтобы я открыл пакет в поезде. И в поезде я наслаждался прекрасным изданием «Падения дома Ашеро» Э.А.По в оригинале и в итальянском переводе Лориса (потому, видимо, он и был смущен), выпущенном им за свой счет, с рисунками неизвестного мне художника двадцатых годов нашего столетия, поразительно похожего на Кубина, автора «Die andere Seite»<sup>109</sup> (я привожу название в оригинале, поскольку не знаю, переведено ли оно на польский).

### III

Чтение перевода Лориса (идеального!) лишь освежало в моей памяти «Падение» или «Руины» (в итальянском переводе было употреблено слово «La Rovina», «руина» — вместо «La Caduta», «падение») «дома Ашеро». Я много раз читал «Падение» в годы увлечения Эдгаром Алланом По, во времена моей — как шутили друзья — «По-мании». И считал его одним из лучших рассказов великого американского писателя. Должен,

---

<sup>109</sup> «Другая сторона» (нем.).

однако, признаться, что мое восхищение было интуитивным, не подкрепленным анализом «Дома Ашеров», одним словом, было чем-то вроде оценки дегустатора, который хвалит вкус вина, сделав несколько глотков, ничего или очень мало зная о секретах виноградаря и производства. Поэтому подаренный томик удивил меня вдвойне — переводом Лориса и его коротким, трехстраничным послесловием.

Я не подозревал такой тонкости и проницательности в этом «неграмотном» (как он говорил о себе) почитателе книг. Коротенькое эссе рисовало творческий путь Э.А.По и выходило за его пределы, в область литературы, одним из отцов которой был, возможно, этот американский новеллист и поэт. Прежде всего скрещение, более того — сопряжение — точности описания (фона, образов, событий) со стремлением к абстрактности. «В непрофессионально переведенном мною рассказе, — писал Лорис, — на первый план выходит жутковатая, правда, но выразительная конкретность героев и пейзажа. Но не это конечная цель, такая конкретность прикрывает существо или духовность персонажей и предметов, не поддающуюся обычному реалистическому описанию. Герои-близнецы, отраженный в пруду дом Ашеров, соприкоснувшись с состоянием человека и неведомым роком, моментально отрываются от осязаемой реальности, превращаясь в призраков самих себя».

Лорис шел дальше, он находил далекое родство между По и Кафкой. Не был ли дом Ашеров Замком, а Родерик и Леди Мэдилен — не жили ли они в тени смертного приговора, как К.? Лорис придавал огромное значение фразе Кафки из «Процесса»: «Где-то ты вычитал, что бывают случаи, когда приговор можно вдруг услышать неожиданно, от кого угодно, когда угодно»<sup>110</sup>. Однако По, хотя и в самом деле страдал манией «приговора», не признавал его «случайности». С другой стороны, в рассказе отсутствует Бог. Итак? Приговор растет в человеке год за годом, словно смертельная наследственная болезнь — болезнь всего рода людского. До той минуты, когда рассыпается все — в руины обращается дом Ашеров, леди Мэдилен в агонии тянет за собой пораженного приступом страха брата. Они умирают вместе. Повествователь в ужасе бежит, но в силах ли он убежать от собственной судьбы? В силах ли убежать от порывистого ветра, зловещего полнолуния, руин дома, поглощаемых окрестными болотами? По, согласно Лорису, был поэтом неизбежного крушения творений рук человеческих и духовного рака, сначала дремлющего, а затем стремительно созревающего в душе человека. Пожалуй, он чересчур обобщил переведенный рассказ. В творчестве писателя можно найти и родственные произведения, и совсем другие.

---

<sup>110</sup> Перевод Р.Райт-Ковалевой.

А чересчур обобщив «Падение дома Ашеро» — словно в нем подводился итог творчества Э.А.По — Лорис несколькими фразами, каким-то очевидным, но неуловимым образом придал рассказу необыкновенно личный характер. Не могу сказать, на чем основано это впечатление. Быть может, ожила ассоциация с «Villa Toscana» на Панарее и сборником рассказов Э.А.По на ночном столике Лориса? А может ярче проступил теперь мираж флорентийских вечеров с Мариной и Лорисом, странное чувство, что они скорее безгранично любящие друг друга брат и сестра, чем супруги? В их любви, в их взаимной нежности было что-то особенное, несвойственное отношениям мужа и жены. Я приписывал это их сходству — даже физическому — словно у близнецов.

#### IV

В последующие три года наши контакты почти полностью прервались. Я не знал, что было тому причиной. Знал лишь, что во время случайной и короткой встречи в Риме передо мной предстал незнакомый Лорис — замкнутый, сухой, не стремящийся к прежним дружеским разговорам. Он спешил, на вопросы отвечал уклончиво; выше меня ростом, глядел куда-то вперед поверх моей головы. Мы встретились в кафе на Piazza del Popolo, он быстро попрощался и выбежал. Я не сомневался, что спешка была притворной. Телефон нигде не отвечал — ни во Флоренции в течение года, ни летом на Панарее: оба их дома оглохли и онемели. Как-то я позвонил в его флорентийский офис. Он ответил и почти сразу сослался на нехватку времени. Роберто и Рут столкнулись с тем же самым. Что-то было не так в жизни Лориса и Марины. Мы гадали, что.

Правду мы узнали, когда уже поздно было советовать, помогать, вмешиваться. И узнали не от них с Мариной, а от братьев Лориса.

Это они были инициаторами встречи в Риме у Роберта и Рут, куда попросили приехать и меня, с согласия Лориса. Мы встретились в мае 1980-го.

Братья Лориса — сдержанные, деловые, преувеличенно вежливые и несколько смущенные нашей встречей «бизнесмены», чьи интересы лежали совсем в другой области, чем у брата были, однако, очень к нему привязаны и по-своему гордились, что у него именно «такие» интересы и «такие» друзья. Их рассказ (потому что начали они именно с него) был сжатым, конкретным и не вызывал дополнительных вопросов по ходу дела. Только потом пришлось устроить «совет».

Весной 1978-го состояние Ирины ухудшилось настолько, что по совету итальянских врачей (главным образом, выдающегося специалиста из Падуи) ее решили отвезти в Швейцарию, к известному бернскому профессору. Собственно говоря, слух не ухудшился, но девочка стала совер-



шенно «intrattabile» — и дома, и в школе. Итальянское слово, подчеркнутое братьями, означало попросту, что с каждым днем нити, еще связывавшие Ирину с окружающими, становились все более тонкими или рвались вовсе. Девочка стремительно замыкалась в себе — «si chiudeva in se» — опасались, что она совсем перестанет говорить, хотя физиологически процент слуха не уменьшался. Многие указывало на то, что, впав в депрессию, она захотела, сама захотела отгородиться от мира — случай исключительно редкий, практически уникальный, потому что, как правило, люди частично глухонемые упорно, почти судорожно цепляются за окружающий мир. У беспомощных и отчаявшихся родителей было ощущение (как однажды признался братьям Лорис), что они наблюдают, как единственный ребенок тонет в водовороте и не могут протянуть ему руку. Тогда они прислушались к совету специалиста из Падуи — быть может, известный швейцарский профессор все же найдет какое-то средство. Лорис и Марина решили справиться с этим самостоятельно, не обращаясь за помощью или советом к родным и друзьям, отгородившись, подобно дочери, от окружающего мира.

Бернский профессор, главный авторитет в области болезней слуха, в течение двух дней вместе с ассистентами обследовал Ирину. Она послушно все переносила, соглашаясь даже на некоторые довольно болезненные процедуры — все время с искоркой надежды в глазах, иногда с трогательной доверчивой улыбкой. Окончательный вердикт профессора, вынесенный им в беседе с родителями в присутствии девочки (Ирина настояла на этом, несмотря на протесты врача), звучал так: несколько лет тому назад начали разрабатывать проект замены мертвых нервов микросхемами — как раз при таких значительных дефектах слуха, как в ее случае; проблема с самого начала и до сих пор упирается в создание хирургических инструментов, точных и невидимых невооруженным глазом; пока что идеальных инструментов нет, но в Париже и Стокгольме есть врачи, готовые оперировать уже сейчас, с большой степенью риска; в случае неудачи пациент может потерять имевшийся ранее процент слуха, т.е. оглохнуть окончательно. Он, бернский профессор, не берет на себя такую ответственность и выжидает, пока микрохирургические инструменты не дадут стопроцентной гарантии точного вживления микросхемы в мертвый нерв. Ирину он обследовал, рассчитывая на возможность паллиативного вмешательства в случае относительно небольшого дефекта слуха. К сожалению, его ожидания не оправдались. Следовательно, остается альтернатива: или вместе с профессором Ф. ждать — неизвестно, сколько — абсолютно безопасной операции в Берне, или рискнуть в Париже или Стокгольме. Врач записал нужные адреса Лорису в блокнот.

Операция в Стокгольме прошла неудачно, Ирина окончательно потеряла слух. Однако она не утратила полностью тех способностей, которыми обладала до операции. Так что, вглядываясь в губы говорящего, она приблизительно могла его понять; по-прежнему могла говорить сама, правда, голосом еще более горловым и «колодезным». Но Ирина сознательно погрузилась в полную изоляцию. Она отказалась ходить в школу при монастыре. Жила (как утверждали братья) с открытыми, но ничего не видящими глазами, вне каких бы то ни было семейных отношений. Родители все время опасались, что она «что-нибудь с собой сделает». В начале июля они решили отправиться с Ириной в панарейский дом. Лорис, помня о том, как в свой короткий приезд во Флоренцию я сумел хотя бы отчасти найти с девочкой общий язык, просил меня летом провести какое-то время на Панарее.

«Совет» после рассказа братьев продолжался недолго. Обсуждать было нечего. Мы еще уточнили какие-то детали, затем наступила печальная тишина. Я прервал ее, обещая построить свой летний отдых так, чтобы август провести в «Villa Toscana».

## V

Тот август оказался для меня тяжким. Сначала Ирина ходила со мной по утрам на пляж, мы брали лодку и выплывали в открытое море. Из-за жары нужно было постоянно прыгать в воду, чтобы не получить солнечного удара. Девочка плавала очень хорошо, но каждый раз, когда она отплывала далеко от лодки, я плыл рядом. Бывало, она поддразнивала меня и удирала, но, в основном, все проходило гладко. Однако психологическое сопротивление Ирины сломить было невозможно — пришлось распрощаться с надеждой на восстановление прежней взаимной симпатии. Девушка «закрылась» и от меня. Родители до обеда проводили время дома и ходили к морю во второй половине дня, когда мы с Ириной спали после долгого купания: я — в башенке, она — в своей комнате или на террасе.

Ей было тогда пятнадцать лет, природа компенсировала физический недостаток. Это была уже взрослая девушка, очень красивая, оформившаяся, словно молодая женщина. И Ирина отдавала себе отчет в собственной красоте и физической зрелости. Чувствуя на себе взгляды мальчишек на пляже, она ненадолго веселела, но не улыбалась.

Особенно тягостны были совместные вечера. Поскольку мы не обедали, ужин оказывался единственной возможностью собраться всем вместе. Ни Лорис с женой, ни я не знали, как себя вести. Если мы втроем говорили между собой, не обращая внимания на Ирину, она сразу после ужина уходила к себе. Попытки заинтересовать ее и втянуть в разговор,

медленно «переводя» все реплики (лучше всех это получалось у Марины), не только ничего не давали, но еще более ожесточали Ирину — она сидела, опустив голову, нахохлившись, словно на краешке стула, словно готовая убежать. Честно говоря (хотя никто из нас не высказал бы этого вслух), мы не могли сдержать вздоха облегчения, видя, как, закончив ужин, она встает из-за стола. И только тогда ощущали искусственность наших разговоров в ее присутствии; можно было наконец посидеть в благословенной тишине или до поздней ночи слушать пластинки.

Середина августа — традиционный *solleone* — иссушила островок волной африканского безветрия. Невозможно было босиком пройти по раскаленному песку на пляже, трескались камни в оградах вокруг домов, посерело испепеленное небо, деревья и кусты (даже *piante grasse*, т.е. кактусы) утратили зеленый цвет, стали дряблыми, покрылись висевшей в воздухе горячей пылью. Часы купания сузились до полоски после зари (лунной), морская вода стала похожа на теплый и клейкий суп. Испугавшись, мы отказались от катания на лодке. Почти весь день проводили в доме, и лишь когда темнело, решались выйти на террасу.

Ночи не только приносили облегчение — благодаря своей красоте, легкому ветерку и небу настолько разноцветному, что оно казалось инкрустированным, — но и возвращали миру равновесие. Из моей башенки я заметил на *Calaiunco* компанию купающихся молодых ребят. С тех пор после полуночи, когда дом как будто засыпал, Ирина выходила через заднюю калитку и быстрым шагом, почти бегом спешила на *Calaiunco*. Это повторялось каждую ночь, возвращалась она перед рассветом с восторженным выражением лица. Девушка не знала, что с башенки я наблюдаю за ней. Нет, мне не приходилось сомневаться в том, что происходило на *Calaiunco* среди скал полуострова, на клочках прибрежной полосы. Но я был так счастлив, исподволь рассматривая девушку на следующий день, что махнул рукой на ее пятнадцать лет, сохранил все в тайне от родителей, и когда однажды перед рассветом она, на цыпочках проскользнув в калитку, заметила меня наверху, мы словно бы стали сообщниками. Возродилась наша флорентийская дружба. Лорис и Марина были уверены, что дело только в этом: что просто вернулась симпатия дочери к их другу. И тоже были счастливы. Я со страхом думал лишь об одном — достаточно ли осторожны Ирина и ее партнер (я был уверен, что на *Calaiunco* у нее есть «постоянный» парень). Я утешал себя, что он старше и знает, что делает. Но, к сожалению, не сомневался, что речь идет только о коротком каникулярном романе. И в самом деле, однажды в конце августа девушка вернулась домой почти сразу, закрывая ладонями глаза, видимо, плача.

К счастью, через несколько дней мы все сели на неаполитанский паром. И попрощались в порту, у такси, которое должно было отвезти их

к флорентийскому поезду. Лорис и Марина наперебой обнимали и целовали меня, выражая, разумеется, благодарность. А Ирина? Она обвила мою шею руками, прижалась своим мокрым лицом к моему лицу.

## VI

После летних каникул 1980-го я был занят только своими собственными делами. Нужно было уладить некоторые семейные проблемы; да и меня время от времени беспокоили боли, о которых мой друг, врач, ничего определенного сказать не смог и посоветовал лечь на обследование, что для меня в тот момент было исключено. В тот момент, поскольку после длинной бесплодной паузы я наконец снова стал писать; новый текст по мере продвижения вперед казался мне все более важным и полностью поглощал внимание. Я из тех писателей, что пишут очень медленно, к тому же перерывы, предназначенные для передышки, для того чтобы дать мысли отдохнуть, я привык — в силу характера и внутренней дисциплинированности — заполнять лежащим на столе и постепенно продвигающимся вперед писательским проектом. Бывает, что я вроде бы разговариваю с близкими, но на самом деле отсутствую, и даже во сне вижу не фрейдовские «остатки дня», но обрывки растущей рукописи.

Да, я — как всегда в подобных обстоятельствах — отсутствовал или полуприсутствовал, автоматически выполнял домашние обязанности, что-то отвечал на вопросы жены и детей, невнимательно читал письма (не отвечая на них), телефонные разговоры свел к неизбежному минимуму, наверняка разочаровывая тех, кто находился на другом конце провода. Суров, если не просто-напросто жесток эгоизм так называемого «творческого процесса»: многие читатели удивились бы, узнай они, какую на самом деле цену платишь за выражение чистых чувств.

Эгоизм заслонил семью Берарди. Я уговорил себя, что летом на Панарее «сделал свое дело», что рано или поздно приходит момент, когда необходимо оторваться от «чужих драм». И потому поспешно заканчивал телефонные разговоры с Лорисом, забывая, положив трубку, о чем шла речь. Так же относился к звонкам Марины. Все усложнялось тем, что Роберто с Рут на год уехали в Штаты, где Роберто предложили прочесть курс лекций в одном из университетов. Т.е. замолчал и Рим, который играл такую большую роль в треугольнике нашей дружбы. Сегодня я думаю о своем тогдашнем поведении с глубоким стыдом. И с тенью отвращения — о ложных путях, западнях и ловушках гипертрофированного «я».

В мае 1981 года меня выбил из этого состояния (отрезвлению способствовало, впрочем, и выведенное в рукописи слово «конец») неожиданный визит старшего из братьев Берарди, на несколько дней приехавшего

в Неаполь по торговым делам. Он остановился в большой гостинице на прибрежном бульваре и пригласил меня к себе на ужин.

Я сразу после обмена традиционными любезностями понял, что просто не заметил намеков, заключенных в звонках Лориса и Марины; намеков, потому что они не хотели (и я хорошо их понимаю) о самом важном и в то же время самом тревожном говорить открыто, да еще по телефону. Николо, брат Лориса, тактично, с обаятельной застенчивостью дал мне почувствовать, что мои флорентийские друзья предпочли посчитать меня неожиданно оглохшим и отупевшим, чем доверить телефону свои «болезненные секреты». Эти «болезненные секреты» заключались в том, что вернувшись после каникул во Флоренцию, Ирина «впала в сексуальное безумие» (выражение Николо). Ее родители, естественно, не знали, что, началось это «безумие» в августе на Панарее. Так или иначе, пышнотелая и красивая девушка на пороге шестнадцатилетия бросилась в открытое море романов. Неизвестно даже, только ли с ровесниками, потому что нередко поздним вечером или утром ее привозили домой взрослые мужчины. Она вела себя вызывающе, словно таким образом по-детски мстила родителям за врожденный дефект слуха. А они боялись, просто боялись вмешиваться, потому что — так им, во всяком случае, казалось — тогда потеряли бы дочь безвозвратно.

После ужина, майской ночью мы пошли по бульвару в сторону Мергеллины. Было уже тепло, мы часто останавливались, облокотясь на балюстраду над прибрежными скалами; не требовалась особая интуиция, чтобы почувствовать — рассказ Николо еще не закончен. Действительно, в кафе у стоянки глассеров он, ерзя на стуле, поведал эпилог.

Полбеды еще (он говорил шепотом) с этим проснувшимся до поры сексуальным аппетитом. В конце концов, можно было считать, что природа таким образом компенсирует инвалидность. Лорис и Марина утешали себя, что это развеет постоянную печаль дочери, что было явным самообманом — Ирина в своих романах выплескивала наружу отчаяние и ярость, прежде всего ярость. Вскоре, несколько месяцев тому назад, она попала в сеть наркотиков. Тут уж нечего было тешить себя иллюзиями. Девушка без конца вымогала у родителей деньги, иногда подолгу не жила дома, стала агрессивной. И вот в день своего шестнадцатилетия, 23 марта 1981 года, Ирина потихоньку собрала дорожную сумку и исчезла из дома. Оставила на ночном столике короткую записку — «Не ищите меня. Addio». Лорис, однако, бросился ее искать и в конце концов чудом набрел на след в бюро путешествий. Ее фамилия значилась в списке купивших билеты на самолет Милан—Дели. Слишком поздно было жалеть, что в начале года Лорис поддался уговорам дочери и, согласно закону, помог ей получить паспорт, и что он никогда не решался отказать, если

Ирина просила денег. Что теперь делать? Он хочет ехать в Индию — а это значит искать иголку в стоге сена. Пусть он хоть едет не один. Наступило молчание. Наконец Николо решился: «Вы ведь были когда-то в Индии, правда?»

Я знал, к чему он клонит, с опаской заглядывая мне в глаза. И без малейшего колебания согласился на следующий день отправиться с ним во Флоренцию.

У него была машина; по моей просьбе в Рим, где я попросил его остановиться на несколько часов, мы поехали не по автостраде, а по старому шоссе Domiziana. С некоторых пор меня стала утомлять пустота автострады, старое же шоссе, проходящее через жилые районы, правда, отнимало больше времени, но дорога среди людей и домов казалась мне короче, чем лента автострады (хотя все было наоборот). Для тех, кто любит размышлять о проблеме времени — маленький пример феномена его относительности.

Перед отъездом из Неаполя я позвонил в Рим своему другу и пригласил его пообедать с нами близ площади Испании. Мой друг — его называли уменьшительным Джованнино — работал в крупнейшей столичной газете. Он занимался наркотиками, в журналистских кругах его прозвали «*parcologo*», или «*narcogiornalista*». Он и в самом деле был специалистом, его часто приглашали на международные научные и полицейские конференции. Лучшим доказательством профессионализма Джованнино служили неоднократные покушения на него в темных римских переулках, не увенчавшиеся, правда, успехом, но явно содержавшие угрозу; однажды кто-то, зайдя в дом под предлогом проверки электросчетчика, подложил в квартиру бомбу.

Мы быстро пообедали, отложив серьезный разговор до кофе. Николо слушал молча. Собственно говоря, я тоже и лишь время от времени просил моего друга пояснить ту или иную деталь, делая пометки в блокноте. Естественно, я расспрашивал его об Индии. Уже три года, как район Бенарес, или Банарас (а точнее говоря — Варанаси) стал излюбленным местом итальянских наркоманов. Неизвестно, что служило тому причиной. Правда, там легко было достать наркотики и стоили они дешевле, чем в Европе, но за это приходилось платить дорогой ценой бездомности, тяжелого быта, достаточно враждебного отношения местных жителей. Так что, в сущности, растущий с каждым месяцем интерес итальянских наркоманов к этому месту — явление загадочное. Они живут под открытым небом, на полях, с которых на рассвете их гонят крестьяне-индусы, и на длинной песчаной отмели Ганга. Разве что — грустно улыбнулся Джованнино — их привлекает расположенная рядом территория, большая территория, где жители окрестных деревень ежедневно кремируют умер-

ших. Умерших итальянских наркоманов тоже можно там сжигать, это универсальный обряд, национальность и вероисповедание не играют никакой роли. Нужны лишь щепки да дрова.

Джованнини не знал, чем вызван мой интерес, хотя и пытался по-журналистски что-то разузнать. Николо позвонил из ресторана во Флоренцию. Поздно, около полуночи мы приехали на Monte Oriolo, где нас с нетерпением ждали Лорис и Марина.

## VII

После звонка из Рима Лорис уже успел купить два билета Милан—Каир—Калькутта и обратно. Из Калькутты до Бенареса нужно было ехать поездом, самолеты на все ближайшие недели были переполнены. До Милана с нами на машине деверя поехала Марина, которую с трудом удалось отговорить от поездки в Индию. Рейс был вечерний. На аэродроме Марина повисла у мужа на шею и громко, словно обиженный ребенок, расплакалась. Я взял под руку бледного Лориса, он не возражал, наоборот, прижался ко мне и больше не отходил — все время полета, даже во сне. Мужественный, храбрый Лорис не в силах был справиться с внутренней паникой. Ночная пересадка в Каире немного его отрезвила. На вокзале в Калькутте мы успели пообедать, прежде чем втиснулись в переполненный — вплоть до верхних полок и крыш вагонов — поезд на Бенарес. Нам — видимо, как иностранцам — разрешили вдвоем занять одно место у окна.

Я пробыл в Индии четыре дня в 1952 году, когда возвращался из Бирмы в Лондон. На Калькутту пришлось неполные сутки. Выписываю из своего дневника «Путешествие в Бирму» самое яркое калькуттское впечатление: «Недалеко от храма богини Кали за невысокой стеной расположен открытый крематорий. Вертикальные полосы дыма в дрожащем от жары воздухе кажутся шаткими столбами, они поднимаются к небу из ям разной величины, в которых родственники умерших обкладывают останки вязанками дров и хворостом. В нескольких углублениях лишь белеют горстки пепла, но во многих торчат еще среди тлеющих веток недогоревшие руки и ноги. Люди входят и выходят из крематория так равнодушно, словно участвуют в спокойном народном обряде. В воздухе стоит чад сожженных тел и запах горящего дерева; дым разъедает глаза, жаром пышет пламя костров, жар льется с неба, обращая землю в желто-коричневую корку. Мы бежим от него через ворота, вниз, несколько десятков метров, к Гангу, где посреди высохшего русла течет лишь узкая струйка воды, а в жидком прибрежном иле неподвижно лежат белые коровы».

Мы проезжали мимо желтых выгоревших полей, испещренных ручейками и лужами, которые высасывало солнце и жадно пила губчатая

земля. На тропинках виднелись группы полуголых босых мужчин с обвязанными головами, с длинными палками, иногда бредущих за мулом или тощей лошастью. На горизонте, словно фата-моргана, возникали и исчезали пятна зелени. Поезд шел медленно, тяжело посапывая, поэтому вблизи небольших станций за ним бежали под насыпью стайки маленьких оборвышей и пискливыми голосками просили милостыню.

Мы дремали в углу, при каждом пробуждении перед нами открывалась абсолютно одна и та же картина. До такой степени, что лишь стук колес по рельсам и сопение локомотива свидетельствовали о том, что мы едем; вид за окном говорил о неподвижности. И эта неподвижность — я помнил ее по предыдущей поездке — казалось, царила везде, словно бы отражая паралич всей страны. Естественно, только за пределами больших городов. Они, особенно Калькутта, но и Дели тоже, представляли собой неистовый, лихорадочный, бессознательный контраст с этой неподвижностью.

Просыпаясь, я исподтишка поглядывал на лицо Лориса. Оно выражало смесь страха и паники; неизменный, многократно повторяющийся пейзаж, должно быть, лишал человека нездешнего надежды найти что бы то ни было или кого бы то ни было в спящей стране — сном, правда, неглубоким, но беспробудным.

До Бенареса мы добрались ночью. Рикша, мешая английские слова и жесты, довез нас до гостиницы и пообещал на следующее утро доставить к цели нашего путешествия. Он знал, что мы ищем, и повторял «Italian, Italian», потом «droga, droga» — по-итальянски «наркотики».

Сомневаюсь, что мне удастся верно описать конечный пункт нашего путешествия; так же, как сомневаюсь, что можно установить истинные мотивы вторжения итальянских наркоманов на клочок поля и пляжа, за тысячи километров от их родной страны. Я уже упоминал о дешевизне наркотиков и кажущейся их доступности, которые нельзя сбрасывать со счетов, но это мало что объясняет. Нельзя забывать и о другом аргументе (предположение римского журналиста, моего друга) — начинающим, особенно молодым наркоманам свойственно стремление создать своего рода коммуну, скрытую даже от мимолетных взоров земляков — но и это мало что объясняет. Поэтому придется признать, что речь идет о какой-то иррациональной тяге, сущность и причины которой непонятны даже тем, кто ее испытывает.

По узкой дороге рикша подбросил нас до края поля и твердо заявил, что дальше не поедет. Было ясно, чего он боится: крестьяне, вооруженные, помимо орудий для возделывания земли, чем-то вроде багров, сердито поглядывали в нашу сторону. За полем тянулась широкая и длинная отмель, лениво омываемая водами Ганга.



По этой отмели сновали десятки, если не сотни молодых людей, парней и девушек; они производили впечатление лунатиков или пьяных, их качало на ходу, они то садились, то вставали, некоторые лежали неподвижно, видимо, спали. В конце проселочной дороги под защищавшей от солнца крышей-зонтом располагался пост индийской полиции. Один из трех полицейских, очень вежливый, хорошо говорил по-английски. От него мы узнали самое главное.

Индийские законы и порядки не допускали никакого вмешательства. Наркотики не запрещены, сюда может приехать каждый, имея действительный паспорт и визу. Никому не запрещалось жить на отмелях в стране, один из крупнейших городов которой, Калькутта, побил рекорд по числу ночующих на улице нищих — около миллиона человек. Единственное, что могло сдержать волну молодых итальянских наркоманов, это визовые ограничения — их ввели, но только в последнее время. В данный момент на гангском пляже живут и употребляют наркотики примерно двести человек. Трое полицейских дежурят здесь днем и ночью, чтобы защищать пришельцев от нападений крестьян, охраняющих свои поля — вначале, два года тому назад, их считали лучшим местом для ночлега и затапывали. С какого-то времени стали учащаться случаи смерти наркоманов от передозировки. В близлежащем крематории им выделили восемь ям в первом, параллельном отмели, ряду. Они сами должны добывать дрова и хворост, чтобы разжечь костер, но это несложно. Зато сложно заставить итальянских наркоманов регистрировать умерших и сожженных. Они сжигают их, не обернув белой простыней, как местные индусы, а в одежде и со всем имуществом, в том числе и документами. За два года постовые чудом зафиксировали всего двадцать три смерти, хотя известно, что умерло (особенно в последние месяцы) несравненно больше. Вот копия списка, посланного в итальянское консульство в Дели.

Белый как мел, Лорис проглядел список, едва удерживая в дрожащих пальцах листок бумаги. После этого вместе с вежливым полицейским мы пошли по меже на реку. Быстро выяснилось, что расспрашивать сидевших или лежавших на песке наркоманов бессмысленно. Ответом на вопросы об Ирине были безумные взгляды, отсутствующие, затуманенные. Но мы искали живую Ирину, поэтому переворачивали каждую спящую на животе (а вернее, одурманенную или угоревшую) девушку. Наконец на самом конце отмели мы заметили парня, сидящего несколько в стороне и глядящего на воду. Он находился под действием наркотика, но не полностью, а на пограничье одурения и остатков ясного разума. Да, он дружил с девушкой по имени Ирина, глухонемой, хотя она немного говорила и слышала. «Собственно, я ее любил, — бросил он задумчиво. — Она умерла позавчера, слишком много себе вколола». Ее сожгли прошлой но-

чью в третьей яме слева. Нет, туда он больше не пойдет ни за какие деньги. Пожалуй, он вернется в родную Болонью.

Здесь следовало бы сменить регистр повествования. Но нет, мне хочется поскорее добраться до конца главы. Полицейский отвел нас в крематорий. Третья яма слева оказалась до краев полна пепла, так что Ирина была тут не единственной. Тем не менее, Лорис опустил на колени и высыпал несколько горсточек пепла в полиэтиленовый пакет, который дал ему полицейский. Перед отъездом из Бенарес он купил металлическую урну с выгравированной надписью «*Aches for Almighty*» — «Прах Всемогущему». Глаза у Лориса были сухие, и он почти перестал говорить. Его брат Николо сообщил мне потом в коротком письме, что урну установили в подвале «*Villa Toscana*» на Панарее.

## VIII

В это трудно поверить, но то, что я скажу теперь, — правда. На протяжении следующих четырех лет, до сентября 1985, я видел Лориса с женой лишь однажды, на похоронах Роберто в Риме 18 ноября 1983 г. После первого инфаркта весной 1983 г. Роберто поправился настолько, что снова смог писать, в хорошую погоду гулял с Рут или друзьями (в том числе со мной) по Риму, одновременно таким любимым и нелюбимым. Ничто не предвещало внезапного конца. Но внезапный, неожиданный конец — специфика сердечных болезней. Роберто как раз записал дискуссию на радио, в хорошем настроении вошел в лифт на четвертом этаже, начал шутливый диалог с участником дискуссии и вдруг, едва лифт пошел вниз, он бессильно опустил на пол и тихо вскрикнул, словно подавившись. Смерть была мгновенной, можно сказать, что сердце разорвалось или было пронзено стилетом.

Мы прощались с ним на Верано; Рут вел под руку брат Роберто, его сестра шла за гробом между Лорисом и Мариной. Мои традиционные объятия с флорентийскими друзьями после похорон терлись в черед других и были удивительно формальны. За воротами кладбища Лорис взял такси и поехал с женой на вокзал, к ближайшему поезду во Флоренцию; они «к сожалению, не могли» проводить родственников Роберто до квартиры покойного. Это сделал я. За кофе мы больше говорили об отсутствующих друзьях из Флоренции, чем о Роберто. Рут шепнула: «Каждому его боль кажется самой важной и глубокой, пусть даже она остыла — в отличие от свежей, но чужой».

Боль родителей после смерти Ирины не остыла, несмотря на то, что прошло два года. Я знал об этом из коротких и редких писем брата Лориса. В последнем он писал, что Лорис с Мариной замкнулись на Monte

Ogiolo, ни с кем не встречаются; Лорис ездит по будним дням в свой офис на берегу Арно; если в отсутствие секретарши сам снимает трубку, то на звонки отвечает неохотно и коротко; ровно в пять возвращается домой. Марина не показывается вообще, забросила все, чем жила прежде — сад, рукоделие, — целыми днями слушает пластинки или сидит неподвижно в комнате дочери, вглядываясь в ее фотографии на стенах (с детства до бегства из Флоренции). Они перестали проводить каникулы на Панарее. «В Неаполе, кажется, — заканчивал свое письмо Николо, — распространены случаи изоляции от мира и превращения квартиры в склеп или кладбищенскую часовню после утраты близких. Но во Флоренции?»

Изоляция от мира после смерти близких, превращение квартиры в склеп для живых представлялись мне — судя по неаполитанским наблюдениям — способом не терять связи с умершими. В основе лежит подсознательное опасение, что возвращение в мир окажется предательством по отношению к тени, предательством по отношению к людям, продолжающим жить только благодаря нашей памяти и обреченным на вторую, медленную смерть по мере нашего погружения в жизнь после их ухода. Я никогда не видел такой неапольской квартиры, но хорошо знаю, что феномен дружбы неаполитанцев со смертью — неистребимая черта жителей (быть может, не всех) этого города. Она выражается и в светлой атмосфере, окружающей посещения кладбища, и в особом отношении к могилам, иногда доходящем до крайностей — как в известном случае с вдовцом, который установил на крыше своего дома подзорную трубу, навел ее на могилу жены на близлежащем кладбище и проводил с супругой многие часы. Да, таков Неаполь, очень материальный в своем общении с умершими, в этом смысле Николо был прав. Но существует феномен более общий, выходящий за границы давнего греческого Юга, т.е. за территорию Королевства Неапольского и Обеих Сицилий, охватывающий всю Европу, если не весь Запад. Феномен, описанный и классифицированный — в расцвет Просвещения! — в книге немецкого монаха Герлихера «О призвании умерших», своего рода пособию, которое должно было облегчить живым причащение с духами их умерших. Даже во Флоренции...

Летом 1984 года обстоятельства заставили меня отправиться на неделю на Стромболи, где проводила каникулы часть моей семьи. Взяв у друзей моторку, я причалил к панарейской пристани. Прогулка должна была занять не больше половины дня — от обеда в ресторане у пристани до вечера.

Хозяин ресторана, «доверенное лицо» Берарди на Панарее и мой хороший в прошлом знакомый, дал мне ключ от «Villa Toscana». Он не преминул укоризненно заметить, что с какого-то времени Лорис перестал присылать деньги на поддержание порядка и чистоты на вилле. И не от-

зывается на письменные напоминания. Если я встречу его в Риме или Флоренции, не мог бы я предупредить его, что в панарейском климате это означает обречь виллу на постепенное разрушение?

Я убедился в справедливости этого предупреждения, едва переступив порог. Поскольку дом не проветривали, стены покрылись плесенью, потолок набух, по углам в паутине томилаcь масса мертвых сухих насекомых, книги на полках разбухли от сырости, лестница на второй этаж зловеще трещала, двери в башенку и в подвал (где стояла урна с прахом Ирины) заржавели и перекосились, не давая пройти, в полу качался и кое-где выскочил кафель. Вид был плачевный, даже трогательный, помню, что я произнес себе тихо: «Падение дома Берарди». Едва я шепнул эти слова, невидимая рука толкнула меня к ночному столику у кровати Лориса. Там, как и прежде, лежал — только более влажный, чем книги на полках, почти мокрый и с зубчатыми, объеденными муравьями страницами — сборник рассказов Э. А. По «Падение дома Ашеров».

На панарейской пристани работал летом маленькое почтовое отделение. Перед возвращением на Стромболи я послал оттуда телеграмму Лорису. Она осталась без ответа. Только в середине августа следующего года в Неаполь пришло длинное письмо. Открывая последнюю, страшную главу в наших отношениях.

Письмо было длинным, хаотичным, паническим. Сама форма свидетельствовала о нервном напряжении Лориса. Содержание, суть приходилось извлекать из путаных, часто неоконченных фраз, написанных так, словно их постоянно сопровождали сухие рыдания. Письмо начиналось с извинений, к счастью, кратких и в границах чувства собственного достоинства. «Пойми меня, история нашей дочери довела меня до психической болезни. У меня были два друга — ты и Роберто. Тебя я молю о прощении. Что касается Роберто, у меня остается слабая надежда, что он умер, чувствуя, как смертельно я был поражен и ранен. Теперь я обращаюсь к тебе не только с просьбой о прощении, но и с просьбой о помощи. Месяц тому назад у Марины обнаружили рак груди, ее тут же прооперировали (слишком поздно), по мнению врачей, она доживет максимум до конца года. Но она не хочет умирать во Флоренции, хочет навеки закрыть глаза на Панарею. Поскольку переубедить ее невозможно, я наконец согласился (это настоящее безумие по разным причинам, объяснять которые тебе нет необходимости), и мы едем в последних числах месяца. Сам я не справлюсь, приезжай в сентябре, если тебе удастся оторваться от своих занятий и своей семьи. Я понимаю, что прошу тебя об очень многом: У меня нет другого выхода».

Это был единственный четкий фрагмент письма. Все остальное — запутанное, сумбурное — заслуживало слова «неразбериха». С тяжелым

сердцем я раз за разом перечитывал свидетельство помутившегося разума моего друга.

## IX

Я приехал 10 сентября, раньше не удалось. Панарейский дом Берарди убрали только по верхам, присутствие тяжелобольной исключало возможность капитального ремонта. Открыли обе двери и все окна, так что сентябрьское, еще горячее солнце, быстро высушило плесень на стенах, но не смогло полностью рассеять затхлый воздух. Нанятая Лорисом служанка вымела из углов под потолком паучьи гнезда, вымыла дырявые полы и скрипящие лестницы, на нижнюю террасу вынесла наиболее пострадавшие книги, инструменты из мастерской Марины, кухонную утварь. Не удалось открыть проржавевшую и осевшую дверцу в башенку, такой же непреодолимой преградой оказалась дверь в подвал — пока наконец Лорис не вырубил ее топором и не отнес в кладовку, превратив, таким образом, подвал в отделенную несколькими ступеньками часть первого этажа. Дом теперь выглядел приличнее, хотя и не утратил примет прежнего запустения; осталось ощущение временно убранной, но скрытой и притаившейся в стенах гнили. Поскольку вход в башенку был заблокирован, я поселился в комнате Ирины, за стеной у меня была осиротевшая больная мать и, конечно, Лорис, чью кровать немного отодвинули от Мариной.

Раз в два дня со Стромболи приезжал врач и в случае необходимости привозил лекарства. Он уезжал перед обедом, который проходил у кровати Марины. Она уже едва вставала, Лорис мыл ее — иногда осторожно водил в ванную, иногда в кровати. Я восхищался его заботливостью и сноровкой санитара, хотя что было восхищаться, если на лице его было при этом написано счастье?

Лорис и я сменяли друг друга. Он принимал врача, ухаживал за Мариной до обеда, помогал девушке на кухне. Я утром уходил и возвращался к обеду. После обеда, вытолкав Лориса из дома, дежурил при больной до сумерек. Вечера мы с ним оба проводили с Мариной. Часто засиживались до полуночи, но, как правило, меня отсылали к себе около десяти.

Сентябрь был жарким, но приятно бархатно жарким, обдуваемым периодически налетавшим с моря ветром. Я слонялся по острову полуголый, иногда, чтобы охладиться, бросался в воду или дремал в тени деревьев под стеной кладбища. Опытные местные жители предсказывали дождливую и неприятную осень, кое-кто уже готовился пораньше уехать на Сицилию.

Прогулки по острову походили на путешествие по собственной комнате. Он был слишком мал, чтобы можно было успеть «разбежаться» — за

четверть часа я преодолевал расстояние от пристани до Calaiunco. Я знал каждый камень, каждый куст, каждую яму на тропинке. Знал и всех жителей, порой останавливавших меня, чтобы немножко поговорить. «Come sta la moglie di Loris? Speriamo» — «Как жена Лориса? Не будем терять надежды». Лориса после обеда они останавливать не могли, потому что он большей частью спал на пляже среди скал.

Такова была наша жизнь в конце лета. Марина тогда еще чувствовала себя не очень плохо, приступы острой боли мучили ее относительно редко и проходили после уколов морфия. Хуже было с бессонницей. Это за ее и свои бессонные ночи отсыпался Лорис на пляже после обеда.

Я размышлял, почему она так стремилась уехать из Флоренции на Панарею, зная, естественно (она ведь когда-то изучала медицину), что едет туда умирать. Я не говорил об этом с Лорисом, мы вообще словно заключили пакт о молчании в том, что касалось Марины (и Ирины). Глупо было предполагать, что Марина хочет умереть рядом с прахом дочери, в конце концов эту урну легко можно перевезти в дом под Флоренцией. С островом ее связывало что-то очень личное и таинственное, что-то (такова была моя туманная, но самая стойкая догадка) вырастающее из истории их любви и совместной жизни; а также — хотя это уже сложнее внятно объяснить — из ощущения, которое давал сам остров, ощущения хрупкой и смутной (благодаря морю вокруг) границы между жизнью и смертью. Нельзя умереть окончательно, навсегда, если в момент смерти глядишь в осколок космоса, легким шагом переходя в иное измерение. У космической «pietas» была благодаря оторванности микроскопического острова от мира сестра — космическая «смерть-не-смерть». Но размышляя таким образом, я тут же начинал укорять себя за литературно-философские преувеличения. Однако они оказались ближе к истине, чем я думал.

После обеда, в начале моего дежурства, Марина очень ненадолго засыпала; поверхностный, неглубокий сон постоянно прерывали тихие стоны, когда она меняла позу. С самого начала она просила меня держать ее ладонь в своих. Ворочаясь, постанывая, она часто вырывала ее, у меня же было ощущение, что я хватаю и отпускаю руку тонущей. Лорис однажды увидел ладонь Марины в моей, побледнел и быстро вышел из комнаты.

В четыре она приходила в себя, пила приготовленный заранее холодный кофе, принимала прописанные лекарства, протирала лицо одеколоном и ежедневно требовала «свою пластинку». Это был скрипичный квинтет Шуберта, написанный композитором якобы за несколько часов до смерти. Даже не будучи знатоком музыки, а лишь ее любителем, я впитывал квинтет со сжимавшимся сердцем и горлом, со странным привкусом освобождения. Я видел в нем гениальное произведение об агонии, закончившейся победой над смертью. «Смерти нет», как кончается при от-

блеске далекого света, за мгновение до кончины героя, толстовский рассказ об Иване Ильиче. Бывало, устав слушать «свою любимую пластинку» (другие она не захотела взять из Флоренции), Марина заставляла читать ей вслух стихи — меня, лишенного ораторского дара. Она любила русскую поэзию, хотя дома родной язык выучила плохо. Но само звучание стихов словно бы возвращало ее к прежним забытым корням.

Вечером мы с Лорисом состязались в красноречии, чтобы привлечь и поддержать, насколько удастся, ее внимание, отдавая себе отчет в тщетности наших усилий.

В Лондоне, сразу после войны на моих глазах умирал близкий мне человек — от рака груди с метастазами, точно такого же, как у Марины. В какой-то день ее навестил в больнице давний друг, бывший в Лондоне проездом; во время приступа боли, изменившего ее лицо, он осторожно и нежно положил широко открытую ладонь на оперированную грудь — жестом ласки, любви к ее больному телу. Судорога боли исчезла, сменившись слабой улыбкой. Я знал, что тот, кто сделал это, вызвав столь неожиданную реакцию, был когда-то любовником умирающей; я не мог рассчитывать, что Марина прореагирует так же на мою руку, которую, стремясь смягчить боль, я положил, словно в любовном трансе, на место ее отрезанной груди, на толстую повязку. Но и она взглянула мне в глаза с благодарной улыбкой. Лорис отвернулся.

\*

Было ясно, что в ее отношении к Лорису что-то изменилось. После смерти ли их дочери или после того как был поставлен диагноз ей самой, я не знал. Я видел только его усиливающиеся страдания и ее усиливающееся равнодушие. Быть может, поэтому он не хотел оставаться с ней один и умолял меня приехать в их панарейский дом.

С середины октября начали сбываться прогнозы местных жителей. Пошли ливни — обильные, с редкими паузами в послеобеденные часы, — поднялось и стало беспокойным море, заливая пляжи и часть пристани. Врач со Стромболи не мог приезжать через день, он пользовался минутами затишья, сократил свои визиты, потирапливал нас и не скрывал спешки, чуть ли не паники. По правде говоря, не так уж он был и нужен. У нас были большие запасы лекарств, а врачебный осмотр оказывался пустой формальностью. Марина вступила в предсмертную стадию: боли постоянно усиливались, их признаком были уже не прежние постанывания, но едва сдерживаемый крик. Мы ничем не могли ей помочь, Лорис в полуобморочном состоянии крутился по комнате. Марина попросила переставить кровать изголовьем к морю. Она напряженно

вглядывалась в морские волны; я был уверен, что она надеется: эта картина поможет ей обрести равновесие для приступов боли. И она его обретала. Происходило какое-то необыкновенное чудо, подтверждавшее мои прежние (преувеличенные, как я себя укорял) ощущения. Взглядом Марина словно бы уходила за морской горизонт, казалось, она плывет туда, далеко от нас, а затем возвращается. Она бросала вызов приближающейся смерти, приручала ее. И мы действительно не знали, умерла ли она 3 ноября с открытыми, по-прежнему живыми глазами, прилепившимися к клубящимся морским волнам с какой-то нечеловеческой мертвой силой. Только эта нечеловеческая мертвая сила, эта неподвижность взгляда — последнего взгляда — убедила нас в том, что она мертва. Лорис закрыл жене глаза, опустился у кровати на колени, положил голову Марине на грудь и разразился плачем, хочется сказать, плачем плачей, всех прежде сдерживаемых плачей. Я взял в ладони ее руку, свисавшую с кровати, не столько повторяя то, о чем Марина меня просила когда-то, сколько движимый потребностью убедиться в том, что она на самом деле умерла. Да-да, она умерла на самом деле — пульс оборвался, — но для меня сохранила под веками остатки неугасшей жизни. «Ты вернешься», — вырвалось у меня (честно говоря, вырвалось у читателя книги монаха Герлихера «О призывании умерших»). Я произнес вслух это слово, пробудившее Лориса из его плача, словно его ударили по согбенной спине. Он встал и посмотрел на меня прежним дружеским взглядом, но с проблеском не то удивления, не то веры, надежды и доверия. Тогда, видимо, и родился наш молчаливый союз, который у него обратился сначала в глубокую ко мне антипатию, а потом в тяжелую апатичную депрессию.

## Х

Единственный на острове столяр сколотил примитивный гроб и крюками прикрепил к нему крышку. Лорис нанял у панарейских рыбаков моторку с экипажем, которая должна была отвезти его и гроб в Мессину. Там он собирался сесть на обыкновенный пассажирский корабль, идущий в Палермо. Но оказалось, что в этом нет необходимости, потому что небольшой крематорий был и в Мессине. Через три дня Лорис появился дома с урной, на которой виднелась надпись «Eterno Riposo» — «Вечный Покой». Мы вместе спустились в подвал и поставили урну Марины рядом с урной Ирины. Лорис позволил себя обнять, но я ощутил в нем сопротивление, он не ответил на мой жест и уклонился от поцелуя. Возможно, оттого, что заметил следы моего посещения подвала в его отсутствие. Мгновение поколебавшись, он затем сам подошел ко мне и положил голову мне на плечо, как в начале путешествия в Индию. Види-



мо, немного подумав, он все же решил и дальше верить в наш молчаливый союз.

Во время трехдневного отсутствия Лориса панарейский дом превратился для меня в обитель или, скорее, инкубатор чудес, которые я не могу опустить в своем рассказе, если хочу его продолжать, не заботясь о критериях так называемой достоверности. Я прекрасно знаю, что перо писателя (с немногочисленными исключениями) противится описанию явлений слишком неуловимых, опасаясь именно их неуловимости, т.е. существования (назовем это так) внеязыкового. Но ведь нельзя опустить то, что порой мимолетно заявляет о себе.

Атмосфера после отъезда Лориса была настолько назлектризована, настолько полна чего-то невидимого, стремящегося стать видимым, что дом, в котором я остался один (мы отпустили служанку), требовал от меня неподвижности — но не добровольной, а неподвижности человека, опутанного незримыми узами. Я не мог выйти из дома, мог лишь с трудом передвигаться в четырех стенах комнаты Марины и Лориса. Вечером я упал на кровать Марины, словно меня кто-то толкнул, и погрузился в бездонный сон. Во сне я видел Марину за окном, через которое она смотрела перед смертью на море. Она что-то мне говорила, но я ничего не слышал, кроме часто повторявшегося имени Лориса. В конце концов, она исчезла, я увидел море и Ирину, лежащую в мелкой прибрежной воде, спрятав лицо в песке. Я проснулся в полночь. И снова, словно меня кто-то толкнул, спустился по ступенькам в подвал. Я сел рядом с урной на стул и удивился, что с нее исчезла надпись «Aches»<sup>111</sup>. И заснул сидя. Меня поглотил темный пустой сон. Утром я вышел из подвала и добрал до телефона. Он молчал. Молчало все. Затылком я ощущал чье-то прикосновение, как в Куме в магический полуденный час. Я не слышал шума моря, не слышал человеческих голосов. Мне казалось, что время остановилось. Видимо, я споткнулся и упал на коврик у кровати Марины, потому что там меня разбудил вернувшийся Лорис.

«Ты вернешься», брошенное тени Марины сразу после ее смерти, подтвержденное моими сонными видениями, усилило напряженную бдительность Лориса до крайности — когда, сразу после его возвращения, я рассказал о трех одиноких днях, проведенных в доме. С тех пор он всюду, словно верный пес, ходил за мной, следовал за моим взглядом, куда бы я его ни направил. Так, видимо, он понимал наш молчаливый союз — верил, что вместе со мной и благодаря мне он войдет в круг видений, которые лишь мне удалось вызвать. Но мои видения больше не повторились — ни во сне, ни, тем более, наяву. Я только время от времени слышал шаги (ко-

---

<sup>111</sup> Прах (англ.).

торых не слышал он), дважды видел на пороге соседней комнаты изваянную из тумана или дыма белую человеческую фигуру (которой не видел он). Показалось ли Лорису, что я украл все самое для него дорогое? Вероятно — во всяком случае наш молчаливый союз лопнул, уступив место антипатии, если не чувству, близкому к обиде. Не бойся я оставить его одного в панарейском доме, сел бы на первый неапольский пароход. Вскоре Лорис впал в депрессию и целыми днями просиживал в подвале рядом с двумя своими урнами. По вечерам мне приходилось буквально выносить его оттуда, посиневшего от холода, и перетаскивать на тапчан у зажженного камина. Он, казалось, не узнавал меня, смотрел пустыми глазами.

Я позвонил во Флоренцию. Николо тут же приехал. Мы закрыли панарейский дом, несмотря на плохую погоду, переправились вместе с Лорисом (нисколько не сопротивлявшимся) в Мессину, там сели в миланский экспресс. Я вышел в Неаполе. Пока Лорис был в таком «плачевном» состоянии, Николо собирался переехать со своей спутницей жизни во Флоренцию, в дом на Monte Oriolo. Мы пообещали друг другу постоянно поддерживать связь.

## XI

Из этого «плачевного» (*lamentevole*) состояния Лорис так и не вышел. Вивиана (подруга Николо) ухаживала за ним, словно за ребенком. Известный флорентийский врач беспомощно развел руками: «Довольно редкая болезнь, ее можно назвать «отказ жить». Она неизлечима, но неизбежно кончается самоубийством».

На пороге весны Николо и Вивиана услышали ночью в комнате Лориса (бывшей комнате Ирины) очень громкий крик. Дверь была закрыта изнутри на ключ. Пока выламывали замок, прошло много времени. Лорис умер, стоя на коленях на маленькой скамеечке Ирины, а голову положив боком на подоконник. Левая рука с растопыренными пальцами была прижата к стеклу, правая скрюченными пальцами, казалось, сжимала сердце. В ящике столика уже давно лежало краткое письмо. Он просил сжечь останки и поставить третью урну в подвал панарейского дома. На урне флорентийского производства виднелись строки на итальянском: «Из праха ты возник, в прах обратишься». Николо отвез ее на Панарею сам, даже не попросив меня его сопровождать.

Но я сопровождал его в декабре, когда вызванный панарейским «доверенным лицом» семьи Берарди, он доехал на машине до Мессины, где нанял моторку, готовую сквозь шторм продаться к острову. Тревога «доверенного лица» была не напрасна. Молния попала в башню на террасе, отсекла часть стены второго этажа, и дом мог рухнуть.

Мы остановились у «доверенного лица» — в сезон и после него тот охотно сдавал комнаты. Из нашей выстуженной комнаты был хорошо виден панарейский дом. Мы приехали вечером и решили провести «осмотр места происшествия» лишь на следующий день. Судьба не дала нам этого шанса.

Шторм все усиливался, морские волны, во время нашей поездки еще не слишком опасные, в конце концов подняли маленькое «maremoto», морское землетрясение, раз за разом с грохотом ударяя по дому Берарди. Через выбитую дверь вода залилась внутрь, затем на мгновение отступила, чтобы повторить шторм. Откуда взялось пламя в окне у двери первого этажа? Откуда бы ни взялось, оно быстро охватило весь этаж и, заливаемое волнами, стало постепенно стихать. Дом оседал, а наверху, на небе, как в «Падении дома Ашеро», ненадолго пробилась сквозь тучи кроваво-красная луна, blood-red moon.

*Январь—февраль 1995.*

## Пьемонтский Гамлет

Друзья из пьемонтского городка Суза на итало-французской границе сообщили мне по телефону о смерти в возрасте 95 лет Терезы Мальдорно. Она умерла в Кастель Пьемонтесе 17 апреля, на следующий день после Пасхи. Похороны назначены на 19 апреля, заупокойная служба — в соборе San Giusto.

Друзья интересовались — помня, как в пятидесятые годы, проводя в Поллоне отпуск, я был увлечен делом «Пьемонтского Гамлета», «*Amleto piemontese*», — приеду ли я на похороны. В вечерних новостях как раз показали «белую пьемонтскую весну», другими словами — весь район под толстым слоем снегом. Что для меня автоматически означало «нет». Поехал бы я, будь весна в этом году теплой и солнечной? Я не мог ответить на заданный мне по телефону вопрос. Прошло столько времени, все поблекло, умершую старушку я знал только в лицо. Ее сын Бруно, с которым я встречался и беседовал на заключительном этапе «шекспировской аферы» (в перерывах в долгом судебном процессе), до какого-то момента жил в Кастель Пьемонтесе отшельником, почти не показываясь людям на глаза и никого у себя не принимая. Правда, в телефонных разговорах мои знакомые часто упоминали мать и сына, но мне не удавалось воскресить в себе прежний интерес к этому делу.

На следующий день туринская газета напечатала короткий некролог: имя и фамилия умершей, возраст без даты смерти и похорон, подпись — Бруно Мальдорно. Зато весь разворот занимала явно заранее заготовленная редакцией иллюстрированная статья. По-итальянски заголовок звучал «*È morta la madre dell'Amleto piemontese*», подзаголовок — «*Se ne va, quasi centenaria, la Gertrude scespiriana*». «Умерла мать пьемонтского Гамлета. Уходит в возрасте почти ста лет шекспировская Гертруда». Убористо набранный текст украшали четыре фотографии — Терезы Мальдорно, двух ее мужей и сына.

Когда перед рассказчиком встает проблема, с чего начать свое повествование, надо дать ему хороший английский совет: *Begin from the begining* — начни с начала. Но обычно не очень понятно, что можно считать началом. Начало всей рассказываемой истории в ее реальном течении? Или момент вступления в нее рассказчика, предпочитающего повествование от первого лица (а я по разным причинам редко этой привычке изменяю)? В моем случае речь идет как раз об этом.

Лето 1956-го я провел в Поллоне, пьемонтской деревушке (сегодня уже немаленьком городке) у предгорий Альп. В конце мая к моей жене приехали друзья из Сузы — друзья ее ранней юности, когда она с семьей проводила летние каникулы в Меана ди Суза. Довольно известный, получивший признание писатель Вольпоне был родом из Умбрии, а точнее — из чудесного Губбио, но женился на учительнице средней школы в Сузе. Детей у них не было, что обычно подпитывает склонность к светской жизни. Поскольку Мирелла (учительница) унаследовала от родителей красивую виллу в предместьях Сузы, Гоффредо (писатель) после свадьбы перебрался к жене, разумно решив, что писать можно везде (если есть, что сказать). Моя жена сначала дружила с Миреллой, потом полюбила и ее мужа. То, что на лето семья моей жены уезжала из Меана ди Суза в Поллоне, не мешало этой дружбе, развивавшейся и крепшей, где бы друзья ни оказывались. В июне 1956-го, примерно через год после того как поселился в Неаполе, я познакомился с Поллоне. Немедленный визит супругов Вольпоне был продиктован желанием познакомиться с новым мужем их приятельницы.

Они приехали утром, и мы тут же вчетвером отправились на долгую прогулку в Баньери. Это была идея моей жены, прекрасно знавшей окрестности Поллоне.

За соседним Сордеволо, где каждые два года проходит посвященный Страстям Господним спектакль в стиле Обераммергау<sup>112</sup>, открывается широкая и глубокая долина. Дно ее поросло одичавшими кустами и сорняками, и даже охотники в сезон не решаются туда спускаться. На противоположном склоне видны — издалека довольно смутно — колоколенка и несколько домов рядом. Это Баньери, три часа ходьбы по заброшенной, едва заметной тропке. Его называли «villaggio morto» — «мертвая деревня»; в этом уголке Пьемонта — единственная и необычная достопримечательность для дачников и экскурсантов.

На самом деле мертвая деревня производила впечатление, в котором к печали и удрученности примешивался специфический страх перед пустотой, подобный страху перед пространством, каким страдают некоторые люди. Все мужчины, кроме совсем старых, бежали из Баньери на «ту сторону» долины, в основном — в промышленную Бьеллу, а иногда и дальше. Из семи стоящих в один ряд домов четыре пустовали и были страшно запущены. В трех остальных, выглядевших лишь немногим лучше — не слишком убедительное доказательство присутствия хозяев — гнездились около десятка старух и три совершенно разваливающихся

---

<sup>112</sup> Деревня в южной Баварии, наиболее популярное на Западе место проведения спектакля, посвященного Страстям Господним.

старика. Ни хлевов со скотом, ни клочка возделываемой земли. Как жили последние жители Баньери? Дверь разрушенной церквушки забили доской, священник из Сордеволо, вероятно, появлялся здесь (если появлялся) по большим праздникам; вряд ли он крестил детей и хоронил умерших. За церковью, до самого пологого подъема, тянулось кладбище. Все фамилии на надгробиях и деревянных крестах были однозвучны. Итак, Баньери превратилось в догорающее семейство, чьи дети стали в свое время плодом разных видов кровосмешения.

Мы сели на длинную и узкую скамейку у дорожки, или улочки, вдоль которой стояли дома. На некотором расстоянии от нас сидели две женщины, судя по виду, лет за семьдесят — потом оказалось, за пятьдесят — оборванные, страшно исхудавшие, грязные и растрепанные. Молча и неподвижно глядели они на «ту сторону». Нет, на лицах их отражалось не стремление к чему-то, а скорее едва тлевшая жизнь. Никогда, наверное, я не видел таких бесцветных, пустых, безжизненных глаз — даже за решеткой или колючей проволокой.

Я всегда считал, что, проходя по жизни, мы минуем полосы чередующихся — быстро или в замедляемом самой судьбой темпе — очень разных душевных климатов, и что именно они придают тот или иной оттенок нашим переживаниям и опыту. Возвращаясь тропинкой по склону долины в Сордеволо, мы молчали так упорно, словно кто-то категорически запретил нам пользоваться человеческим языком. Я уверен, что мы пребывали в климате Баньери — тяжелейшем для человека климате соприкосновения с одной из последних границ жизни. Несмотря на усталость, мы шли быстрым шагом, можно сказать — инстинктивно и упорно спасаясь бегством. Бежали от вида мертвой деревни и от глаз двух ее полумертвых жителей. Очнулись мы в кабачке в Сордеволо, за горячим чайником и бутылкой местной граппы.

Там Гоффредо и «начал с начала» повесть о пьемонтском Гамлете. Было ли это подспудно связано с нашей прогулкой в Баньери? Мне кажется, да, но я не в состоянии объяснить, каким образом. Жизненные климаты отличаются тем, что связующие их нити неразличимы (для наших глаз).

Когда началась вторая мировая война, Бруно Мальдорно было ровно двадцать лет. Он изучал юриспруденцию в Турине, но жил с родителями в Кастель Пьемонтезе. Франческо, его отец, адвокат, курсировал между родной виллой в Кастель Пьемонтезе и конторой в Сузе. Тереза, его мать, женщина редкой красоты, приближалась к сорокалетию, но никто не дал бы ей больше тридцати. Семья из трех человек занимала одно крыло виллы. В другом жил младший брат адвоката, Клаудио, фашистский *podestà*

(бургомистр) Сузы — скандалист, пьяница и бабник. Поскольку адвокат остался верным либеральным взглядам покойного отца, общение между двумя крыльями виллы сводилось к абсолютному минимуму — холодно-му, зачастую даже враждебному.

Было неясно — и до конца не выяснилось во время процесса 1943 года, — когда же Тереза Мальдорно сломала ледяную стену и сначала подружилась, а затем завела роман с деверем. Адвокат возвращался домой поздно, сын двое суток в неделю проводил в Турине, где учился в университете (он был освобожден от военной службы). Так что, живя под одной крышей, Тереза и ее деверь располагали множеством возможностей для интимных встреч.

В мае 1942 года разыгрался первый акт трагедии. Адвоката нашла жена ранним утром, без признаков жизни, у подножия винтовой лестницы, ведущей в общий холл виллы в бельэтаже (из коридора там был вход в три жилые комнаты и две ванны, расположенные анфиладой), в адвокатском крыле дома. В голове у Франческо была глубокая смертельная рана от удара о нижнюю, обитую железом, ступеньку. Он был в халате. Трагедия произошла во время двух «туринских» суток сына, однако, на первый взгляд, казалась несчастным случаем. Перед рассветом (таково было предположение) адвокат встал, не зажигая света ни в спальне, ни в коридоре, ни в ванной, чтобы не будить спящую жену. И, возвращаясь, полу-сонный, в кровать, видимо, споткнулся о прут, прибитый к сукну наверху лестницы. Тереза спала так крепко, что не слыхала падения и, возможно, крика мужа.

Кажущаяся естественность происшедшего не помешала сыну потребовать вскрытия. Обнаружили следы очень сильного снотворного, продававшегося в аптеках только по рецепту врача. В мусорной корзинке нашли два вида окурков — с красным следом помады и без. Адвокат не курил вовсе, его сын провел последние два дня и две ночи в Турине.

В феврале 1943 года начался судебный процесс в Кунео. Власть фашизма была в то время уже значительно подорвана, что явно пошатнуло привилегированное положение бургомистра Сузы. И он и его любовница Тереза остались на свободе. Следствие располагало лишь косвенными уликами. Оба обвиняемых с возмущением отрицали свою вину. Во время судебного заседания Бруно слушал молча, не сводя глаз с матери. Когда судья спросил, есть ли ему что сказать как свидетелю, он рассказал о трижды повторившемся сне — ему снился отец, неизменно произносящий одну и ту же фразу: «Меня убили». Больше ни единого слова. Вот тогда пьемонтские газеты и назвали юношу «Пьемонтским Гамлетом». Обвиняемых оправдали за недоказанность вины, а не по так называемой «полной формуле» (в связи с отсутствием состава преступления).

Бургомистр был вскоре освобожден от должности, а в конце 1943 года женился на своей невестке. Они поселились в его крыле виллы. Бруно остался один в бывшей родительской части дома и через год, став адвокатом, занял место отца в его конторе в Сузе.

Слушая в Сордеволо за стаканом чая и рюмкой граппы рассказ писателя Гоффредо Вольпоне, я подумал, что, вероятно, он собирает материал для задуманного романа и внимательно изучил прессу. Так и было — он добавил, что всех, кто писал о процессе, поразило то, как Бруно, полузакрыв глаза, глядел на мать: «Так глядит не сын, влюбленный в мать, но мужчина, влюбленный в женщину».

В январе 1945 года, в суровую пьемонтскую зиму, разыгрался второй акт трагедии, о котором Гоффредо стало известно тоже из прессы — уже новой эпохи. Пока — в общих чертах; несколько подробнее мы оба ознакомились с этими событиями во время второго процесса в Кунео, в середине июня 1956 года.

Заканчивалась война, на севере Италии, особенно в Ломбардии и в Пьемонте, действовало множество крупных и мелких партизанских отрядов. Бруно Мальдорно воевал в маленьком отряде, орудовавшем в окрестностях Пинероло. Крупные фашистские деятели (рядовых не трогали), которым не удалось бежать на территории, где режим еще держался, скрывались, где только могли. В основном на чердаках у друзей или родственников, нередко в домах священников.

Время способствовало самоуправству и самосуду. Якобы во имя новой «демократической» справедливости сводились старые семейные и личные счета.

Клаудио укрылся в доме священника в Салуццо, а вернее, его спрятала там Тереза — священник приходился ей дядей. Она совершила ошибку, время от времени отправляясь в Салуццо на машине, чтобы повидаться с мужем. Вероятно, ее поездки были замечены и навели на след фашистского экс-бургомистра Сузы, которого жители городка очень не любили.

Темной зимней ночью в дом священника ворвались пятеро партизан. Затемнение было на руку нападавшим. Сопrotивляющегося священника, который отказывался указать убежище и даже поначалу отрицал, что кого-то скрывает, заперли на ключ в спальне. Партизаны и сами знали, что искать надо в мансарде. Они хранили молчание, слышны были только короткие команды командира, освещавшего путь фонариком. Стеля вслепую, Клаудио выбежал из комнаты — видимо, надеялся добраться до наружной двери. Один из партизан бросился вдогонку и на лестничной площадке вонзил в него нож. После чего всех пятерых поглотила тьма.



Тереза обвинила сына в убийстве ее второго мужа. Благодаря атмосфере безнаказанности, в большинстве случаев окружавшей самосуды над бывшими иерархами павшего режима, суд не раз откладывали, но в середине июня 1956 года он наконец состоялся в Кунео. На этот процесс я поехал вместе с писателем Вольпоне (наши жены обе отказались). Мы остановились в гостинице «Савой», где (как оказалось) жил и находившийся на свободе Бруно Мальдорно. Тереза каждое утро приезжала со своим дядей-священником из Салуццо (где она жила в течение всего процесса).

Процесс продолжался пять дней, на третий заседание в течение часа шло за закрытыми дверями. Все время вставал вопрос, на каком основании Тереза Мальдорно подала в суд. В сущности, у нее не было никаких доказательств, даже более-менее серьезных косвенных улик. Она постоянно возвращалась — что раздражало судей и присяжных — к неприязненному отношению сына сначала к дяде, а затем отчиму (формально), несмотря на то, что Клаудио «обожал» племянника с детства и теми же чувствами намерен был дарить пасынка. Тереза во всех деталях расписывала эту «черную неблагодарность», превратившуюся, в конце концов, в «маниакальную ненависть». Сын прервал ее саркастическим хихиканьем, но когда суд предложил ему дать показания, пожал плечами и буркнул: «Не стоит». На вопрос судьи, как им жилось с первым мужем, Тереза ответила: «Прошу выслушать меня при закрытых дверях». Ее просьба была удовлетворена. Кунео — городок небольшой, присяжные особым тактом не отличались, так что в тот же вечер пошли слухи, будто по довольно интимным причинам Тереза за несколько лет до смерти первого мужа «перестала делить с ним супружеское ложе». Судья потребовал, чтобы она наконец перешла к своему обвинению. «Самое время, самое время», — повторил он дважды с некоторым раздражением в голосе. Тереза замолчала, но, судя по выражению лица, прятала в рукаве туз. Она не раз, не скрывая, что кого-то ждет, на мгновение оборачивалась и смотрела на дверь. В это время изъявил готовность дать свидетельские показания ее дядя, священник из Салуццо. Его длинные рассуждения в тоне морализаторской проповеди, были, однако, сотканы исключительно из слухов. В окрестностях Салуццо знали о партизанском отряде, знали также, что в него входил Бруно Мальдорно. Кому, как не ему, было прекрасно известно расположение комнат в доме священника по тем временам, когда мальчиком он приезжал с матерью к ее дяде?

Утомленный монотонной бесцветностью процесса, я принялся наблюдать — то исподволь, то открыто и без смущения — за матерью и сыном. Терезе было тогда пятьдесят шесть лет, но она сохранила прежнюю

красоту, более того — зрелость, казалось, была ей к лицу. В ее движениях и манере говорить ощущалась какая-то властность. Она смотрела только на судей и на присяжных, ни разу не взглянув на сидевшего сбоку сына. Он же слегка передвинул стул, чтобы видеть только ее. И действительно, в его взгляде, напряженном и неподвижном, можно было разглядеть что-то далекое от сыновней любви.

Ужинали мы в гостинице вдвоем — ведь Гоффредо и Бруно хорошо знали друг друга по Сузе. Сыну Терезы было тогда лет тридцать шесть — тридцать семь, но он поражал своим юношеским видом. Хотелось назвать его «мальчиком» — и в самом деле, рано утром я увидел его в гостиничном саду, погруженного в чтение, прохаживающегося среди клумб и деревьев. Эта картина немедленно заставила меня повторить шекспировское «юноша с книгой в руках». Под юношеским обликом слились воедино серьезность и печаль, породив специфический эффект полуприсутствия. Действительно, было непонятно, насколько внимательно он слушает то, что ему говорят, хотя — по природе молчаливый — он порой отзывался коротко и вполне по делу, и тогда становилось ясно, что обвиняемый лишь производит впечатление человека полуотсутствующего, рассеянного, размышляющего о чем-то своем. Процесс был в нашей беседе темой табу, но Бруно несколько оживлялся, когда Гоффредо затрагивал партизанские темы, а я — восточноевропейские. Но опять же не было полной уверенности, что выражение его лица соответствует подлинному интересу. Вообще, хоть и превосходно себя контролирующий, Бруно казался не вполне уравновешенным. Он относился к людям — встречаются такие — чьи мысли нам хочется угадать, но не для того, чтобы узнать что-то для нас важное, а чтобы установить более глубокий контакт. Наблюдая за ним во время ужина, я осознал, что в этом и заключалось «безумие» Гамлета в трагедии Шекспира — в искусстве быстро высказывать из ловушки (в его понимании) общения с окружающими. Подобно принцу датскому, Бруно был неуловим. Что у Шекспира воспринималось как признак безумия. Но на самом деле было игрой.

Без сомнения, элемент игры был и в поведении пьемонтского Гамлета. Но тот, кто играет, не желая излишне это демонстрировать и не желая подвергать испытанию собственную гордость, тот в глубине души смертельно ранен. Одинаковой ли была рана обоих Гамлетов — датского и пьемонтского?

На пятый день процесса появился «туз» Терезы — а вернее, мнимый «туз». В лице пожилого седого господина — прихрамывая, тяжело опираясь на палку, он с трудом преодолел расстояние от двери до стола судьи. Человек поклонился, подал руку судье и положил перед ним лист бу-

маги. В этот момент я взглянул на мать и сына — она улыбалась, он побледнел.

Судья принял к сведению медицинскую справку, оправдывающую опоздание коронного свидетеля, периодически прикованного к постели из-за полученных в партизанской борьбе ран. Механик в Кивассо, после высадки союзников на юге Италии он организовал крупный поначалу партизанский отряд, взяв кличку Терроне (он был родом из Калабрии). Это он был командиром действовавшей в окрестностях Пинероло группы, в которой осталось, в конце концов, пять человек. Приказ «ликвидировать» бывшего бургомистра Сузы исходил от командования в Асти — считалось, что он станет опасен в случае хотя бы мимолетной смены ситуации в регионе. Кто конкретно выполнил этот приказ после того как группа ворвалась в дом священника в Салуццо? Наступила долгая тишина, я скользнул взглядом по напряженному лицу Терезы; сын ее опустил голову. Убийца мертв, — объяснил свидетель, — он погиб незадолго до *Liberazione*<sup>113</sup> 25 апреля. Тереза вздрогнула, словно пораженная током, ее изумление было слишком очевидно. Бруно поднялся со своего места. «Это неправда, — сказал он спокойно и громко, глядя не на судей, а на мать, — я убил бургомистра Сузы, который убил моего отца». В зале поднялся шум, с которым судья справился не без труда.

Арестованного после окончания процесса Бруно увезли в Новару, где он в тюрьме должен был ждать следующего процесса в тамошнем суде. Он ждал шесть месяцев. Приговор был мягким и условным, с учетом множества смягчающих обстоятельств. Бруно вернулся в Сузу, в родную виллу, куда из Салуццо вернулась и его мать. Они не общались, единственным связующим звеном была общая служанка. На люди не показывались; жили на накопленные деньги и наследство от первого мужа Терезы (имущество второго было посмертно конфисковано). Бруно, вычеркнутый из списка адвокатов, открыл дома небольшую юридическую консультацию.

Я все реже ездил летом в Поллоне. Поначалу отдых в предгорьях Альп, луга на холмах, все в зарослях ежевики (где иногда попадались и грибы), ледяные ручьи, полные форели, крепкий ночной сон, тяжелое пьемонтское вино, упорядоченная деревенская жизнь — все это действовало на меня словно душ, чистой водой омывающий грязное и потное тело. Но со временем я узнавал Пьемонт потаенный — обиталище людей зажиточных и трудолюбивых, маскирующих врожденный эгоизм, жадных до каждого гроша, неприязненно относящихся к «пришельцам» из других областей Италии, лишенных природной сердечности южан, под

---

<sup>113</sup> Освобождение (*итал.*).

пеленой или за фасадом чистоплотности и порядочности замкнувшихся в своих, как правило, нездоровых, семейных отношениях. Когда постепенно мой нюх и зрение обострились, я ощутил аллергию — вероятно, довольно сильную, поскольку я избегал визитов к соседям и неохотно заходил в магазины и бары, казалось бы, просто образцовые, особенно по сравнению с южными.

Так что ездить я в Поллоне стал реже, но совсем отказаться от этих поездок, предпочтя горам море, не мог. А во время отпуска я, пожалуй, чаще чем в Поллоне, останавливался у друзей в Сузе — один или с женой. Гоффредо и Мирелла иногда приезжали к нам на день, но быстро разглядели и с радостью приняли нашу (мою, прежде всего) слабость к Сузе. Которая все росла — вплоть до кульминационной точки в жизни пьемонтского Гамлета и пьемонтской Гертруды.

Мне нравилось, как Суза заботится об остатках далекого прошлого. В то время, как главным, невыносимым для меня, украшением Поллоне были огромные декадентские виллы по дороге в Сордеволо, построенные перед первой мировой войной богатыми промышленниками из Бьеллы, Суза (римский Сегузио) могла похвалиться собором San Giusto, ломбардской церковью XI века с величественной колокольной, римскими воротами V века, сегодня называемыми Porta Savoia, аркой Августа 9 года до н.э. Кольцо суровых гор окружало обрывки истории. Более того, хранило их. Каждая прогулка, даже самая короткая, укрепляла меня в этом искреннем чувстве.

Вилла Терезы Мальдорно и ее сына находилась в каких-нибудь четырех километрах за Сузой, в Кастель Пьемонтезе, в саду, заслоненном от дороги высокими деревьями, стоящими у самой ограды. Проходя или проезжая мимо, можно было увидеть за ними запущенный сад (дико выросшие клумбы, кусты, грядки, нестриженный газон перед фасадом). Царило ощущение пустоты, словно в вилле вообще никто не жил — это чувство усиливали всегда задернутые шторы. «Они живут в постоянном мраке или полумраке», — думал я, рассматривая строение в стиле большого английского cottage<sup>114</sup> с двумя башенками. В вилле было два входа: один — посреди фасада, другой — с торца.

Нам лишь однажды удалось увидеть Терезу Мальдорно — в жаркий день она загорала в растянутом между столбиками гамаке. Видимо, она почувствовала взгляд незнакомых, застывших за забором лиц, потому что по-девичьи соскочила с гамака (ей было тогда шестьдесят лет!), набросила на купальник халат и побежала под своды галереи главного входа в

---

<sup>114</sup> Коттедж, загородный дом (англ.).

душ. Мы отчетливо, хотя и недолго, видели ее стоящей под сильной струей воды. Красивая стройная женщина — если не знать, никто бы не поверил, что она мать сорокалетнего сына.

В тот год (1960) мне было важно возобновить мимолетное знакомство с Бруно. Гоффредо тут же раскритиковал идею пригласить его на чай — сын Терезы «нигде не бывает», чрезвычайно редко его можно встретить в городке в каком-нибудь учреждении. Я нашел неплохой предлог. Поскольку моя жена собиралась подать в суд на одного из соседей в Поллоне, я решил от ее имени попросить юридического совета у весьма уважаемого в свое время адвоката.

Я пришел к нему один, разумеется, сославшись на своих друзей в Сузе. Не уверенный, что он помнит нашу встречу в Кунео, я умолчал об этом, чтобы не напоминать Бруно о связанных с ней обстоятельствах. Он выслушал меня, сделал несколько разумных замечаний, порекомендовал знакомого адвоката в Бьелле. Я заплатил за консультацию. Пора было уходить. Я быстренько что-то придумал, лишь бы не покидать его кабинета. Бруно не выказал никакого раздражения, наоборот, был, казалось, доволен, словно клиенты к нему приходили редко. А я? Почему мне важно было провести с ним лишних полчаса? Действительно ли я продолжал наблюдать за пьемонтским Гамлетом, быть может, будущим героем одного из моих рассказов? Пожалуй, да — иного объяснения своей назойливости я не нахожу.

Подтвердилось то, что я помнил по Кунео. Бруно был по-прежнему рассеян, возникало странное чувство, будто он и слушает, и не слушает. И прежнее мальчишеский вид. Трудно было поверить, что этому мальчику с мечтательным взглядом, порой на какое-то мгновение становящимся твердым — не без жесткости, — сорок лет. Новым было то, что он все время прислушивался — из другого крыла виллы иногда доносились непонятные звуки, и каждый действовал на него так, словно к коже поднесли зажженную сигарету — он вскакивал со стула и хватался за край стола. Чего он ждал в таком напряжении?

Сколько же существует трактовок Гамлета! Сколько великих актеров, считающих Гамлета «ролью всей жизни», пытающихся выразить в ней свой «неповторимый» взгляд на драму принца датского! Список получился бы длинным, для примера я вспомню только об одной интерпретации, построенной на книге Сальвадора де Мадарьяхи «О Гамлете». По мнению испанского писателя и дипломата, Шекспир создал фигуру ренессансного принца, сознательно и холодно разыгрывавшего свою борьбу за трон. Я видел в Лондоне постановку «Гамлета», опирающуюся на книгу де Мадарьяхи. Хитрого, искушенного в дворцовых интригах ре-

нессансного принца играл Алек Гинесс с небольшим пузом, острой бородкой и пристегнутым к поясу стилетом. Лондонская публика была в шоке и безжалостно освистала спектакль — премьерой все и закончилось. Для традиционных поклонников Шекспира подобный Гамлет был неприемлем, традиция донесла до нас разнообразные образы дрожащего на ветру пламени, насыщенного широкой амплитудой сомнений, страстей, срывов и отступлений голоса. Меня Гинесс покорила убедительностью своей игры, точно так же, как де Мадарьяхи — изысканностью своих рассуждений.

Во время одного из моих приездов в Сузу Гоффредо завел многочасовой ночной разговор об эльсинорском Гамлете, проводя параллель с Гамлетом пьемонтским. Для меня это было доказательством того, что он отказывается от планов написать роман: ни один писатель не будет так открыто выкладывать свои карты на стол, пока не напишет на последней странице рукописи слово «конец». И в самом деле — уже светало, когда мы решили закончить дискуссию и лечь спать. Гоффредо дал мне «для чтения на сон грядущий» (завтрашний, разумеется) пухлую папку с надписью «Материалы к пьемонтскому Гамлету».

Я листал их на следующий день, перед обедом и после обеда. Не оставалось сомнений, что Гоффредо вынужден был отказаться от своего замысла. Заметки автора для будущего произведения могут, на первый взгляд, казаться хаотическими, но все же не должны терять какого-то стержня даже в этом хаосе. А именно это произошло с моим другом. Гоффредо все время менял точку зрения, поддавался одной догадке, чтобы тут же заменить ее другой, нетвердой рукой намечал характеры и события, словом — потерял в лесу тропинку и блуждал по нему, не ощущая направления. Романа из этого не вышло бы. Лучше сдаться, чем еще дальше углубляться в непроницаемую чащу.

Что поражало в неудачной рукописи — это эссе о шекспировском «Гамлете». Оно было украшением будто бы толстой, но по сути тощенькой папки.

Эссе, очевидно, было задумано как послесловие к роману, но глубокое критическое исследование елизаветинской драмы не вязалось (или плохо вязалось) с драмой современной. Гоффредо последовательно, без каких бы то ни было сомнений или колебаний держался «своего собственного» взгляда на «Гамлета», однако ему не хватало уверенности для использования этого «ключа» в истории пьемонтского Гамлета. Каждый раз, когда автор, казалось, готов был наконец принять решение, он делал шаг назад, причем такой опасливый, словно его хватала за руку рискованность собственного излишне смелого поступка. Он петлял, разбрасывал направо и налево аллюзии, утверждал и не утверждал, зачеркивал гипотезы.

тезы в первой редакции и вписывал над ними совершенно или отчасти другие — словом, сам себя постепенно убеждал, что не сумеет преодолеть писательский паралич.

Эссе о «Гамлете» (в общих чертах) выросло из глубокой уверенности автора, что зачатком трагедии в Эльсинорском Замке была любовь сына к матери. Но не любовь «сыновья».

Королева: *Что за кровавый и шальной поступок!*

Гамлет: *Немногим хуже, чем в грехе проклятом,  
Убив царя, венчаться с царским братом.*

Королева: *Убив царя?*

Гамлет: *Да, мать, я так сказал.*<sup>115</sup>

Ясно, что Гертруда знала об убийстве короля, своего первого мужа. Она лишь делала вид, что не знает.

Многое указывает на то, что она даже была опосредованно причастна к покушению на его жизнь. Почему, что склонило ее к участию в убийстве мужа? Королева, мать принца и наследника престола — какие же надежды и стремления она связывала с братом короля, своим деверем?

Сын говорит ей:

*С такой горы пойти в таком болоте  
Искать свой корм! О, есть у вас глаза?  
То не любовь, затем что в ваши годы  
Разгул в крови утих, — он присмирел  
И связан разумом...*

И все же не утих. Это поневоле понимает и сам Гамлет.

*Когда могучий пыл идет на приступ,  
Раз сам мороз пылает и рассудок  
Случает волю.*

Королева сердится:

*О, довольно, Гамлет:  
Ты мне глаза направил прямо в душу,  
И в ней я вижу столько черных пятен,  
Что их ничем не вывести.*

---

<sup>115</sup> Пер. М.Лозинского.

На что Гамлет с удвоенной яростью:

*Нет, жить  
В гнилом поту засаленной постели,  
Варясь в разврате, нежась и любясь  
На куче грязи...*

Трудно (продолжал Гоффредо) не заметить, что в Гамлете говорит ревность *сексуальная*, что он *физически* переживает вероломство матери, словно хочет воскликнуть: «Ты можешь принадлежать лишь моему отцу или мне!» В нем все время вспыхивает гнев обманутого *любownika* (а не сына).

*Пусть вас король к себе в постель заманит;  
Щипнет за щечку; мышкой назовет;  
А вы за грязный поцелуй, за ласку  
проклятых пальцев, глядящих вам шею...*

История с Офелией, по мнению Гоффредо, также доказывала эротическую холодность Гамлета ко всем женщинам, кроме матери. Ведь в отношении Гамлета к Офелии нельзя не заметить элемент жестокости, подсознательного желания уничтожить, даже убить.

Остается вопрос, осознавала ли это Гертруда. Поначалу нет, но затем она широко открывает глаза — в ужасе, с забившимся сердцем. «Совершенно не исключено (заключает свое эссе Гоффредо), что, откажись Шекспир от елизаветинской традиции, предписывающей парад трупов перед последним падением занавеса, Гертруда открыла бы самую большую, хоть и грешную любовь своей жизни».

Август 1965 г. оказался моим последним пьемонтским месяцем. Я приехал неохотно, после долгих уговоров жены, уже в поезде предчувствуя пресыщение. Бывает так, что определенная глава нашей жизни неожиданно, но неминуемо завершается. Почему, точно неизвестно, понятно лишь, что дальше тянуть невозможно. И тогда лучше сдаться, не слишком долго сопротивляясь.

Я приехал настолько измученный срочной работой в Неаполе, что первую неделю в Поллоне проспал — редко и ненадолго просыпаясь. Во вторую я по утрам гулял несколько часов — склон над нашим домом, по дороге к вершине Мукроне, изобилуя лугами, рощами и, что самое главное, стремительными ручьями, в которых иногда образовывались каменные ванны. Там я останавливался, то на несколько секунд прыгая в



ледяную воду, то терпеливо сидя с удочкой, пока какая-нибудь неосторожная форель не решалась тронуть приманку на крючке. Я с детства болен рыбной ловлей, могу часами вглядываться в неподвижный поплавок.

Наконец отдохнув, хотя мне было это скучно и неинтересно, я решил еще раз, на прощание в одиночку навестить Баньери. За прошедшие годы процесс догорания мертвой деревушки сильно продвинулся на пути к окончательной смерти. В живых остались только трое из тринадцати стариков, которых мы застали там в прошлый раз. Они сидели на скамейке у ряда домов, теперь уже совсем разрушенных. Очень старый крестьянин, который то дремал, то открывал усталые красные глаза, и две женщины помладше. Мое приветствие кануло в молчание. А когда останется только одна женщина? Будет до последнего вздоха вглядываться в «ту сторону»? Кто ее похоронит? Пойдет ли в Сордеволо священник — целый день пешком? Да и кто ему сообщит?

Я медленно возвращался из Баньери, собираясь поскорее уехать в Неаполь. Но дома я узнал, что Гоффредо и Мирелла вернулись в Сузу из путешествия в Испанию. Это был спасательный круг. Хотя бы милая Суза...

Оба, Гоффредо и Мирелла, были возбуждены. Особенно Гоффредо, который, почти не обращая внимания на наш приезд, повторял себе: «Я был прав, мне не хватило упорства, теперь поздно переделывать заново». И нам: «Подогреваемое блюдо всегда пахнет горелым». Это звучало загадочно, и только папка с «Материалами к пьемонтскому Гамлету», заброшенная на верхнюю полку, за книжки, объяснила мне, что произошло нечто неожиданное.

Тереза Мальдорно и ее сын Бруно *вместе* уехали из Кастель Пьемонтезе в неизвестном направлении. Только это и сумела пробормотать, краснея и бледнея, чуть ли не заикаясь, в ответ на расспросы их общая служанка. В Сузе это произвело небольшую сенсацию. Что касается нас, мы отложили свое возвращение в Поллоне.

Через несколько дней после Ferragosto<sup>116</sup>, кульминации августа, молнией разлетелась новость — утром в «Villa Maldomo» открыли все окна, а в полдень хозяева спустились в сад. Вновь расспрашиваемая служанка подтвердила, что «господа приехали ночным поездом». Гоффредо улыбался загадочно, улыбкой человека, который заранее предугадывал или предчувствовал ход событий.

Раньше во время загородных прогулок мы заглядывали на виллу — в промежутки между редко посаженными деревьями, деликатно, естественно, как заглядывают мимоходом в проветриваемые квартиры пер-

---

<sup>116</sup> Праздник Успения Богородицы (15 августа).

вого этажа. С учетом новых обстоятельств заглядывание превратилось бы в подглядывание. Чем мы и занимались накануне отъезда из Сузы, остановившись вчетвером у виллы в Кастель Пьемонтезе. Сад был хорошо виден, и вряд ли кто-нибудь мог нас оттуда заметить. Тереза сидела в кресле недалеко от дверей виллы. Следы прежней красоты, следы ощутимые и необычные для шестидесяти пяти лет, издали заставляли поверить, что время по-прежнему шадит ее. Заметно постарел, скорее, сын. Склонив к матери седую голову, он слушал ее рассказ и время от времени нежно обнимал.

Здесь заканчивается пьемонтский «Гамлет» *моей* памяти. Я устою перед искушением подстегнуть свое воображение на путях этой грешной любви. Возможно, это сделает мой друг из Сузы во время очередного «кризиса романа» и его «тематики».

В 1985 году у Терезы отнялись ноги; десять лет, до самой смерти, сын медленно катил на прогулках ее инвалидную коляску. Оба они выглядели (сообщал в письмах Гоффредо) так, словно наконец — после стольких плохих отравленных лет — познали секрет абсолютного счастья. Мы могли бы (вместе с автором) повторить за принцем датским в момент агонии:

*Дыши в суровом мире...*

*Июнь 1995.*

## Русский медведь. Рассказ-дивертисмент

С Игорем Гоголевым я познакомился во времена хрущевской оттепели, после Двадцатого съезда. Недавний выпускник отделения романской филологии Ленинградского университета, он приехал в Неаполь, получив трехмесячную стипендию. Ко мне Игорь попал через итальянских знакомых из Istituto Orientale, не скрывавших от него рискованности подобного визита. Так что явился он бледный, взволнованный, то и дело поглядывал в окно, а через полчаса уже сидел, как на иголках. Но цель визита победила страх: Игорю сказали, что если он понравится хозяину, то, возможно, получит многотомные американские издания Пастернака и Мандельштама. Он понравился, впрочем, у меня все равно были лишние экземпляры. Прикоснувшись к книгам, Игорь оживился, осмелел, а в его умных глазах зажегся веселый, иронический огонек. От природы остроумный, он любил пошутить; жаль, что, обладая фамилией, неизбежно заставляющей вспомнить великого русского классика, Гоголев был начисто лишен дара рассказчика. Хотя он любил литературу вообще и поэзию в особенности, язык служил ему исключительно для четкой и бесцветной передачи информации. Скажу об этом сразу, чтобы избежать обвинений или, по крайней мере, упреков моих читателей в том, что повествование о Русском Медведе не выходит за рамки сухого и лишь слегка приправленного юмором сообщения. Ах, если бы только Гоголев был потомком Гоголя! Если бы он умел воскресить тени Чичикова, Ревизора, Башмачкина, блуждающие украдкой по обочинам современной России, буйно разросшейся на гниющих остатках Советского Союза!

По моей вине наша первая встреча привела к катастрофе. Игорь собирался на три дня в Рим, и мне показалось естественным снабдить его рекомендательными письмами к своим, столь же неблагоданственным в глазах советских «органов», римским друзьям. Я, однако, забыл, что в отличие от неаполитанских товарищей, в силу врожденной лени не спешивших строчить доносы в советское посольство, римские коммунисты горели неутолимим желанием служить Делу Революции. Римские встречи Игоря не остались незамеченными, о них доложили кому следует, и пребывание его в Италии было немедленно сокращено. Он даже не попрощался со мной, прислал только из Ленинграда открытку с тремя многозначительными словами *Prashchaj lubimyj Zapad* и без подписи.

И после этой весточки пропал, как в воду канул; так что воспоминания об Игоре почти стерлись из моей памяти. А тут вдруг открытка, с подписью и об-

ратным адресом, из Москвы эпохи «зрелого» Горбачева. Две фразы: одна — по-русски, другая — по-итальянски (страстный романист, Игорь хорошо знал французский и итальянский): *Ja budu tieper', slava Bogu, GLASNYM. Ne sentirai ancora molto di me.* То, что он удостоил заглавных букв слово *glasnost'*, не упомянув в то же время о *perestrojke*, свидетельствовало о его уме. Итальянская фраза («Ты еще много услышишь обо мне») могла означать, что он приступил наконец к реализации своего проекта и пишет книгу «Пруст и Свево» (во время нашего разговора в Неаполе я не уловил смысла этого сопоставления, а он улыбался таинственно, словно автор еще не запатентованного изобретения). Услышал я об Игоре скорее, чем мог ожидать, причем от него самого. Он заскочил в Италию на пять дней. Позвонил из Милана. Далеко ли Брешиа от Неаполя? И не соглашусь ли я навестить его в отеле «Атлантик»?

В первое мгновение я его даже не узнал. Отпустил бородку, одет странно: розовые брюки, зеленый пиджак, голубая рубашка, оранжевый галстук с изображением обнаженной девицы. Исчезла роскошная когда-то шевелюра. Он рассмеялся, заметив в моих глазах изумление. «Пестрота нашей теперешней моды отражает плюрализм нашей новорожденной демократии. Все так долго было или серым или черным, что это не могло не вызвать цветового голода (красный — исключение). Ты привыкнешь, как привыкли после минутного шока итальянцы с фабрики «Сантина». С фабрики «Сантина»? Не ослышался ли я? Это самое известное в Италии предприятие по производству презервативов, с центром в Бреше. «Ну да, — он вновь рассмеялся, — бросил романистику, перестал заниматься Прустом и Свево. Я теперь бизнесмен, толкач; мы открываем в Калуге фабрику презервативов «Инесса».

Теперь уже рассмеялся я, а он, напротив, посерьезнел. «Дело в том, что пока правила коммунистические жулики, презервативы у нас были кошмарные — отбивали желание у нормального мужчины и вызывали отвращение у нормальной женщины. Верхом совершенства в этой области считался чешский «Леопард», производившийся из обрезков автомобильных, мотоциклетных и велосипедных камер. Одна красивая и остроумная ленинградка как-то мне призналась, что каждый раз, когда ее партнер пользуется этим народно-демократическим презервативом, ей кажется, будто он въезжает в нее на «хонде».

— Так вы хотите для начала закупать в Бреше «сантину», поистине священную продукцию страны папы римского и христианской демократии?

— Да что ты! Мы вот-вот начнем производить в Калуге собственные «инессы» — осталось только добыть импортное оборудование и приличное сырье. Но, судя по вчерашним переговорам, придется лететь в Америку, итальянские резинки, разумеется, получше наших, однако это не последний крик моды, верно? Главное, чтобы изделие было тонким, эластичным и при этом прочным. А прогос названий: «Сантина» хороша в Италии, а откуда взялась наша «Инесса», ты небось и не догадываешься.

— Очевидно, какой-нибудь весельчак-антикоммунист припомнил возлюбленную Ленина...

— Именно. Инесса Арманд (вижу, тебе это известно), обрусевшая француженка, а может, и наоборот, была большой поклонницей ума и таланта Ильича; он же был в нее безнадежно влюблен. Почему безнадежно? Замужем, четверо детей; не исключено также, что до нее дошли слухи о его сифилисе. Существой «инесса» уже во времена Инессы — и никаких тебе проблем. Во всяком случае, согласишься, в посткоммунистической России это звучит пикантно. Идея твоего покорного слуги...

«Покорный слуга» и в самом деле отправился в Америку. И умолк. Прислал только через «Сантину» роскошный, изданный в Милане альбом «Петербург вчера и сегодня», а фирма добавила от себя в качестве omaggio<sup>117</sup> набор из двенадцати образчиков своей продукции. Меня позабавил стилизованный крестик, изображенный на каждом пакетике.

Гоголев провел в Америке — главным образом, в Кливленде — три месяца с гаком. Там он убедился, что американцы бесспорно лидируют и в этой области легкой (очень легкой) промышленности, и подписал с владельцем фабрики «Глэймор», Пэтом Макферсоном, контракт о создании joint venture<sup>118</sup>. Американцы должны были поставить в Калугу специальное оборудование и посвятить русских в тайны производства нежной и «огнеупорной» (fireproof<sup>119</sup> — мало приличный рекламный ход) резины даже из самого примитивного сырья. Дешевую рабочую силу обеспечивала, ясное дело, Калуга. Президентом компании стал Пэт Макферсон, его заместителем — Гоголев. Контракт предусматривал, что в случае кончины Макферсона президентское кресло займет Гоголев, а в случае смерти Гоголева административный совет в Калуге изберет его российского преемника. Доход от продажи «инесс» (во всем мире) предполагалось делить пополам; в то же время «Глэймор» ограничивал свою деятельность Америкой. Вскоре после подписания контракта joint venture к сделке подключилась «Сантина», которая собралась было переименовать себя в «In Essa» («В ней»), но быстро отказалась от этой идеи, приняв во внимание, что Церковь — в условиях нарастающей угрозы СПИДа и чрезмерного детопроизводства в странах Третьего мира — потихоньку склоняется к большей терпимости по отношению к искусственным контрацептивным и антисептическим средствам. СПИД, впрочем, и сам по себе, вне зависимости от новой позиции Церкви, вызвал просто-таки всеобщий бум в интересующей нас отрасли.

По случаю обручения «Глэймора» и «Инессы» Гоголев пригласил Макферсона в Россию с ответным визитом. Американский фабрикант, в свою оче-

---

<sup>117</sup> Подарок (*итал.*).

<sup>118</sup> Совместное предприятие (*англ.*).

<sup>119</sup> Несгораемый, огнеупорный (*англ.*).

редь, провел в России, главным образом, в Петербурге и Москве, больше трех месяцев. О его пребывании там Гоголев доложил мне (к сожалению, трудно назвать это «рассказал») в Триесте. В Триесте? Да, несостоявшийся автор книги «Пруст и Свево» пожелал — в качестве будущего миллионера — познакомиться с родным городом итальянского писателя. Я снова навестил его, на этот раз — в трехзвездочном отеле «Улисс», названном так в память о великом ирландце, когда-то преподававшем в Триестской языковой школе Берлица.

Отчет Гоголева — после того как терпение читателя подверглось столь долгому испытанию — и выводит наконец на сцену главного героя.

Не обойтись, однако, без отступления на тему Триеста. Во второй раз я оказался в этом городе, и во второй раз меня тронула его среднеевропейская атмосфера, в которую вплетались кое-где итальянские мотивы. Мы с Игорем бесцельно слонялись по улицам, заглядывали в маленькие грязноватые закусочные, где (как гласила надпись в витрине — «Сегодня фляки»<sup>120</sup>), — совсем как в моих краях) можно съесть порцию фляков или выпить рюмку водки, закусив кусочком селедки. Посидели в мало напоминающих римские и миланские, так называемых «элегантных» кафе, где тональность разговоров и смеха, облик женщин и жестикуляция мужчин пронизаны воздухом Вены, Кракова, Львова. Это ощущал и Игорь — как профессиональный литературовед (он был превосходным знатоком всего, написанного Свево). И хотя при любом удобном случае расспрашивал о триестском писателе, правда без особого энтузиазма, он уже по уши увяз в «бизнесе». Восхищали его только цепи, протянутые вдоль улиц на случай ураганного ветра *бога*; следовало немедленно хвататься за эти цепи, дабы не позволить крыльям *бога* унести себя на тот свет или, по меньшей мере, в неизвестность. Игорь со школьной скамьи запомнил выражение «ветер истории» и был убежден, что с недавних пор он задул всерьез, но пока еще не в полную силу. «Поднимется однажды такой *бога*, что мир костей не соберет — порвутся все эти цепи. А пока что надо делать деньги, в них одних спасение».

В конце концов, история, которую он ради меня все пытался из себя извлечь, выплеснулась из Игоря в углу бара в отеле «Улисс» за бутылкой коньяка.

— Мне говорили, что это вы, поляки, придумали называть Россию Медведем, которого можно тормозить, когда он слаб, но не стоит дразнить, если он в расцвете своих медвежьих сил. Не обижайся: дурацкая это идея. Медведь, на время ослабевший, опаснее, чем здоровый. Но я все не уверен, что название пошло действительно от поляков. В конце концов, есть *Russian Bear*, *Orso Russo*, *Ours Russe*. Так или иначе, прилипла к нам эта национальная (и имперская) «медвежья» — оттого и мой,

---

<sup>120</sup> Национальное польское блюдо.

правдивый во всех отношениях, рассказ приобретает особый привкус метафоры или символического кода современной российской истории.

Макферсона мы отвезли сначала в Калугу, чтобы показать огромное здание обкома, мощные стены которого должны были через месяц принять в себя американское оборудование вместе с американскими инструкторами. Мы также представили ему подобранный нами персонал: сто пятьдесят рабочих и пятьдесят сотрудников администрации. Его, правда, поразила пропорция, но успокоило заверение, что со временем оборудование начнет вытеснять рабочих. «А фабричная бюрократия?» «Ее мы долго не будем трогать — надо ведь сохранять хорошие отношения со все еще могущественными партийными экс-функционерами». Сомневаюсь, чтобы Пэт постиг нашу посткоммунистическую специфику — главное, что он согласно кивнул. Из Калуги мы повезли его сначала в Петербург (поскольку это мой родной город), а затем в Москву. Настало время российской *dolce vita*, реванша за американские чудеса и развлечения.

С нашей помощью Макферсону открывалась Россия богатая и иступленно прожигающая жизнь, *Russia Milionaria*, как сказал бы наш неаполитанский драматург де Филиппо, страна, на краю бедности, а то и нищеты обжиралась изысканными блюдами, хлещущая, словно воду, отборные напитки, купающаяся в разврате без чувства меры и стыда. Поначалу он не верил своим глазам, но вскоре вошел во вкус этих прелестей *joint venture*. Мне иногда казалось, что в Америке за хорошие деньги он обзавелся запасным желудком. Он стал ненасытен и вульгарен, с утра до ночи был если не пьян, то хорошо поддавши, ел почти непрерывно, независимо от времени суток. Через два месяца он превратился в американского Гаргантюа. Лез сразу ко всем девицам (впрочем, красивым), которых мы подсовывали ему на выбор.

— Ни одной не пропущу, я не разборчивый, — глуповато гоготал он, объясняя нам все с тем же гоголем, что проверяет качество своей продукции «глэймор». И через минуту с серьезным видом оправдывался: «В сущности, это тяжкий труд». Так вот, как раз эротические излишества и подкосили, в конце концов, эту ненасытную утробу. Мы отвезли Пэта в московскую клинику с микроинфарктом. Три дня спустя, бодренький, он уже готовился к выписке. Я пришел к нему вечером с бутылкой лучшей водки. Выпив пару рюмок, он сделался вдруг sentimentalен и открыл мне мечту всей своей жизни.

Пэт, оказывается, был прирожденным охотником, но ни разу не имел возможности удовлетворить свои инстинкты *on a high social level*<sup>121</sup>. Охотился на всякую мелочь, поездка в Африку на сафари была ему не по карману (жалоба явно шотландского происхождения). *To make a long story*

---

<sup>121</sup> На высоком социальном уровне (*англ.*).

short<sup>122</sup>, ему хочется русской охотой на медведя утолить свое давнее желание, а медвежьей шкурой в кливлендском доме — поднять собственный social status<sup>123</sup>. Специфика его бизнеса, видите ли, не позволяет ему занять подобающее положение в своем кругу. В России же медведей — он и читал, и слышал — пруд пруди, белые медведи с голодухи порой забредают даже в Петербург, да и вся Россия — Большой Медведь. Сделав такое признание, он вопросительно и умоляюще заглянул мне в глаза. «Пэт, — ответил я, не задумываясь, — я сделаю для тебя все. Наше joint venture — это больше, чем экономическое предприятие, это кузница дружбы». Слово «кузница» привело его в восторг. Так что мое филологическое образование не пропало даром.

Ответил-то я, не задумываясь, а задуматься следовало бы, и хорошенько. Охота на медведя, с облавой, в лесах средней России — дело непростое. Проще бы в Сибири, но у нас не было ни желания, ни смелости тащить раскормленного, разжиревшего американца в Сибирь — очень уж рискованное при его физическом состоянии было бы мероприятие. Я узнал, что есть один питомник под Тулой, недалеко от Калуги. И подскочил от радости: появлялся шанс поймать господина Бога за бороду, вернее — Русского Медведя за лапы. К сожалению, я опоздал на месяц: в борьбе за самокупаемость хозяйства *zawkhos* месяц назад распродал нескольким зарубежным циркам (хотя предполагалось, что питомник будет обслуживать только отечественные) все имевшиеся в наличии экземпляры царя российских лесов по семь тысяч долларов за штуку. Я был на грани отчаяния. В определенной степени будущее (счастливое) нашего joint venture зависело от медведя. Я мысленно проклинал его, таскал за космы, стегал по морде хлыстом, тщетно пытаясь дать выход нервному напряжению. В России, однако, как тебе известно, без поллитры не разберешься — и вот однажды вечером я отправился на *vodkoroj*, где ежедневно собирались мои друзья и коллеги. Назывался он, в честь Венички Ерофеева, «Москва—Петушки». Это был, по сути, закрытый клуб для избранных (по образцу английских) — в него принимали только тех достойнейших, кто мог прочесть наизусть, от первой до последней страницы, шедевр нашей отечественной литературы. Во время вступительных испытаний экзаменатор и экзаменуемый обязательно распивали литр водки.

Так вот, рассказываю я о своих проблемах, опрокидывая стопку за стопкой, а на меня, усмехаясь, поглядывает Петя, мой ленинградский однокашник, спец по подозрительным делишкам, о котором ходили слухи, что он в курсе всего, что творится «на дне» Москвы и Подмоскovie. Слухи, разумеется, преувеличенные, но не лишённые доли правды. Мы вышли из ве-

---

<sup>122</sup> Короче говоря (англ.).

<sup>123</sup> Социальный статус (англ.).



ничкиного кабачка за полночь, Петя проводил меня до метро, обнял на прощание и шепнул на ухо: «Солнцево. Вот где твое спасение». Ничего больше он сообщить не пожелал. Мы решили на следующий день поехать в Солнцево — довольно мрачный район на окраине Москвы.

На краю Солнцева, где уже кончались бедные улочки, застроенные одностажными домишками, почти провалившимися под землю, мы свернули на узенькую тропинку, ведущую через усеянное отбросами поле, и под лай тощих бездомных псов направились к видневшемуся вдали сарайчику. Это оказалась довольно большая дощатая будка, кое-где залатанная ржавой жестью, покрытая толем. Петя постучал в покосившуюся дверь. В ответ послышалось пропитанное водкой *rugatielstvo*, сопровождаемое негромким звериным урчанием. «Придется немного подождать. Трофиму надо очухаться, чтобы открыть нам дверь, а Мише — слезть со своей подстилки, чтобы на *vsiakij pozharnej sluchaj* грозно встать рядом с хозяином». Трофим был старым спившимся циркачом, а Миша — престарелым медведем, вышедшим на пенсию главным участником коронных номеров некогда знаменитого «Медвежьего брата». (Сценическое имя «Медвежий брат» как нельзя лучше подходило Трофиму.) Наконец открытая пинком дверь распахнулась, и перед нами предстал громадный лохмач с налитыми кровью глазами, вонючий, с пучками соломы в седых патлах, поразительно похожий на своего питомца — исхудалого, покрытого бело-желтой шерстью, переминающегося с лапы на лапу, тоже явно повалявшегося в соломе, не способного как следует зарывать. Переговоры наши продолжались два часа. Трофим расхваливал своего партнера по арене, начал вдруг его величать «Михаилом Сергеевичем», каждый раз, когда мы принимались торговаться, припоминал или придумывал все новые способности дрессированного медведя: и трепак пляшет на задних лапах, и на велосипеде ездит, и сквозь горящие обручи скачет, и ребенка передними лапами качает. Сговорились на ста долларах и трех ящиках «Московской». Деньги Трофим получил сразу, а водку мы должны были привезти на следующее утро и той же машиной забрать «Михаила Сергеевича».

Я отвез его в Переделкино на дачу к приятелю, профессору испанской литературы Московского университета. Бездетный профессор отправился вместе с женой в Мадрид читать лекции, так что я смог свободно расположиться в доме, а Мишу устроить в просторном сарае. Медведя надо было прежде всего перекрасить — желтоватая седина уж очень явно выдавала его возраст. Что я и сделал с помощью присланного мне Петей безработного парикмахера. Мы остановились на темно-коричневом оттенке и воспользовались лучшим импортным фиксатором. Вместе с новым цветом Миша словно обрел второе дыхание, тем более что кормил я его отменно (у Трофима он, небось, голодал). И так ярко засиял далекий отсвет его бы-

лого медвежьего великолепия, что я невольно стал обращаться к нему «Михаил Сергеевич», причем глубоким номенклатурным басом.

Теперь оставалось убедить Пэта Макферсона, что переделкинские рощицы и есть дремучие российские леса, богатые зверем. Задача неожиданно упростилась — рассказывая о Переделкине, я упомянул дачу автора «Доктора Живаго». О да, он три раза смотрел этот прекрасный фильм, книги не читал, имени Пастернака не слышал, фильм ассоциировался у него, главным образом, с Джулией Кристи на фоне «исконной, погребенной под снегом России», но он абсолютно уверен, что такую вещь, как «Доктор Живаго» мог создать только a man of genius<sup>124</sup>. Так что теперь он мечтает не только помериться силами с русским медведем, но и посидеть в засаде у дома самого автора великого романа. За забором дачи рос огромный раскидистый дуб — там-то и собирался подстергать зверя мой Пэт. «Гнать» медведя решили с поросшего лесом пригорка, откуда сбегала, петляя, песчаная утоптанная дорожка. Охоту организовали превосходно: отвезенный на вершину холма Миша без труда дал себя уговорить пробежаться в последний раз по тропинке к дубу, за которым поджидал его Макферсон с отличным новеньким штуцером. У опушки близлежащей рощицы устроились фотографы, призванные увековечить эту историческую сцену. Одного только я не предвидел — что сбоку на дорожку вдруг вылетит на тяжелом велосипеде девушка-почтальон. Увидев скатывающегося с горки медведя, она в ужасе вскрикнула и, бросив велосипед, опрометью кинулась в сторону — к соснам и высоким кустам.

Трофим отлично выдрессировал своего Мишу: увидев валяющийся на тропинке велосипед, тот сразу понял, что от него требуется. *Mного uvazhajemyj* «Михаил Сергеевич» предстал изумленному и перепуганному взгляду мистера Макферсона в седле велосипеда, несущимся по последнему крутому отрезку дорожки прямо на дуб. Не буду вдаваться в детали, скажу лишь, что бедный мой Пэт поплатился за это зрелище разрывом сердца; я же издали наблюдал, как медведь — а точнее, Русский Медведь — обнюхивая, тычется в него мордой, а затем устало заваливается рядышком.

Так я и стал директором joint venture — американо-российско-итальянский совет должен утвердить меня в следующем месяце. Простая формальность. В Триест я приехал перевести дух перед грядущими трудами. И отпраздновать свой триумф в городе Итало Свево.

Великий Боже всех Православных, веками хранивший царей, а затем — к счастью, уже не так долго — цареубийц, благодарю Тебя, что в своей безграничной милости и безмерном терпении Ты соблаговолил выслушать Слово о триумфе Игоревом.

*Драгонеа, июль 1993.*

---

<sup>124</sup> Гениальный человек (англ.).

## БЕЛАЯ НОЧЬ ЛЮБВИ

### Театральная повесть

...Иль был он создан для того,  
Чтобы побыть хотя мгновенье  
В соседстве сердца твоего?..

*Иван Тургенев. «Цветок» (эпиграф к  
«Белым ночам» Ф. Достоевского)*

### Брат и сестра

Живые лица! Надо изображать жизнь  
не такую, какая она есть, и не такую,  
как должна быть, а такую, как она пред-  
ставляется в мечтах.

*Антон Чехов. «Чайка»*

Лукаш Клебан вышел из дома в Бэйсуотере. К счастью, его врач, хороший окулист, жил и принимал пациентов на первом этаже — нужно было, опираясь на палку, лишь спуститься по нескольким ведущим к калитке ступенькам. Неужели причиной резкого ухудшения стал окончательный диагноз? Сейчас он видел хуже, чем в полдень, когда пришел на прием, а ведь теперь было только два. Серый воздух октября 1998-го казался еще более серым, чем обычно. Из-за того, что дождь собирается? Или по той причине, что диагноз доктора Мэйхью перечеркнул даже слабую надежду?

Несмотря на сгустившуюся серость, он знал, как, держась за стены, добраться до кафе «Golden Bay». Это название всегда его смешило. «Золотой залив» в этой части Бэйсуотера — жутко мрачной, где на фасадах домов еще оставались следы сажи от старых фабрик!

Слабое зрение отнюдь не помогало ориентироваться в мутноватом окружении, и Лукаш доверился интуиции. В этом году он заглядывал в кафе часто — поскольку частыми стали визиты к окулисту; его привычный маршрут пролегал между столиков в угол к окну, где располагалась небольшая эстрада для вечернего оркестра. Сейчас, однако, он сбился с этого маршрута и, когда кто-то деликатно взял его под руку, почувствовал облегчение.

Незнакомец посадил его за столик в углу, склонился к нему и тихо сказал: «Sir Luke<sup>1</sup>, я рад познакомиться с вами лично (sir — потому что имя его в прошлом году оказалось в королевском списке представленных к титулу). Когда-то благодаря вам в репертуаре лондонских театров появилось множество российских пьес. Грибоедов, Островский, Гоголь, Чехов, особенно в «The Sea-Gull» Theatre<sup>2</sup>. Вашу сценическую версию «Белых ночей» Достоевского я считаю шедевром. Помню этот спектакль и по сей день».

Лукаш вежливо его поблагодарил, но за столиком все же захотел остаться один. Он ждал Урсулу. В последнее время он опасался пользоваться общественным транспортом и избегал даже такси. В случае необходимости Урсула забирала его на своей машине в центр, а потом отвозила в их домик в Уимблдоне<sup>3</sup>. Хотя его пенсия после многолетней режиссерской работы в «The Sea-Gull» Theatre на Стрэнде<sup>4</sup> и была достаточно высока, но Урсула все равно каждый день ездила в театр, где занимала неофициальную должность помощницы по административной части со скромным окладом, который, впрочем, не был в домашнем бюджете лишним.

Он был старше Урсулы на восемь лет, то есть ей еще не исполнилось восьмидесяти. Выглядела она, однако, гораздо моложе — может быть, благодаря необычной и редко у кого встречающейся красоте старости. Худая, стройная, с почти прозрачным лицом, морщины на котором были незаметны, энергичная, как-то даже по-юношески подвижная и, самое главное, смотрящая на мир большими зелеными глазами, внимательными и полными любопытства; в ее облике не было ничего общего с грузным и отяжелевшим мужчиной, внешне крепким, но явно уставшим от жизни. Никому бы и в голову не пришло, что у них общий отец.

— Ну как? — спросила она, взяв в свои маленькие узкие ладони его широкую лапу.

— Вот так, — ответил он, с огромной нежностью утопив свой затуманенный взор в ее зеленых глазах. — Окончательный диагноз плохой. Мэйхью утверждает, что лечением этот процесс не остановишь. Он зашел слишком далеко — я уже на грани слепоты. По-настоящему помочь может только операция. А они не всегда удаются, велик риск совсем потерять зрение. Однако в Падуе вроде бы живет итальянский чудо-окулист. Это он оперировал почти слепую жену Сахарова. Вот его адрес и адрес его клиники.

---

<sup>1</sup> Сэр Люк (англ.). (Здесь и далее — прим. перев.)

<sup>2</sup> Театр «Чайка» (англ.).

<sup>3</sup> Предмestье Лондона.

<sup>4</sup> Одна из главных улиц в центральной части Лондона, где расположены театры, фешенебельные магазины и гостиницы.

Он пододвинул к ней карточку и надолго умолк. Потом снова заговорил, медленно и грустно:

— Вообще-то операции — трудной и опасной — ждут в среднем два месяца. После операции — три дня в больнице с завязанными глазами. А пока что? Сейчас октябрь, на операцию нельзя рассчитывать раньше чем перед Рождеством. А пока что? — повторил он. — Днем лежать дома в темных очках, гулять — нечасто и недолго, слушать, как ты читаешь вслух, пока тебе это не надоест, молча вспоминать прошлое, всю жизнь. Писать категорически воспрещается. Ну и принимать лекарства, которые в предоперационный период помогают, а могут и не помочь. Как видишь, со мной не оберешься хлопот; не знаю, справишься ли ты, хоть ты меня и моложе. Нужна будет домработница — по крайней мере на дневное время, до твоего возвращения из театра. Пока это возможно, ты не должна бросать «Чайку». Подвожу итог: меня все-таки настигла та немощная старость, которая тебя чудесным образом щадит.

Кафе в это время дня, как обычно, пустовало, лишь случайные посетители торопливо доедали дежурный обед.

Урсула не без труда помогла ему встать. Снова подбежал незнакомец со словами: «Sir Luke, sir Luke!» Машину она поставила рядом со сквером. Час пик еще не настал, так что уличное движение было вполне сносным. До Уимблдона они доехали к четырем, как раз перед ранними осенними сумерками.

Он сел, стараясь справиться с одышкой, в глубокое кресло рядом с выходящей в сад стеклянной стеной — спиной к Урсуле, лицом к саду. Несмотря на позднюю осень, листва на кустах и деревьях сохраняла интенсивный зеленый тон. Он удивлялся, что по-прежнему видит ясную и незамутненную зелень и что листья перед его глазами не утратили свой чистый цвет. Так же получилось и с огнем, когда Урсула разожгла камин и уговорила его пересесть. Он смотрел на огонь, медленно выползающий из-под кучки щепок и угольных брикетов, и воспринимал цвет во всей его чистоте. В разнородном окружении, в переплетении нечетких теней взгляд его терялся, однако цвета однородные — зеленый сад и красный огонь — остались ему подвластны. Эта мысль его порадовала — ведь в ближайшие два месяца ни на что больше ему смотреть не придется. Зелень сада, впрочем, вскоре исчезнет, останется только красное пятно в камине. А вот в спальне на втором этаже, в заваленном книгами кабинете рядом со спальней он мог бы... Мог бы что? Поднимать голову к изредка проясняющемуся осеннему лондонскому небу? А прописанные врачом темные очки? Он вздохнул и тихо пробормотал — скорее себе под нос, чем Урсуле: «Страшное дело — старость». Но она, похоже, услышала, потому что ответила

смеясь: «Из обоих песок сыплется». Странно было слышать этот звучный смех женщины, которой через два года, в декабре 2000-го, исполнится семьдесят восемь. Ему-то уже было почти восемьдесят пять, и с каждым днем он все сильнее ощущал тяжесть растущего, как горб, возраста.

Спал он этой ночью плохо, ворочался с боку на бок, и впервые в его сердце закрался типичный старческий страх перед смертью в одиночестве, хотя он и был старше Урсулы; она же, бдительная и заботливая, лежа рядом с ним, лишь прикидывалась спящей.

Уснул он под утро, утешившийся и спокойный, после того как несколько раз тихо всплакнул (Урсула это слышала) с ощущением облегчения. Проснувшись, решил, что работу над автобиографией организует совершенно не так, как планировал ранее: писать ничего не нужно, достаточно, если он расскажет ее — главу за главой — молча, причем в третьем лице. Самому себе можно рассказать все то, чего он никогда не доверил бы перу и бумаге. И зеленым глазам той читательницы, что спит сейчас рядом. «Стану безмолвным повествователем», — улыбнулся он своему решению.

Перед тем как уехать в театр, Урсула купила ему две пары темных очков и приготовила два лежачих места: в спальне — удобную постель, а в кабинете-библиотеке поставила давно не использовавшийся шезлонг, в том месте у стола, где до сей поры стояло вращающееся кресло. Его выбор пал на шезлонг, а постель он оставил для послеобеденного сна. Он был как-то странно воодушевлен и почти счастлив, хотя опасение, что темные очки закроют от него голубое небо и зелень сада, подтвердилось.

Begin from the beginning<sup>5</sup>. Он родился в Костроме в 1914-м в семье поляка (хотя и сильно обрусевшего, но все же остававшегося поляком), учителя математики в одной из костромских гимназий. Женой Матеуша (Матвея) Клебана была русская, Софья (Соня) Криспина, актриса местного театра. Познакомились они в Варшаве в 1910-м, когда приехавший туда костромской театр дал единственное представление («Чайку» Чехова). Поселиться в Польше Соня отказалась, и Матеуш поехал за ней в Кострому, где вскоре получил место учителя. В Польше у него остались отец и младший брат, у которых было небольшое имение в Рыбницах, под Седльце. В брак они не вступали: она не хотела принимать католицизм, а он — православие. Лукаш родился накануне первой мировой и был окрещен в костромской церкви.

Революцию родители приветствовали, потому что сочувствовали эсерам. Сочувствие это заставило их в 1920-м бежать из России. Лукашу было тогда шесть лет, и он лучше говорил по-русски, чем по-польски. После того как отец внезапно умер, а младший брат эмигрировал в Америку, к Матеушу по наследству перешло имение под Седльце. Хозяином он

---

<sup>5</sup> Начнем с самого начала (англ.).

оказался неожиданно хорошим, а учительство бросил. Семья поселилась в скромной, но ухоженной усадьбе в Рыбцах.

Нет, нет (подумал он), это не тот тон: стиль такого «безмолвного повествователя» похож на стиль статьи в биографическом словаре. Можно рассказывать о себе и своей жизни в третьем лице, можно таким образом даже исповедоваться, однако в беззвучном течении автобиографического рассказа должен биться личный пульс.

Лишь теперь, в этот полдень, ясный и солнечный, что ощущалось даже сквозь темные очки, он осознал всю тоску пустого дома. За многие годы он успел отвыкнуть от этого чувства: дома, в праздники и выходные, он постоянно находился — в прямом и переносном смысле — бок о бок с Урсулой, а в его режиссерском кабинете в «The Sea-Gull» Theatre на Стрэнде практически не закрывались двери. Внезапно отрезанный от мира, лежа на застланной кровати в ожидании возвращения Урсулы из театра, он физически ощутил, что означают слова поэта «в четырех стенах моей боли». Выходя из дома, Урсула выключала внизу телефон и телевизор (вообще включавшийся редко), чтобы ему не нужно было спускаться вниз по лестнице. Наверху, правда, был проигрыватель с кучей компакт-дисков, однако слушать музыку не хотелось, и он лежал неподвижно, погружаясь время от времени в старческую дрему, а в моменты пробуждения возвращаясь к размышлениям о задуманном им безмолвном автобиографическом повествовании. Каким образом — не произнося вслух или не перенося на бумагу слова — вдохнуть в него жизнь? Как пробудить старые образы, забытые эпизоды, стертые временем черты знакомых лиц, некогда столь дорогих, а ныне поблекших и с каждым днем уходящих из памяти все дальше? Если я не смогу (продолжал думать он) преодолеть препятствия, постоянно возникающие перед слепнувшим человеком на склоне лет, то воскресить полумертвое прошлое не удастся. А я действительно стремлюсь его воскресить. Да, стремлюсь, ведь в конце концов это единственный способ украсть у собственной жизни остатки «утраченного времени». И единственный способ не только вызвать у себя долгий, несущий облегчение плач (который может быть и без слез), но и вернуть ощущение радости (пусть и смешанной с печалью) на пороге неизбежного «вечного покоя».

Скрип ключа в замке входной двери его обрадовал. Урсула вернулась раньше обычного и привела с собой небольшого роста индуску, которую звали Мэри. Ее, уже давно ищущую работу, сразу удалось нанять через агентство на Стрэнде. Она окончила в Манчестере, куда приехала из Калькутты, курсы медсестер, прекрасно говорила по-английски, часто и приветливо смеялась. Ни молодая, ни старая, она выглядела в хорошо сидящем сари лет на пятьдесят. В агентство она приехала сразу с деревянным сундучком. Урсула отвела ей комнату рядом с кухней, за стеной гос-

тиной. «Вот увидишь, это то, что надо, — сказала она Лукашу по-польски. — Мы поговорили в агентстве десять минут, и она меня очаровала».

Он перебрался из спальни в кабинет и сел в шезлонг. Все сомнения и страхи будто ветром сдуло.

Влюбленную в отца красавицу мать он помнил хорошо. Она «боготворила» (ее любимое слово) мужа и сына. Однако ему удалось заметить — несмотря на незрелость детских чувств, — что «боготворила» она их только в России, а после переезда в Польшу быстро к ним охладела. Актрисой она была фанатичной, что вовсе не подразумевало какого-то особого таланта; просто она «даже представить себе не могла» жизнь без театра. Позже, когда он, повзрослев, начал читать Чехова, мать напомнила ему Ирину Аркадину-Треплевую из «Чайки», безразличную ко всему, что не связано с театром. Семья? Семья была «превыше всего», но только если не мешала сцене. В Рыбцах же семилетний Лукаш сразу увидел другую мать. Вроде бы она по-прежнему ласкала и целовала его, при каждой возможности бурно изливая свои материнские чувства, однако в них было больше актерства, чем искренности. Точно так же, не умея скрыть экзальтированные нотки фальши, она относилась и к мужу. Матеуш часто возил ее в Варшаву, где белые эмигранты из России старались воссоздать некое подобие творческой среды, предполагавшей среди прочего и театральные постановки. Однако слабые актерские способности Со-ни в сочетании с истерически «надрывной» игрой вызывали лишь жалость.

В конце концов случился тот страшный ночной разговор отца с матерью, в котором было все: любовные признания, вспышки гнева, угрозы, оскорбления, клятвы на коленях, новые слезы любви, и в итоге, на рассвете — окончательный разрыв. Мальчик тихо сидел у дверей в своей комнате, слышал каждое слово и дрожал. Утром отец, хотя и пребывал в сильном волнении, все же уехал на пруды — чтобы не бросать ежедневные хозяйственные дела. Мать, зацеловав ребенка аж до боли и залив потоками слез, украдкой пробралась на конюшню и упростила кучера отвезти ее на бричке в Седльце. Оттуда, как выяснилось позже, она отправилась поездом до Варшавы. Похоже, что она заранее договорилась о визите в советское посольство. Дальше след обрывался. Отец, впавший в отчаяние и принявшийся искать утешение на дне бутылки, пытался писать родственникам в Кострому. В ответ он получил лишь несколько слов от невестки: «Sonia była zdies' dwa dnia. Zatem ujechała, nie znamy kuda»<sup>6</sup>. Уже тогда подобное известие звучало зловеще. Софья Криспина-Клебанова попросту исчезла. Лукашу она перед побегом из Рыбц оставила двухтомник пьес Чехова с размокшим от слез, плохо читавшимся посвящением. Кое-как разобрать можно было лишь по-

---

<sup>6</sup> Русские слова и фразы здесь и далее даются в авторской транслитерации.



следние слова: «Łuka, synok moj dorogoj, ty obiazatielno dołżen lubit' Antona Pawłowicza». Характерно, что писателя она назвала здесь по имени и отчеству. Ведь Чехова она никогда в жизни не видела.

Своеобразный траур сохранялся в рыбицкой усадьбе в течение всего бесконечно долгого, тяжелого года. Матеуш Клебан отправлялся в поле, на мельницу или на пруды, даже не заглядывая в комнату сына. Его опекала Куписова, бездетная вдова из близлежащей деревеньки. Еще затемно она приезжала на велосипеде, а домой возвращалась, закончив готовить ужин. Утром он занимался со своим репетитором, недоучившимся студентом по фамилии Щука; с ним же потом и обедал. После обеда катался на подаренном отцом пони, сидел с удочкой на берегу пруда или купался в речке. Несколько словами они обменивались с отцом лишь тогда, когда тот возвращался домой на ужин, после которого, молча встав из-за стола (порой с помутневшими глазами), сразу шел в спальню.

Как-то ранней весной неуклюжая и довольно норовистая лошадка, перескакивая через канаву в роще, сбросила маленького наездника. Падая, Лукаш ударился о дерево ногой и в двух местах сломал ее. Нога могла бы срастись хорошо, не будь врач больницы в Седльце коновалом. В конечном счете она срослась, но плохо. Теперь Лукаш был обречен хромать до конца жизни. Пока он лежал дома в постели, за ним ухаживала молодая фельдшерница. Сначала она приезжала в Рыбицы на велосипеде, потом стала оставаться на ночь. Регине, дочери еврейского торговца из Седльце, удалось скрасить одиночество Матеуша Клебана. Она была довольно красивая и стройная — но с лицом мертвенно-бледным из-за того, что в детстве много болела. Рыбицкий дом с появлением Регины наполнился жизнью. Лукашу было почти девять лет, когда она подарила его отцу дочку, а ему — сестричку. А вот как от фельдшера пользы от нее было немного. Прежним резвым и подвижным мальчиком Лукаш уже не стал и за пределы усадьбы, тяжело ковыляя, выходил редко.

Девочку назвали Урсулой и окрестили (вынудив мать согласиться) в рыбицком костеле. Вскоре Регина — как прежде Соня — исчезла, практически растаяла в воздухе. Ее отец поклялся, что не знает, куда она делась. Хотя затем с неохотой добавил: «Наверное, отправилась с друзьями в Палестину. И правильно, в Польше ей не было места». А ребенок? «Это не *наш* ребенок». Для «не нашего» ребенка пришлось искать кормилицу. Дочку Регина оставила так легко, будто инстинкт материнства у нее вообще отсутствовал. А у Клебана в свою очередь не было замечено особого отцовского инстинкта. Зато Лукаш с самого начала смотрел на маленькую Урсулу с восхищением и любовью.

Он встал с шезлонга и, спотыкаясь о валяющиеся на полу книжки, кое-как добрался до застекленных дверей балкона. Припав лицом к стек-

лу, смог разглядеть в осенней измороси зеленые пятна кустов, цвет которых был слегка приглушен темными очками. На мгновение ему показалось, что он смотрит на гладкую поверхность озера.

Собственно говоря (осознал он внезапно), уже на пороге двенадцатого года жизни я родился заново, почувствовав, как засыхает и отслаивается оболочка детства. В доме он фактически стал хозяином — отец появлялся редко, почти всегда навеселе, часто даже не возвращался на ночь; тогда говорили, что он «загулял» в Седльце. Ведение хозяйства было поручено управляющему, пану Витольду, человеку порядочному, семья которого вот уже два поколения была связана с семьей Клебанов. Деньги на жизнь и на неотложные нужды отец давал прямо в руки одиннадцатилетнему сыну. Лукаш уговорил Куписову поселиться у них в доме и отвел ей и няньке соседнюю со своей комнату, предназначенную для сестры. Он прогнал репетитора-недоучку и нанял вышедшего на пенсию преподавателя из седлецкой гимназии, который за соответствующую плату согласился через два дня на третий проводить в усадьбе целые сутки. Основательная учеба приносила свои плоды — каждый год Лукаш экстерном сдавал экзамены комиссии в Седльце; такая форма обучения была ему разрешена с учетом все еще неважного состояния его ноги.

А как обстояло дело с радостями молодой жизни — ведь телесный изъян лишил его обычных мальчишеских развлечений и забав? Он нашел две замены. Вначале — общество подрастающей Урсулки, подрастающей так быстро, что у нее уже резались первые зубки, и она начала забавно выговаривать простые слова. А затем, на тринадцатом году жизни, — неторопливое погружение в царство двух томов, подаренных ему матерью на прощание.

Чехов в руках тринадцатилетнего мальчишки! Несмотря ни на что (уверял он себя), я не вижу в этом ничего странного. Не будем обращать внимания (думал он вдогонку) на известное высказывание Толстого по поводу смерти Чехова: «Скромный и тихий, как девушка». Чехов был чем-то большим. Поэт самых простых чувств, со взглядом чрезвычайно взрослым и мудрым, но одновременно сглаженным доброй детской улыбкой. Старый и слепнувший sir Luke на пике своей мировой славы имел право сказать, что именно он с самой ранней юности, еще не познав всех чеховских глубин, и до самого конца своего жизненного пути, на котором он стал величайшим (по мнению критиков) постановщиком пьес Чехова, — что именно он, набираясь при помощи двух русских томов любви к автору «Чайки», одновременно жил любовью к своей единокровной сестре. Что это было, как это все сочеталось и переплеталось, он был не в силах объяснить. Он мог лишь сказать: было. Каждый день, каждый миг долгой, теперь медленно угасающей жизни. Даже... Его вдруг передернуло, он пошатнулся; еще чуть-чуть, и он навалился бы всем телом на окно, выдавил стекло и упал, наверняка бы покалечившись,

на газон. «Не сейчас», —прошептал он; придет и этому время в его безмолвной — не проговариваемой, не пишущейся, а исключительно мысленной — исповеди. С трудом удерживаясь на ногах, он вернулся на свой шезлонг.

По поручению хозяйки в половине первого к Лукашу пришла Мэри. Она осторожно провела его вниз по лестнице до кухни, усадила за большой обеденный стол и поставила перед ним чайник, кувшин с молоком и тарелочку с бутербродами. Обедали в Уимблдоне вечером, когда Урсула возвращалась со Стрэнда.

Мэри действительно оказалась симпатичной особой, часто и заразительно смеявшейся, однако о чем с ней говорить, он не знал. В театре она никогда в жизни не была, хотя здание «The Sea-Gull» Theatre видела. Вдова. «Будь я родом из штата (тут она, смеясь, произнесла его название), меня бы уже не было в живых, потому что мой муж умер два года назад». Он посмотрел на нее вопросительно. Она пояснила, все еще смеясь: «Это единственный штат, в котором обязательно так называемая «конкремация»: если умирает муж, то вместе с ним должны сжечь и вдову».

Ему вдруг стало нехорошо, и он попросил отвести его наверх, в спальню. Вытанувшись с помощью Мэри на постели, Лукаш сразу же провалился в крепкий сон без сновидений. Вернее, сновидение было, но только одно: море огня на пустом поле. Разбудила его уже Урсула. Тихонько присев в плаще на край постели, она взяла его ладонь в свою. Как же он любил этот жест преданности!

На пятнадцатый день рождения отец подарил ему неделю каникул в Варшаве с согласия его одинокой тетки, бывшей почтовой служащей, жившей на маленькую пенсию, но в большой, унаследованной от родителей квартире на Сенной. Тетка Евгения страдала от одиночества — хотя приходила в ужас от одной мысли пустить к себе жильцов, — и визит Лукаша восприняла поэтому как праздник. «Я покажу тебе нашу столицу, — взволнованно говорила она, — а если после окончания школы ты приедешь учиться в Варшаву, уступлю тебе комнату бесплатно. Одной жить тяжело, я тут никого не знаю, а твой отец появляется у меня редко и остается не больше чем на два-три дня».

Она действительно старалась показать ему город, а сам он часто ходил в театры на дневные спектакли. Она готова была даже сопровождать его, хотя и предпочитала кино — «иллюзион», как его тогда называли. Подарок судьбы! На гастроли в Варшаву приехал театр из Москвы с несколькими спектаклями, среди которых были «Вишневый сад» и «Три сестры» Чехова. Бедная тетка Евгения героически боролась со сном рядом с раскрасневшимся от избытка чувств и даже впавшим в состояние некоего транса Лукашем.

Домой в Рыбицы он вернулся, еще не оправившись от транса. Сцена за сценой он описывал оба спектакля семилетней Урсуле, которая почти ниче-

го не понимала, однако не отрываясь смотрела на рассказывающего и время от времени «показывающего» брата. Она была красивой и смысленной девочкой, хотя и унаследовала от матери бледность и склонность к меланхолии. В школу она не ходила, а училась дома под присмотром Лукаша.

Уже тогда я (удивлялся Лукаш) — не раз перечитавший два русских тома Чехова пятнадцатилетний мальчик, счастливый зритель двух варшавских спектаклей — осознал величие и своеобразие чеховского театра. Театр — это либо особый, живущий по своим законам мир, нечто вроде замкнутого космоса человеческой драмы, либо изолированный эпизод, вспыхивающая и быстро гаснущая искра. Действительно, кажется невероятным, что мне так рано, на пороге юношеского созревания, удалось ухватить главное. Может, это было сродни виртуозной игре вундеркиндов на фортепиано или скрипке? Только у них дар божий исчезает обычно так же быстро, как и появляется. А я уже тогда знал, что судьба указала мне дорогу, с которой я не сверну никогда.

Теперь, через столько лет, он пытался установить, что же именно молодой Лукаш смог понять сразу, а до чего ему удалось дойти, лишь повзрослев. Поразмышлять над этим он почему-то решил под музыку. Он включил давно молчавший проигрыватель, и кабинет на втором этаже наполнился звуками его любимых произведений. Лукаш был настолько ими поглощен и вдобавок настолько занят размышлениями о театре Чехова, что, когда в положенный час на пороге появилась Мэри, он рукой дал ей знак, чтобы она его не беспокоила.

Он слушал концерт Рахманинова со Святославом Рихтером, слушал Моцарта и Шуберта, слушал «Гольдберг-вариации» в исполнении Гульда и, наконец, «Сон в летнюю ночь» Феликса Мендельсона. Знатком он не был, но музыку любил и гордился своим хорошим вкусом: ставя спектакли в театре «Чайка», он часто находил удачные музыкальные решения. Под впечатлением импровизированного концерта он снова — в который раз! — погрузился в стихию чеховского театра. Тихая музыкальность, исключительная простота, смутная тоска по уходящему времени, евангельский дух у далекого от религиозности писателя, «жизнь, как она представляется в мечтах» и в то же время изображаемая реалистично (с соблюдением чувства меры), но порой с болью и страданием, снисходительная улыбка, ирония по отношению к попыткам представить «мир через две тысячи лет», пренебрегая происходящим здесь и сейчас, невероятная легкость в изображении нюансов человеческих отношений, мудрость без всякого намека на мудрствование — продолжать можно до бесконечности. Он вспомнил прочитанное где-то описание смерти доктора Чехова в Баденвейлере в 1904 году. «Tod?»<sup>7</sup> — спросил он немецкого врача. Не получив ответа, сказал жене: «Умираю», а врачу:

---

<sup>7</sup> Смерть? (нем.).

«Ich sterbe»<sup>8</sup> — и попросил бокал шампанского. В этой сцене Лукаш видел сверхлаконичный конспект всей жизни писателя. «Жизнь прожить — не поле перейти», — написал в одном из стихотворений Пастернак. «Жизнь прожить — это перейти медленно и осторожно, на цыпочках, через все те годы, что отвела нам судьба», — написал бы Чехов. Как мог Шестов называть его «убийцей человеческих надежд»? Лукаш всегда стремился ставить чеховские пьесы в тональности музыкальной фразы, приглушенной и вместе с тем драматичной. И все же кое-что у любимого автора его не устраивало. Имел ли он право своей режиссерской волей что-либо изменить? Имел — потому что любил его. Такой подход вначале стал предметом бурной полемики, но впоследствии был встречен аплодисментами публики и получил признание критики. Однако в своей безмолвной автобиографии ему не хотелось опережать события. Когда придет время, он расскажет и об этом.

Относительно неплохая погода в воскресенье позволила им воспользоваться советом доктора Мэйхью «нечасто и недолго гулять». Осеннее солнце выглядывало из-за туч и пряталось обратно с регулярностью хронометра. Улицы заполнились набожными прохожими, спешащими в соборы и часовни. Целью короткой прогулки Лукаша и Урсулы был скверик на перекрестке, где под раскидистым деревом стояли две скамейки.

Лукаш шел очень медленно, неуверенно ставя ноги и всей своей тяжестью опираясь на руку Урсулы, — так, что ей приходилось слегка отталкивать его от себя. С того момента как окулист поставил окончательный диагноз, прошло совсем немного времени, а налицо была уже полная катастрофа. По всей видимости, прежде всего психологическая — как если бы лишь теперь его слепнувшим глазам открылась вся правда.

Не в силах справиться с тяжестью его тела, она в очередной раз отстранилась, однако тут же снова крепко к нему прижалась. Они были похожи на влюбленную парочку.

Прогулка, которая раньше занимала десять минут, растянулась до получаса. Лукаш даже не сел на лавку, а просто упал на нее. И от усталости долго переводил дух.

— Дорогая, — придя в себя, сказал он, — мне очень мало известно о том, как ты жила без меня, когда я учился в Варшаве. Я тогда приезжал на каждые выходные, но ты рассказывала о себе немного и неохотно.

— Зачем это тебе теперь, когда прошло столько лет?

Он не стал посвящать ее в тайну своей безмолвной автобиографии, однако честно признался:

---

<sup>8</sup> Я умираю (нем.).

— Когда я часами лежу и не могу ни читать, ни писать, мне остается только копаться в прошлом, пусть даже и очень далеко.

Видимо, этот аргумент ее убедил, потому что она сразу же начала рассказывать, хотя (он был в этом уверен) явно не все. Нетрудно было, особенно ему, уловить в ее рассказе нестыковки, замалчивания, уход от скользких моментов.

— После твоего отъезда в Варшаву я почувствовала себя очень одинокой. Отец все больше пил, домой заглядывал редко, стал грубым, во всем доверял пану Витольду, а мне давал деньги только на хозяйство, как раньше тебе. Куписову я прогнала — она стала уже не нужна. Убирала и готовила я сама. Учиться дальше сил не было; я только много читала. Иногда вечером приезжал пан Витольд и забирал меня к себе домой: он жил там со своим единственным сыном Богданом. Обычно мы играли в карты — не на деньги, конечно. Богдан, случалось, брал меня с собой на танцы. (Небольшая пауза.) Я очень скучала по тебе. И — представь — по матери, которой не знала. Странно, что обе наши матери исчезли без следа. У тебя-то хоть фотография осталась. Ах, какая же была тоска, как я ждала твоих субботних приездов!

Домой они добирались столь же долго — около получаса. Лукаш так утомился, что не стал обедать и сразу лег в постель. Он проспал, хотя и беспокойно, почти до вечера; Урсула поднималась наверх, но разбудить его не решилась.

С ног его свалила не столько усталость и внезапная сонливость, сколько полуобморочное состояние. «Значит, всё? — подумал он, проснувшись и глядя на пятно окна. — Не думал, что дело зашло так далеко. Неужели я умру первый?» С одной стороны, это означало, что он не останется в одиночестве. Но в одиночестве останется Урсула. Материальных проблем у нее, безусловно, не будет. Ей, конечно, помогут коллеги по театру, хотя пока она держится от них на определенной дистанции. Но не это главное. Главное — то, что за многие годы совместной жизни их нервные системы срослись в единое целое. Как разделить их, избежав страшной боли? Может быть, есть смысл в конкремации, рассказ о которой так его взволновал? В смешении двух испепеленных существ, полном и необратимом, окончательном и вечном?

И еще кое-что осознал он после аварийного звончка обморока. Если ему и вправду обязательно нужно довести свою безмолвную автобиографию до конца, то нет смысла отвлекаться на мелочи.

Я утону в них, прежде чем смогу на пороге смерти увидеть всю свою жизнь. Я растворюсь в них, растеряю самое важное и буду раздавлен массой незначительных деталей. Уже сейчас — сколько всплыло в памяти лишних фактов и событий! Мне казалось, что перед тем, как взяться за кисть, следует хорошо загрунтовать холст. А так ли это? Разве наша

жизнь не выстраивается из отдельных блоков, каждый из которых приобретает тем более отчетливый образ, тем более естественные очертания, чем сильнее он отличается от других, чем больше в нем мелких деталей, чем точнее он обтесывается резцом скульптора?

В это воскресенье он отказался спуститься вечером вниз, несмотря на настойчивые просьбы Урсулы. «Небольшой пост мне полезен», — сказал он. Ему казалось, что бессонная ночь на пустой желудок облегчит переход к следующей главе.

Ночь, действительно оказавшаяся бессонной и невыносимо затянувшаяся, обманула его надежды и вовсе не облегчила переход к следующей главе, а, напротив, разбередила старые раны. Он вспоминал время перед получением аттестата зрелости в Седльце, тяжелое, с пересдачей нескольких экзаменов, с мучительным ощущением пустоты в голове, как будто все заученное вдруг бесследно выветрилось. На Урсулу он смотрел с каким-то обостренным вниманием и впервые — не как на любимую сестру. Скоро ей должно было исполниться четырнадцать, она внезапно расцвела, унаследованная от матери бледность исчезла, а смуглое, с легким румянцем лицо и верхняя половина тела свидетельствовали о преждевременной наступающей зрелости. В голове у нее загулял ветер, и она часто исчезала из дома на два-три часа; вернувшись, на расспросы не отвечала и с вызовом глядела ему прямо в глаза. По всей видимости, именно Урсула мешала ему в этот и без того нервный экзаменационный период. Он смутно осознавал какую-то перемену в своем отношении к сестре. Ведь раньше он мечтал уехать в Варшаву, чтобы поступить в театральный институт, теперь же его желание поухило и он искал любого предлога, чтобы остаться после экзаменов в Рыбцах. Как на беду, почти совсем спившийся и редко появлявшийся дома отец внезапно опомнился, перестал пить и «гулять» в Седльце, частично отобрал у пана Витольда власть над хозяйством и включился в семейную жизнь. Никогда, ни одной минуты он не любил Регину, зато на Урсулу смотрел теперь с неизменной нежностью. Весомого предлога, чтобы остаться, Лукашу найти не удалось. Он сдал, хотя и с опозданием, экзамены, уехал к тетке в Варшаву и в возрасте двадцати двух лет записался на режиссерский факультет Института театрального искусства. Конец недели он проводил в Рыбцах. И с каждым новым приездом сплетни о «романе» Урсулы с сыном пана Витольда, Богданом, все больше травмировали душу.

В Варшаве расцарапанная ранка исподволь заживала. «Нельзя верить какой-то там сплетне, — убеждал он себя. — Ведь то, что я вижу в Рыбцах, опровергает всю эту пустую болтовню». Урсула всякий раз встречала его с неподдельной девчоночьей радостью, а провожала с такой грустью, что он до последнего момента затягивал свой отъезд на вокзал в Седльце.

Каким же приятным, легким, веселым и полным очарования городом была тогда Варшава! Я выучил наизусть «Песню для Варшавы» Либерта, и гвоздем в голове торчала строчка: «Здесь ни Запад, ни Восток». Именно это больше всего восхищало меня, наполовину русского, наполовину поляка. В институте я тоже быстро почувствовал себя как дома. Равного этому превосходному — высокопрофессиональному и богатому — учебному заведению не было, пожалуй, во всей Европе. Какие замечательные преподаватели! Институт был святыней театрального искусства, и с каждым днем я осознавал это все яснее. Я учился на режиссерском, но захаживал и на занятия других факультетов: правилами это не запрещалось. А не запрещалось потому, что в институте удалось создать атмосферу почти семейную. Даже флирт здесь был особенным: флиртовали, беседуя о театре. Кстати, тут я отличался от других, отчего меня считали «чужаком»: всю неделю я дожидался двух дней в Рыбцах...

Учение давалось ему легко, он жадно поглощал театральные знания, театр был у него в крови. Достойный сын экзальтированной русской актрисы, он все острее сознавал, что корни его — в России. Поляком он чувствовал себя даже меньше чем наполовину; его раздражали, с одной стороны, специфическая польская привередливость по отношению к окружающим и неоправданное легкомыслие, а с другой — склонность громко бить в национальный бубен и всячески выпячивать национальную гордость. Слушая лекции и занимаясь на семинарах своего замечательного учителя и выдающегося режиссера, который пропагандировал идею польского «монументального театра», про себя он инстинктивно повторял: все же я с ранней юности пил из иного источника, припадая к подаренному мне матерью евангелию от Чехова. К театру, чуждому по своей природе, по внутренней сути какой-либо монументальности, всегда настроенному на тихую ноту человеческой повседневности и в то же время глубоко волнующему, насколько волнующим может быть шепот любви — взаимной или неразделенной. В польском театре он этой ноты не слышал, а слышал национальные заклинания у Мицкевича, пророческие колокола у Красинского и трепетание ангельских крыл у Словацкого. Ему нравились одноактные пьесы Норвида, забавные издевательства Фредро, из более современных — театр Виткация, Мицинского и Ритнера, а из новейших — туманный театр Шанявского; Жеромского Лукаш терпеть не мог. Он наслаждался мастерством превосходных польских актеров, но сильно сомневался, способны ли актеры других стран хорошо играть в переводных польских пьесах. Хотя и драматургия большинства прочих народов была ничем не лучше: национально ограниченная, озабоченная лишь своими проблемами, непереводаемая. За исключением греческих трагиков и Шекспира.

Греческие трагики и Шекспир — это, по сути, метатеатр, выходящий за рамки театра обычного, пусть даже самого оригинального и изобрета-



тельного. Театр уникальной широты и глубины, находящийся за пределами канонической «драматической ситуации» и ставящий самые кардинальные вопросы.

На третьем курсе была организована поездка десяти студентов и студентов на шекспировский фестиваль в Стратфорд-он-Эйвон. В эту группу попал и Лукаш. Им удалось увидеть три постановки: «Гамлет», «Макбет» и «Буря». Лукаш читал Шекспира в польских переводах, но ему показалось, что он смог бы понять и оценить три эти представления и вовсе не зная текста. Здесь на сцене ощущались — в английских оригиналах и в исполнении шекспировских актеров — праисторические корни, извлеченные из праисторических глубин человечества, и существовали они в форме явных или подразумеваемых высказываний на некоем универсальном языке. Шекспир — как и греческие трагики — облек их в речевую оболочку той земли, по которой мы ходим, толком не понимая, по какой же мы ходим земле.

На обратном пути из Стратфорда они на сутки остановились в Лондоне. Им дали билеты на чеховского «Иванова» в «The Sea-Gull» Theatre на Стрэнде. В этот вечер Лукаш сидел на галерке того театра, в котором когда-то, в далеком будущем, ему доведется стать главным режиссером. Неожиданно ему пришло в голову, что в исполнении английских актеров тяжеловатая четырехактная драма выглядит вполне сносно, а временами постановка даже сохраняет верность духу Чехова. Возможно, причиной тому была особая, редко встречающаяся у других народов английская сдержанность в словах и жестах? Может быть, именно такую сдержанность Чехов привил своему родному языку? Сегодня, вспоминая на краю могилы молодость и глядя сквозь приоткрытое по причине хорошей погоды окно на темно-зеленое пятно сада, он тихо прошептал: «Мысль еще не вполне зрелая, но для двадцатичетырехлетнего студента вовсе не глупая».

Когда в воздухе повисла черная и тяжелая туча войны, ему, значит, было двадцать четыре. Постепенно туча эта становилась все более отчетливой и все более пугающей: он несколько не одобрял то высокомерное *chwastowstwo*, с которым его полусоотечественники готовились к победному маршу на Берлин.

В Институте театрального искусства для защиты режиссерского диплома нужно было подготовить короткую инсценировку. Его ближайший друг инсценировал новеллу Конрада «Завтра». Ему же декан факультета, великий режиссер Леопольд Гиллер, посоветовал взять «Белые ночи» Достоевского. Он согласился, быстро переделал повесть в пьесу, нашел на актерском факультете трех молодых исполнителей, но до спектакля дело не дошло. За неделю до дипломного представления, в начале июня 1939-го, было объявлено о досрочном завершении академического года. В середине июня у него еще оставались надежды на организацию дипломного показа «Белых ночей», но вскоре

он понял, что пора возвращаться в Рыбицы. Отца дома он уже не застал, его призвали — по возрасту — на службу в обозе (в сентябре он погиб в бою под Коцком). Лукаш стал ждать мобилизационного предписания (чисто формального, с учетом его физической неполноценности) вместе со своим ровесником, единственным сыном пана Витольда, здоровяком-красавцем Богданом.

Лето 1939-го, будто назло стране, которой угрожает вражеское нападение, выдалось прекрасным. Таким прекрасным, каким только может быть лето в этой части Европы. Ясным, солнечным, хотя временами и с холодным ветром. Цветы цвели бурно и не собирались осыпаться. Подсолнухи вокруг рыбицкой усадьбы казались в этом году крупнее обычного и выглядели как золотые воинские щиты. Карпы в прудах грелись у самой поверхности воды и уходили на дно, лишь потревоженные чьими-либо шагами. Купы трав на перемычках между прудами разрослись больше обычного. Кони на лугах вдоль берега реки паслись спокойно и не вскидывали пугливо при любом постороннем звуке морды с подрагивающими ноздрями. Река все еще не вернулась в свое русло после весеннего половодья. С другого берега можно было босиком прошлепать до лесистого холмика, «ostrowka», на котором Лукаш любил лежать в густых зарослях папоротника. Словом, перед ожидавшимся ударом лето в Рыбичах выглядело совершенно беззащитным.

После того как отца забрали на войну, Лукаш стал чаще общаться с паном Витольдом. Природа была так дружелюбна по отношению к рыбицкому островку покоя, а на чистом небе так долго не появлялось ни единого облачка, что трудно было поверить в приближение бури. На задах усадьбы, возле ухабистой дороги на Седльце, несколько лет назад пан Витольд разбил небольшой сад. Яблони уже дали первый урожай, а разросшиеся кусты крыжовника живой изгородью отделили сад от дороги. В саду, в гамаках, проводили дни Лукаш и Урсула. Все страхи и подозрения остались в прошлом. Когда Лукаш вернулся из Варшавы, она сразу же, смеясь и плача, бросилась ему на шею. К своему совершеннолетию Урсула стала по-настоящему красива. Лукаш восхищался ее стройной фигурой, ее расцветающим женским очарованием, не мог отвести глаз от длинных распущенных светлых волос и пышущего здоровьем лица, так не похожего на бледное и болезненное лицо ее матери, Регины. Уже тогда он не сомневался, что влюблен в нее. В сестру? При слове «сестра» его бросало в дрожь. «Ведь она же не совсем сестра, — повторял он с каким-то отчаянным упорством, — а только наполовину».

Под конец ноября Лондон внезапно накрыло волной пронизывающего холода, и было решено, что на день он станет перебираться вниз, в комнату с хорошим камином, поскольку стоявшая наверху газовая печь хоть и выглядела солидно, но грела слабо, и ночью удавалось спастись лишь под горой одеял.

Наступил заключительный, подкрепленный конкретной датой этап ожидания. Окулист из Падуи, доктор Антинори, назначил операцию на 6 января (День трех волхвов, а для итальянцев — день Бефаны<sup>9</sup>) 1999 года. Урсула решила, что в Венецию, откуда до Падуи полчаса на машине, они поедут в середине декабря. В Венеции в это время года все было закрыто, для туристов наступал мертвый сезон, а труппы, приезжающие на гастроли в заново отстроенный театр «Ла Фениче», размещались в небольшом «театральном» отеле *Альберго «Гольдони»* в Дзаттере. Знаменитый Sir Luke, il grande regista del «Gabbiano» di Londra<sup>10</sup> и его энергичная жена из администрации «The Sea-Gull» Theatre без труда смогли заказать с 16 декабря двухкомнатные апартаменты. Лукаш как ребенок радовался звонкому слову *gabbiano*, по-итальянски — «чайка».

Успев хорошо освоиться наверху, к первому этажу Лукаш привыкал целых два дня. Естественно, не как хозяин, а как безмолвный повествователь. Нарушение уже сложившегося ритма жизни не лучшим образом сказалось на его работе над воображаемой автобиографией. Он раздраженно ходил по комнате и один раз даже упал, неудачно поставив трость. Мэри пришлось осторожно поднимать его с пола и столь же осторожно усаживать в кресло у камина.

Подлинную причину его раздраженности определить все-таки было трудно. Возможно, он не хотел самому себе признаваться в том, что воспоминания подвели его к событию, которое в дальнейшем, на протяжении многих лет, отзывалось в нем пусть и слабеющей, но все же так до конца и не утихшей болью. И он испугался нового прикосновения к незаживающей ране.

День тогда уже шел к концу, и солнце опускалось к горизонту. Лукаш лежал на склоне пригорка среди высоких побегов папоротника, головой вниз, к зарослям айра на мелководье речного залива. На другой стороне достаточно широкой и глубокой в этом месте реки был большой и пустующий в это время дня луг, тянувшийся до самой земляной дамбы, которая, окружая пруды, служила границей всего рыбного хозяйства. Слева русло реки постепенно сужалось, и водный поток устремлялся к мельнице, невдалеке от которой стоял дом пана Витольда. В тишине уходящего летнего дня весь пейзаж будто замер, накрытый неподвижным, посеревшим от жары небом. Лежа на животе и всем телом прижавшись к земле, Лукаш радовался, что он снова дома, хотя, вспоминая в легкой дреме о новостях из утренней газеты, ощущал некоторое беспокойство. Было 27 июля. Тот, у кого еще оставались какие-то иллюзии, либо отличался безнадежной наивностью, либо прятался за стеной риторики, окрашенной национализмом.

---

<sup>9</sup> Бефана — мифологический персонаж, бродящий по земле с 1 по 6 января в облике страшной старухи, иногда доброй, а иногда злой.

<sup>10</sup> Великий постановщик «Чайки» из Лондона (*итал.*).

Со стороны мельницы донеслись отдаленные голоса, и он узнал Урсулу и Богдана. Лукаш поднял голову и увидел, что они, держась за руки, идут к реке. Потом остановились и долго целовались. Лукаш застыл, ощущая, как колотится его сердце. Он не двинулся с места и остался в своем укрытии в густых зарослях папоротника. На берегу, у небольшой излучины, куда обычно ходили нырять, потому что там было достаточно глубоко, они расстелили на траве под деревом простыню и легли. Он видел, как они раздеваются, видел их наготу. И, парализованный, увидел все остальное. Потом, усталые, они отдыхали в полусне, теперь уже на некотором отдалении друг от друга. Видимо, Урсула спала крепче, потому что не заметила, как Богдан встал, быстро натянул плавки и прыгнул головой вниз в воду. И уже не вынырнул. Если бы Лукаш хотел, он мог бы в мгновение ока сбегать с пригорка и кинуться ему на помощь. Но он не хотел — он буквально прирос к земле в своем укрытии. Что могло случиться с Богданом? Внезапная судорога от перегрева на солнце? Запутался в корнях прибрежных деревьев? Затянуло в водоворот? Что бы там ни случилось, но когда Урсула проснулась и с криком прыгнула в воду, было уже поздно. И только тогда Лукаш сбегал с пригорка, не раздеваясь бросился в реку и вытащил тонущую на берег.

Позже седлецкая полиция пыталась воспроизвести ход событий. Урсула снова и снова повторяла одно и то же: «Мы купались, а я заснула на берегу». «А Лукаш?» — спросил комендант полиции. Когда он сбегал, разбуженный криками Урсулы, с пригорка, где спал после обеда, то спасти смог только ее. Врач действительно констатировал внезапную судорогу, после которой тело подводным течением затянуло в переплетенные у дна корни дерева. Если бы помощь пришла раньше... «Если бы!» — вздохнул комендант полиции. На похоронах за гробом шел только пан Витольд; он был вдовцом и отцом единственного сына; других родственников в ближайшей округе не оказалось. За ним в некотором отдалении шли Лукаш и Урсула.

Эту дату он помнил; впрочем, забыть ее было трудно — 1 декабря 1939 года. Погода стояла паршивая, шел дождь вперемешку со снегом и ледяными шариками града. Лукаш сидел в теплой конторе у окна, рядом с входной дверью. Визита пана Витольда он не ожидал.

Управляющий небрежно поклонился, скинул мокрую шубу и сел у яркого огня, вытянув перед собой во всю длину ноги в сапогах с голенищами. Он долго молчал, вглядываясь в пламя и растирая замерзшие руки. После чего сказал:

— Видите, какая складывается ситуация. В Рыбницах — отделение немецкой полиции, они оставили только одного полицейского-поляка. Но это для вас не новость. А вот вчера мне сказали, что сюда приезжает немецкий управляющий, чтобы вести дела вместе со мной. Вам как хозяину будут

каждый месяц выплачивать определенную сумму. В Седльце уже определяют границы гетто. Вчера на рынке публично расстреляли двоих самых богатых еврейских торговцев, в том числе деда пани Урсулы. За грабительские цены, что народу очень понравилось. Скорее всего, часть седлецкого немецкого командования займет одно крыло вашей усадьбы.

Он замолчал, будто раздумывая, продолжать ли дальше. Решив продолжать, подвинул стул к столу, за которым сидел Лукаш.

— Вы знаете, моему покойному сыну очень нравилась пани Урсула. Я думаю даже, что не только «нравилась». В нем постепенно зарождалось и более глубокое чувство. По-моему, оно было не без взаимности. Поэтому я, отец Богдана, ощущаю ответственность и за вашу сестру. Вчера в одной седлецкой пивной, где люди добрым словом вспоминают вашего уважаемого отца, завязался разговор о матери пани Урсулы. Знаете, как это бывает: слово за слово, да злые языки... Моя семья всегда водила дружбу с семьей Клебанов. И это тоже имеет значение. Так вот: и наша дружба, и память о Богдане обязывают меня, как бы это сказать, ну, в общем, предостеречь вас. Пани Урсуле необходимо как можно быстрее отсюда исчезнуть.

Ни минуты не мешкая, Лукаш поехал в бричке на седлецкий вокзал. Единственный поезд в Варшаву, предназначенный для «местного населения», отправлялся в шесть вечера. К счастью, уже после наступления темноты. Поговорив с Урсулой, Лукаш понял, что она не ощущала ни малейшего беспокойства из-за возможной опасности. Свою мать она из памяти практически вычеркнула. И никто даже не сообщил ей о расстреле деда, который, впрочем, при жизни вовсе не стремился с ней встречаться.

На Сенную, к тетке Евгении, они приехали без предупреждения. Тетка была не в восторге от появления Урсулы, но необходимые приличия соблюла. Уже наступил комендантский час, и варшавскую «рекогносцировку» Лукаш отложил на следующий день. Немногие варшавские коллеги по театральному институту, ошеломленные молниеносным сентябрьским поражением, склонялись к тому, чтобы остаться в столице и присоединиться к тем, кто уже ушел в подполье. Лукашу повезло: он застал в Варшаве, в своей квартире на Сенкевича, Леопольда Гиллера. Оказалось, что тому негласно предложили руководить польским театральным центром в Гродно, и он уговаривал режиссеров, актеров и художников ехать с ним. «Поедем вместе, — сказал он Лукашу, — ведь мы в похожей ситуации (он намекал на Урсулу, имея в виду, с другой стороны, свою жену). Там обещают относительную свободу в выборе репертуара, жилье и сносные деньги». Долго Лукаш не раздумывал. Однако в Рыбицы он все же съездил — поговорить с паном Витольдом и братья чемодан с самыми необходимыми для Урсулы и для себя вещами.

10 декабря они не без труда, через Малкиню и Белосток, добрались до Гродно. Гиллер уже развернул здесь свою деятельность. Лукашу и Урсу-

ле отвели большую комнату с двумя окнами на первом этаже флигеля в полукруглом заваленном снегом дворике. Рядом жили две актрисы, а последнюю на этаже комнату занимал театральный художник с женой. В углу двора высилась поленница, а рядом — колода с топором. Напротив дома располагалось большое кафе, которому вскоре предстояло стать местом встреч польского театрального сообщества в Гродно.

Мэри с удивлением следила за ним в приоткрытую дверь, ведущую из кухни в гостиную. Он сам поднялся с кресла у камина, взбодрившийся и помолодевший, проворно и с явным удовольствием передвигался по комнате, не придерживаясь, как обычно, стен, практически не пользовался тростью и не торопился вернуться в кресло. При этом он беспрерывно повторял одно слово, которое она не могла понять и была бы не в состоянии повторить.

Словом этим было Гродно. Гродно, Гродно. Добравшись до гродненского раздела автобиографии, он заранее радовался тому, что ждет его в продолжающемся безмолвном повествовании.

Можно ли влюбиться в неизвестный город с первого взгляда? Оказывается, можно. В Гродно ему нравилось все, хотя — видит Бог — особых оснований для этого не было. Временами хотелось сказать: город построен так, чтобы нравиться, с некоей кокетливой скромностью. Они гуляли с Урсулой над Неманом, скользя взглядом по заледеневшим берегам, дружно отпрыгивали, когда с веток внезапно ссыпался снег, то и дело возвращались в зеленую с позолотой церковку, задерживались перед обветшалыми особняками, заходили в шумные заведения с новыми вывесками «Gorodskaja Stołowa», где долго сидели за тяжелыми грязноватыми столами, зная, что выпить можно только пива, хотя и в больших количествах, и согревались в приподнятой атмосфере разноязыких бесед. В чем заключался секрет Гродно? Для Лукаша, возможно, в детских воспоминаниях о Костроме, а для Урсулы — в обретенном покое на фоне уже явившего себя образа войны. Местные жители были даже сверх меры сердечны, хотя обратная сторона этой сердечности должна была показать себя в самом ближайшем будущем.

Церквушку они полюбили, хотя и не знали православных обрядов (крещенный в костромской церкви Лукаш не успел их освоить). Им просто нравилось рассматривать золоченые оклады икон, слушать время от времени пение басов и наблюдать за попами и дьячками. Верующих всегда было немного — обычно приходили старушки с пугливо бегающими глазами. Наверное, именно в гродненской церкви они начали подозревать, что за приятным фасадом кроется нечто иное.

Как-то раз они поехали в близлежащую деревню Соколки, где кузина Урсулы учительствовала в начальной школе и ждала с войны своего мужа, тоже учителя. Их восьмилетний сын постоянно молчал, а на его сим-

патичном личике прочитывался явный страх. Боялась и кузина, чего все не скрывала, всем своим поведением давая понять, что визит родственников должен быть как можно более кратким.

Страх, хоть и тщательно маскируемый, постепенно выходил наружу и в самом Гродно; иногда за ним проглядывала недоброжелательность. Зачем все эти артисты приехали сюда из Варшавы? Что, они не знают, кто здесь у власти? Не знают, кому им придется служить и как их будут использовать теперь, после включения Западной Белоруссии в состав Советского Союза? Однако отношение к ним мало-помалу менялось. И не последнюю роль сыграл в этом именно «польский театральный Пьемонт».

Поначалу театральная программа разрабатывалась под руководством Леопольда Гиллера в кафе напротив дома, в котором жили Лукаш и Урсула. Так что на первых порах, вплоть до нового, 1940 года, это кафе было центром польской театральной жизни в Гродно. Дискуссии о предлагавшихся для постановки пьесах чередовались с ежедневным обсуждением свежих, становившихся все более ужасными новостей из Варшавы. Демаркационная линия между оккупированными территориями пока не была зафиксирована строго, что означало ежедневный приток новых беженцев из-за Буга. Когда в один прекрасный день в Гродно появилась Великая Актриса и жена Гиллера, передвигавшаяся с помощью костыля — она была ранена в ходе сентябрьской кампании, — директор тут же предложил поставить «Коварство и любовь» Шиллера, пьесу, в которой она раньше блистала. На премьере, в конце февраля, актриса вышла на сцену в том же, что всегда, сценическом костюме, но с костылем. Вся публика сорвалась со своих мест и несколько минут ей аплодировала; это повторялось и на всех последующих спектаклях. Именно тогда, по мнению Лукаша, и произошел перелом. Артисты из Варшавы были в Гродно приняты.

Вскоре после премьеры «Коварства и любви» Гиллер освоился в директорском кабинете на задах театра, и кафе естественным образом утратило свою прежнюю роль. Оно вновь превратилось в обычное кафе, а театр (со столовой в подвале) начал притягивать прибывающих «с той стороны» и многочисленных местных «работников искусств» (советский термин).

Гиллер вызвал меня к себе в первых числах марта, а точнее — 6 марта. И сразу спросил, что я хотел бы показать как молодой режиссер. Не раздумывая ни минуты, я ответил: свою дипломную работу, инсценировку «Белых ночей» Достоевского. Он одобрил мой выбор, но справедливо заметил, что вещь чересчур коротка и годится только для дневного спектакля; к тому же в Варшаве актеры для нее у меня были, а в Гродно их нет. На второе замечание я ответил, что хотел бы сыграть сам в паре с Урсулой. Он не слишком удивился — ему нравились нестандартные идеи. «Твоя сестра — не ак-

триса, а у тебя есть физический недостаток». Я перебил его: «Урсулу я играть научу, а о том, хромает герой или нет, у Достоевского ничего не сказано». Гиллер засмеялся и вернулся к первому замечанию. Я ответил, что хотел бы одновременно поставить «Три сестры» Чехова, также с участием Урсулы. Он встал и сказал: «Хорошо». Он любил принимать решения быстро.

Шлепая по размокшему снегу домой, где его ждала Урсула, Лукаш немного испугался собственной смелости. Этот проект он с ней не обсуждал. Выслушав его, она пришла в восторг.

Он достал из чемодана подготовленную для защиты диплома собственную инсценировку «Белых ночей». Урсула читала ее еще в Рыбницах, и хотя не сказала тогда ни слова, но ее молчание представляло собой достаточно красноречивый комментарий.

Герой повести, двадцатичетырехлетний петербургский мечтатель («Белые ночи» были созданы в период *mięcztaństwa* Достоевского), одиноко живущий в жалкой каморке, скромный предшественник сердитого героя «Записок из подполья», в белую ночь сталкивается на мосту с плачущей семнадцатилетней девушкой. На этом месте год назад ей назначил свидание жилец, снимавший комнату в квартире, где она жила с бабушкой. Девушка его полюбила, и не без взаимности, однако вновь приехать из Москвы в Петербург, обзаведясь средствами, достаточными для создания семьи, он собирался лишь через год. Когда приходит срок, он не появляется в назначенном месте ни в первую, ни во вторую и ни в третью ночь, и все эти белые ночи Настенька утешается разговорами с одиноким петербургским мечтателем. В нем пробуждается любовь, да и девушка, разочаровавшись в мужчине, которого вот уже третью ночь напрасно ждет на мосту, отзывается на чувство мечтателя. И все уже, казалось бы, идет к рождению нового, на этот раз счастливого, союза, когда внезапно появляется тот самый мужчина. Настенька бросается ему на шею, а затем прощается в слезах со ставшим вновь одиноким мечтателем, заверяя его в «вечной дружбе».

Прочитав теперь рукопись во второй раз, Урсула наконец высказала свое мнение. «Это невозможно, — сказала она. — У Достоевского тогда просто не было собственного опыта сентиментальных переживаний (подзаголовок «Белых ночей» гласил: Сентиментальный роман. Из воспоминаний мечтателя). На самом деле родилась вторая, настоящая любовь. Или тот, кого девушка ждет, не появляется вообще, или появляется слишком поздно. Первый вариант лучше. Я понимаю, сценическая переработка не допускает радикальных изменений в тексте. Но не вижу другого выхода — ведь это пьеса для двоих: для тебя и меня». Она говорила это со слезами на глазах. Лукаш согласился с ней и бросил Настеньку в объятия одинокого петербургского мечтателя. Это был первый решительный шаг режиссера,



который позже осмелился «поправлять» и Чехова. Лукаш почувствовал, что наконец настал тот момент, когда можно заключить Урсулу в объятия. Изголодавшись за долгие минувшие годы, он целовал ее самозабвенно и жадно. Она обнимала и прижимала его к себе, дрожа от любовного нетерпения. Тогда они и стали любовниками. «Я твоя сестра и любовница. Я любила тебя всегда», — шепнула она на рассвете. Он верил в это, потому что очень хотел верить. «Нет, — ответил он, — ты моя сестра и жена. Я тоже всегда тебя любил» (что было истинной правдой). Так в Гродно они вступили в союз, сохранивший прочность до самого конца жизни. И так постепенно начала затягиваться рана, нанесенная смертью Богдана.

Урсула обладала врожденным и бессознательным актерским даром. В ходе двухнедельных репетиций она с каждым днем играла все лучше и лучше; зрелую женскую жажду любви ей удалось соединить с девичьим трепетом на пороге неведомого. Лукаш смотрел на нее с восхищением. Каждую ночь они ненасытно любили друг друга, а дни были посвящены оттачиванию ролей.

В конце марта состоялась премьера. Вся труппа во главе с Гиллером не жалела хвалебных слов. Но еще важнее было то, что публика — хотя и немногочисленная — не жалела ладоней. И с каждым очередным представлением народа приходило все больше и больше. Энтузиазм объяснялся, вероятно, двумя причинами. Зрители, большей частью молодые, будто догадывались, что на сцене перед ними — любовники, еще не остывшие от страстных объятий. К тому же в военное время с его страхами и тревогами, когда будущее представлялось чем-то зловещим и темным, особенно сильно звучал главный мотив повести Достоевского в инсценировке Лукаша: похвала мечтательству, бегству от реальности, тому самому упомянутому в эпитафии тургеневскому цветку любви, стремящемуся «побыть хотя мгновенье в соседстве сердца твоего».

Дневные спектакли вскоре стали давать ежедневно, а затем их перенесли и на вечер, после того как из репертуара сняли «эту ужасную халтуру» (определение Гиллера) «Как закалялась сталь». Театр смог стать практически самоокупаемым, а директор получил похвальную грамоту из Минского управления культуры. Благодаря этому он осмелился попросить разрешения поставить Чехова, которого советские чиновники от культуры не особенно любили. Директору дали письменное согласие, хотя («пока») только на «Три сестры» — наверное, потому, что именно тогда, в 1940-м, Немирович-Данченко поставил «Три сестры» в Москве. Своим ассистентом Гиллер выбрал Лукаша, зная о его «чеховомании». Спектакль нужно было подготовить за несколько месяцев. Урсула получила роль Ирины, хотя для этой роли была слишком молода и ее предполагалось немного состарить гримом. «Белые ночи» — попеременно с

«Коварством и любовью» — с успехом шли до конца мая. Начало репетиций «Трех сестер» назначили на сентябрь, сразу после летних отпусков.

Эйфория, охватившая Лукаша при работе над гродненским разделом автобиографии, не ослабла, а, напротив, становилась все сильнее. Мэри продолжала время от времени заглядывать из кухни в гостиную, чтобы — как просила ее Урсула — убедиться, что «все в порядке». И все еще не переставала удивляться при виде немощного полуслепого старика, который энергично кружил по комнате, лишь изредка садясь в кресло, что-то там бубнил себе под нос и, казалось, пытался стряхнуть с себя горб старости. Как-то раз, примерно в середине ноября, когда солнце (что в Лондоне, хоть и редко, но случается) чуть дольше задержалось между тяжелых зимних уже облаков, он распахнул двери в сад и сошел по ступенькам вниз, явно намереваясь совершить короткую «оздоровительную» прогулку на свежем воздухе. Зрение, однако, не позволило ему уберечься от мелких препятствий, которые подстерегали его в запущенном саду: споткнувшись, он растянулся на пожелтой траве. Лбом он ударился об острый камень, почувствовал боль и понял, что идет кровь. Мэри потребовалось приложить немало усилий, чтобы помочь ему встать; она медленно довела его до дома, посадила в кресло и закрыла двери в сад. Когда она счищала налипшую на его одежду землю, Лукаш тяжело дышал, но на лице его все еще сохранялось выражение радости.

Лето 1940-го (вспоминал он) в небольшой деревеньке на берегу Немана, километрах в десяти от Гродно. Мы сняли у белорусских крестьян маленький домик вместе с Гиллерами, то есть с Леопольдом (мы уже перешли на «ты») и его женой, Великой Актрисой, постепенно оправлявшейся от ран. Жарким июлем мы с Урсулой и Гиллером гуляли среди прибрежных зарослей или в густом лесу на другом берегу реки, куда нас на лодке перевозил местный рыбак. Передо мной как наяву вставали картины детства в Рыбичах, когда рыбалка и походы за грибами были лучшими развлечениями. Бывало, что мы с Урсулой уходили далеко от Гиллера и, все еще мучимые прежней любовной жадью, страстно утоляли ее на вереске первой попавшейся поляны. Домой мы возвращались, поторапливаемые Гиллером, который беспокоился о жене. Вся территория, занятая за Бугом Советами, считалась небезопасной, хотя и относилось это прежде всего к Украине, а не к Белоруссии. Гродно и его окрестности попали в «мертвую зону»: стихия войны бушевала где-то окрест, оставляя в покое клочок тихой водной глади. Это было мучительно — ведь к нам ежедневно поступали все более и более пугающие новости из Варшавы. К тому же мы отдавали себе отчет в том, что до поры закрытая «мертвая зона» рано или поздно должна открыться. Мы видели набитые людьми фургоны, которые бесшумно выезжали поздним вечером или ночью из ворот гродненской тюрьмы.

Именно тогда, во время летних каникул, на маленькой тенистой веранде молодой «чеховский маньяк» настойчиво убеждал Великого Режиссера в «необходимости серьезных поправок» в текстах непревзойденного Антона Павловича. «Лишь совершенно необъяснимым у такого тонкого, умного и музыкального драматурга дефектом зрения или слуха, — доказывал он, — можно объяснить привычку разрешать драматический конфликт при помощи выстрела в финале. Неужели Чехов действительно не видел сквозь свое старомодное пенсне, что «висящее на стене» в каждой его пьесе ружье самым грубым образом рвет и практически уничтожает ее тонкую, тщательно сотканную материю, разрушая в итоге все целое?» Поскольку к постановке готовились «Три сестры», разговор зашел о последней сцене этой пьесы, когда барона Тузенбаха, жениха Ирины, убивает на дуэли штабс-капитан Соленый. Узнав об этом, Ирина тихо плачет и повторяет: «Я знала, я знала». Зачем все это? Эпилог получился бы значительно более проникновенным и соответствующим чеховскому духу, если Ирине было бы суждено остаться старой девой в губернском городе (с постоянным рефреном сестер: в Москву! в Москву!), а Тузенбах попросту бы уехал, точнее — сбежал из этой провинциальной дыры. После чего Ирина и произнесла бы предназначенные для нее автором слова: «Придет время, все узнают, зачем все это, для чего эти страдания, никаких не будет тайн, а пока надо жить...» Вот тогда получился бы не французский пустьчок с револьверным выстрелом под занавес, а экзистенциальная драма.

Лукаш лихорадочно искал одобрения в глазах Гиллера. А Великий Режиссер все еще колебался. И только в конце августа, перед самым возвращением в Гродно, сказал: «Хорошо, попробуем».

Работа над «Тремя сестрами» началась в первых числах сентября, однако дело продвигалось с трудом. При распределении ролей возникли разногласия и споры, которые Гиллер грубо и решительно пресек, чем навлек на себя недовольство труппы. Трудно поверить, но для Великой Актрисы не нашлось роли. К счастью, финансовые проблемы заставили возобновить «Коварство и любовь» с эффектной ролью для жены Гиллера. Вдруг зашевелились художники, увидевшие для себя в «Трех сестрах» новые возможности, а лишних денег для них в кассе театра не было. Лукаш, молодой ассистент Гиллера, с исключительным рвением взялся за «нюансировку», а поскольку одной из трех сестер была Урсула, на его активное вмешательство посматривали косо. Короче, все шло со страшным скрипом, и в ноябре до конца было еще далеко. Но премьера была обещана уже на Рождество, а репертуарные дыры заполнялись тем временем «халтурами» для заработка, подбрасываемыми из Минска и иногда из Москвы. Имелось также и препятствие личного характера, о котором в театре не знали. В конце сентября Урсула забеременела, а в ноябре у нее случился выкидыш. Все обошлось без осложнений, если не счи-

тать периодически случавшихся у Урсулы после выкидыша приступов плача. В труппе не знали, что произошло, и недоумевали, почему она плачет, — думали, из-за Лукаша, а дело было в приговоре врача, заключившего, что она, к несчастью, должна навсегда распрощаться с мыслью о материнстве.

И все же премьера состоялась в назначенный срок, то есть во второй день Рождества. Она без преувеличения стала триумфом. Поправка Лукаша (замеченная, кстати, немногими) придала пьесе большую глубину, из-за отсутствия дуэли последние слова Ирины прозвучали с необычайно сильным ощущением *vie manquée*<sup>11</sup>, и в итоге перед публикой предстала волнующая и трогательная картина провинциального бытия. Музыкальность Чехова — о чудо! — обогатилась новыми тонами, а его пронизанная меланхолией мудрость вытеснила тот пресный реализм, которым, вопреки автору, наслаждался Станиславский.

Пьесу играли в Гродно и других городах Западной Белоруссии, но самая почетная награда ждала всех в Ленинграде. В середине мая 1941-го театр Гиллера пригласили показать спектакль ленинградской публике. Впоследствии выяснилось, что некий «театральный деятель» из Ленинграда дважды видел постановку в Гродно.

На гастроли в Ленинград мы поехали в мае 1941-го и пробыли там неделю, показав «Три сестры» дважды. Поклонники Чехова, хотя и отдававшие себе отчет в том, насколько часто и с какой шокирующей легкостью используются «выстрелы в финале», в первую минуту были все же обескуражены моей, если можно так сказать, поправкой. Однако они быстро пришли в себя и приветствовали этот вариант так, как если бы наконец увидели нечто, в глубине души уже давно ожидаемое. В «ампутированном» Чехове обнаружили новые достоинства, будто некая дополнительная перспектива открылась там, где итогом всему был, как правило, привычный и схематичный *tupik*. Ведь Чехов — как это ни странно для такого блестящего драматурга — не учел того, что традиционный «выстрел под занавес» ничего не решает. На сцене. В жизни, безусловно, да, но театральная условность требует абсолютно иного решения. Рискну высказать парадоксальное суждение: в театре, например, выстрел самоубийцы лишается драматичности — в этом можно убедиться на примере последней сцены «Иванова». Я понимал это уже тогда, но на практике применил только в лондонском «The Sea-Gull» Theatre.

В целом же, как показало общее собрание ленинградского Театрального общества, мое нововведение было принято с одобрением. На собрании этом произошел незначительный, на первый взгляд, инцидент, который я никогда не забуду. Кто-то из зала крикнул: «К выстрелам из писто-

---

<sup>11</sup> Загубленная жизнь (франц.).

лета мы теперь слишком привыкли — вот чего Чехов не мог предвидеть». «Кто это сказал?» — спросил внезапно побледневший председатель, повернувшись к той части зала, откуда донесся возглас. Это прозвучало как угроза, но я не знаю, имела ли она какие-либо последствия.

Организаторы гастролей польского театра из Гродно, желая и поблагодарить артистов, и особым образом отметить их визит, предложили сыграть «Белые ночи» в естественных декорациях. Местом действия стал уголок старого Петербурга — скверик со скамейкой, мостик через канал — в одну из настоящих белых ночей, приходящихся как раз на май. Небольшая толпа из случайных прохожих и уличных зевак превратилась во взволнованно молчащую публику. Получилось воистину необычайное представление! Лукаш и Урсула играли на польском (Урсула не знала русского), с трудом сдерживая рвущиеся наружу эмоции, очарованные настоящей петербургской белой ночью, окутанные будто неземной вуалью, влюбленные друг в друга еще больше, чем это требовалось по тексту (в котором отсутствовал злополучный «третий»), растворявшиеся в атмосфере волшебного пейзажа и собственных чувств. Их последний, затянувшийся сверх всякой меры поцелуй на скамейке, более всего напоминавший счастливый финал какой-нибудь сказки, был встречен долгими и бурными аплодисментами.

После представления гродненскую труппу пригласили в ближайший ресторан. К Лукашу подсел известный и уже немолодой русский литературовед Л., незадолго до этого досрочно вышедший на свободу после семи лет лагереi. «*Wam jak-to udało' wozdierzatsia ot wsiej zloby «Zapisok iz podpolja»,* — сказав это, он огляделся по сторонам и загадочно добавил: — *Wies' etot sowriemiennuju mir».* «Странно, невероятно, — возбужденно шептал я в ответ, — работая над инсценировкой «Белых ночей», я все время напоминал себе о том, что их герой, петербургский мечтатель, — предшественник героя «*Zapisok iz podpolja*». «*Prawilno,* — заметил на это Л., — Настенька своей любовью избавила его от той день за днем накапливавшейся в нем зlobы, которая иначе сыграла бы роль бикфордова шнура революции».

В Лондоне стало холодно, зачастили ливни, порой с мелкой ледяной крошкой, и бесконечно кружить по салону, присаживаясь время от времени в кресло рядом с горящим камином, Лукашу наскучило. В первый день декабря он сам попросил переселить его наверх. Урсула и Мэри положили ему в постель несколько одеял и зажгли газовую печку, однако и это не помогло: он промерз до костей и весь дрожал. Время от времени погружаясь в неглубокий сон, он терял границу между окружающей действительностью и поисками утраченного времени в безмолвной автобиографии. Перемешивалось все: в сновидениях его преследовал шум войны, а в моменты пробуждения он принимал стук лондонского дождя по стеклу за весеннее

гродненское ненастье. Каждый раз, когда Урсула, возвращаясь вечером со Стрэнда, садилась на его кровать, целовала лицо и прижималась к нему всем телом, в его просыпающемся сознании рождался зов: «В Венецию, в Венецию!» — бывший, впрочем, лишь эхом возгласа трех сестер: «В Москву, в Москву!» Звонкий смех Урсулы позволял ему хотя бы на миг задержаться в туманном и извилистом потоке времени.

Через три недели после возвращения из Ленинграда (немного успокоившись, продолжал он), 22 июня 1941 года, нас разбудили немецкие бомбы. Целились прежде всего в советский гарнизон и в немногочисленные фабрики, но бомбили также и центр, вслепую, чтобы вызвать в городе панику. Добиться этого оказалось несложно. Паника поднялась такая, будто все разом потеряли рассудок. Люди лишались элементарного чувства самобладания, не знали, что делать и куда бежать. Старожилы запирались в своих домах на все засовы. Что касается приезжих, то им надлежало мгновенно решить: на Восток или на Запад. Первый вариант мог устроить тех, кто так или иначе был связан с властью Советов, и у них, по сути, не имелось альтернативы (такой выбор сделали и многие из нашей труппы): на Восток, вместе с бывшим, а ныне спасающимся бегством начальством. На Запад же, то есть на другой берег Буга, прямо немцам в пасть, бежали те, кто не так сильно боялся гитлеровцев и кому было куда убегать. Толпы людей на городских улицах напоминали порой полчища крыс, попавших в огненное кольцо. Ясно было по меньшей мере одно: немецкие дивизии, покинувшие на рассвете свои приграничные базы, до Гродно доберутся к вечеру. «У нас в запасе еще целый день», — сказал Гиллер, деловитый и энергичный. Гиллеры приняли нас в свою компанию, и мы вчетвером решили возвращаться в Варшаву. Не берусь рассказать подробно — отчасти потому, что Гиллер никого не посвящал в свои планы, — каким именно образом ему удалось так быстро организовать наше бегство. До Варшавы мы добрались, когда стемнело, и расстались на Театральной площади. У Гиллера, бывшего капитана запаса, остались знакомства в армейских кругах. Его квартира на Сенаторской, к счастью, стояла нетронутой. Мы же отправились на Сенную, к тетке Евгении. Даже не слишком любимую Урсулу она встретила с радостью, уже хорошо зная, что ждет одинокую и лишенную средств старую женщину в оккупированной Варшаве. Тетка отвела нам одну, самую большую, комнату, быстро смирившись с тем, что мы не только родственники, но фактически и супруги.

Гиллер и позже не оставил нас. В театральном кафе «Золотое на Злотой» он нашел для Урсулы место официантки; до Сенной оттуда было пять минут хода, и она успевала вернуться домой незадолго до комендантского часа. Меня же Гиллер привлек к работе в подпольной театраль-

ной студии, располагавшейся в одном из пустующих университетских зданий на Северинове.

С некоторой опаской я отправился в Рыбицы поездом через Седльце. Однако беспокоиться было не о чем. Пан Витольд, добросовестно трудившийся вместе с новым немецким управляющим, человеком невинным, пообещал мне не только выплачивать небольшую «левую» сумму ежемесячно, но и — что было куда важнее — набивать мой рюкзак продуктами каждый раз, когда я буду приезжать в Рыбицы. Немцу он представил меня как своего кузена, переехавшего в Варшаву из Кракова. Первый тяжелый рюкзак я забрал сразу. Тетка Евгения и Урсула не поверили своим глазам при виде масла, сыра, птицы и свежих карпов. С хозяйством у нас, таким образом, все наладилось. Благодаря Гиллеру нам удалось быстро раздобыть и фальшивые удостоверения личности. Что касается «внешнего вида» Урсулы, то он не вызывал подозрений.

К старческому истощению организма и прогрессирующей (остановленной лишь ненадолго) слепоте добавился еще один процесс — страшный, но, принимая во внимание его возраст, вполне естественный. Утром 3 декабря Урсула присела к нему на постель, чтобы попрощаться до вечера. Она что-то говорила ему, но он ничего не слышал: в ушах стоял ровный шум. Следя за ее губами, он с грехом пополам догадывался, о чем она говорит. Вне всякого сомнения, он терял слух. И это испугало его еще больше, нежели постепенная утрата зрения. «Я окончательно потеряю Урсулу! Для меня погибнет музыка!»

Она, похоже, не заметила на его лице ни тени испуга и, как обычно, склонилась к нему, чтобы поцеловать.

С постели он так и не встал ни в этот день, ни в последующие, вплоть до 15 декабря, дня отъезда в Венецию. Неужели связь с внешним миром совсем прервется? Он понял, что времени для завершения безмолвной автобиографии остается мало. Нужно идти напрямик, срезая углы! Нужно рассказывать только самое наиважнейшее! Комментарии, рассуждения, отступления — это привилегия людей хотя и старых, но утешающих не так быстро, сохраняющих сносное здоровье и тот (пусть и скромный) уровень физической кондиции, который они пока могут поддерживать. «This is not my case»<sup>12</sup>, — внезапно прошептал он по-английски.

Поэтому все три года оккупации вплоть до Варшавского восстания нужно пробежать быстро. То, что время это было для них относительно спокойным, вспоминается не без понятной неловкости. Вокруг облавы, аресты, казни, а они, как двое скромных служащих, жили по привычному распорядку.

---

<sup>12</sup> Это не мой случай (англ.).

Утром Урсула бежала на Злотую, а перед комендантским часом возвращалась домой. Если не нужно было ехать в Рыбицы, он обычно шел на Северинов, на «тайные театральные курсы», как называли возглавлявшийся Гиллером кружок. Во второй половине дня он встречался со знакомыми, иногда заходил на Злотую, где время от времени помогал печатать на стоявшем в кладовке стеклоглафе нелегальные издания (литературные или театральные). С самого начала было ясно, что севериновская группа имеет прямое отношение к АК<sup>13</sup>. Гиллер играл в ней роль неформального лидера. Лукаша пытались привлечь к участию в военной переподготовке, но вскоре оставили в покое, приняв во внимание как его физический дефект, так и то, что еще во времена рыбицкой молодости он научился хорошо стрелять. Он подлежал мобилизации в день Икс и час Икс. Это подразумевалось само собой.

На Северинове весь первый год терзали Шекспира. К Шекспиру он относился со смешанным чувством восхищения и почти религиозного преклонения, однако близости к нему не ощущал. На севериновских встречах (абсолютно безопасных, несмотря на то что регулярные собрания группы молодых людей не могли остаться незамеченными) безоговорочно царил Ян Лисс, давний выпускник варшавского Института театрального искусства, отчасти эротоман, «чертовски» (как тогда говорили) умный, глубокий знаток английского Гения, которого он мог цитировать наизусть целыми страницами (и не только в польских переводах, но иногда, дабы поразить слушателей, на ужасном — по мнению Гиллера — английском). Лисс был помешан на теме «Шекспир и механизм истории», то есть на адаптации Шекспира к нашей эпохе. Лукаш, слушая его рассуждения, только пожимал плечами. Для него Шекспир был сродни Библии — в том смысле, что каждого своего героя он создавал будто заново, с чистого листа, в творческом порыве автора-демиурга. Лукаш, например, считал, что Шекспир вполне мог бы написать трагедию на сюжет жертвоприношения Богу Авраамом своего любимого сына Исаака.

Любовь в Варшаве была продолжением любви в Гродно. И даже стала сильнее, как это обычно бывает, когда страсти постоянно что-то угрожает. Дом на Сенной превратился для них в благословенный приют. Ночами они не чувствовали ни утомления, ни пресыщения, и даже напротив. Если теория Стендаля о кристаллизации любви была верна, то следовало ожидать появления целой колонии кристаллов. Лукаш все более укреплялся в убеждении, что причина тут лежит в скрещении чувств любовных с чувствами родственными. Он ощущал это и в сексуальном акте, в котором присутствовало нечто необузданное и непостижимое.

---

<sup>13</sup> Армия Крайова — руководимая лондонским эмигрантским правительством подпольная военная организация, созданная в феврале 1942 года.



Через несколько месяцев после переезда в Варшаву Урсула, обычно проводившая свободные от работы дни в домашних женских хлопотах, рано утром поехала в город, к новым друзьям, пообещав вернуться перед самым комендантским часом. Лукаш согласился, напомнив лишь о том, что «безупречный» внешний вид и фальшивые документы — это еще не все. Урсула действительно вернулась за пять минут до комендантского часа, странно взволнованная, с красными от слез глазами. Лукаш ни о чем не спрашивал. Этой ночью она была еще более страстной, чем обычно, при каждом объятии повторяя: «Боже, как я тебя люблю, я никогда не могла бы любить никого так, как тебя». Его поразила какая-то упрямая настойчивость, с которой она произносила эту фразу.

Во время очередного визита Лукаша в рыбацкую усадьбу пан Витольд как бы невзначай сообщил ему: «Пани Урсула была здесь, на могиле Богдана. Просила вас ничего не говорить. Но скрыть этого я не могу — очень уж велик риск. Седльце — город небольшой, опознать знакомое лицо легко, а охотников на лакомую добычу здесь хватает».

Урсуле об этом разговоре с паном Витольдом он не сказал, заметив лишь — слегка обеспокоенно, — что вроде бы кто-то в Седльце недавно о ней спрашивал. Она побледнела, возможно догадавшись, о чем идет речь.

В конце июля 1944-го, приехав в Рыбицы на неделю (ночевал Лукаш у пана Витольда), он несколько раз выбирался на прогулки по берегу реки. Как-то он прилег позагорать там, где когда-то лежали, предаваясь любви, Урсула и Богдан. Взгляд Лукаша остановился на том месте, которое тогда служило ему убежищем. У него перехватило дыхание, будто чьи-то руки, сомкнувшись на шее, пытались его задушить. С трудом поднявшись, он неуверенным шагом, слегка покачиваясь, поплелся к домику пана Витольда. Хозяин, к счастью, был на мельнице.

Через много лет в Лондоне он прочитал повесть Альбера Камю «Падение». В амстердамском баре «Мехико-Сити» парижский адвокат Жан-Батист Кламанс, «судья на покаянии»<sup>14</sup>, каждый день пытается утопить в рюмке гнетущую его мысль о том, что когда-то он не прыгнул в Сену, чтобы спасти молодую девушку от самоубийства. Из глубин его памяти постоянно всплывает одна и та же сцена, он продолжает обвинять себя и мечтает о том, «чтобы вторично мне выпала возможность спасти нас с тобой обоих». В повести Камю есть такая фраза: «Я вам сейчас открою большой секрет, дорогой мой. Не ждите Страшного суда. Он происходит каждый день».

Повесть произвела на Лукаша такое сильное впечатление, что он извлек из нее сценический монолог для постановки в «The Sea-Gull Theatre». Правда, Лукаш постарался убрать из него все утонченное мора-

---

<sup>14</sup> Цитаты из повести А. Камю даны в переводе Н. Немчиновой.

лизаторство, порой чересчур отдающее софистикой, и сосредоточился исключительно на проблеме вины, на ее невыносимой тяжести. Он был виновен, и нечего прятаться за двусмысленными исповедальными уловками, как герой Камю. А может быть, Урсула тоже чувствовала себя виновной? Может, две эти вины в сумме стали той крошечной песчинкой, вокруг которой и началась кристаллизация их любви?

«Я осознавал всю искусственность подобного объяснения: виновен был только я, но не Урсула. Однако расставаться с подобной мыслью все-таки не торопился».

Лукаш не отдавал себе отчета, почему Урсула видится ему в роли безмолвной парижской девушки, схватившейся за перила моста через Сену и уже готовой к самоубийственному прыжку. Какие для этого могли быть основания? Его собственная жестокость или подсознательное стремление ей отомстить? А может, тайная апелляция к тому Страшному суду, который происходит каждый день?

Во второй половине июля 1944-го я решил поехать на пару дней в Рыбцы. Наша кладовка почти опустела, а в воздухе ощущалось приближение каких-то важных событий (мы не знали, каких именно, но что-то явно назревало: либо — как в первую голову думали мы — восстание, либо наступление Красной Армии), так что желательно было запастись продуктами надолго. На этом настаивали обе мои женщины — и тетка Евгения, и Урсула.

Я приехал утром, и пан Витольд сразу же пригласил меня к себе; комната Богдана все еще оставалась свободной. Мой управляющий, имевший контакты с седлецкими аковцами, тоже был убежден, что «скоро что-то начнется». Через два-три дня он собирался взять на время машину и отправиться в Варшаву, так что я мог к нему присоединиться, захватив весь свой увесистый багаж.

Лукаш положил под голову еще одну подушку. Одежда уже не согревали, и он лежал почти окоченевший. Пейзаж за окном постепенно размывался, будто свету стало труднее пробиваться сквозь темные очки. «Только бы продержаться до Падуи», — бормотал он себе под нос. Чем меньше Лукаш видел за окном, тем более отрезанным от мира себя ощущал. Под любым предлогом он звонком вызывал Мэри.

Вести о приближающемся фронте опережали одна другую. Это означало, что дорога до Варшавы будет вскоре перекрыта. Боже, что станет с Урсулой? А с теткой Евгенией? От прежних планов пану Витольду, естественно, пришлось отказаться. Вместо этого он отправился в Седльце, откуда привез известие о том, что формируется небольшой отряд аковцев,

который лесами, в обход, намеревается добраться до столицы. Командир согласился взять с собой Лукаша.

Мы вышли из Рыбиц чуть свет, стараясь держаться подальше от немецких постов. Поговаривали, что кто-то уже видел в лесах советские разведотряды. Нас было десять, кое-кто был одет в военный мундир, и каждый второй вооружен. Пытаясь ориентироваться по компасу, мы блуждали по сосновым чащобам, восстанавливая верный курс только на открытых полянах. Командир оказался самоуверенным недотепой. Лишь через несколько дней вечером мы увидели зарево и вспышки оружейных залпов на варшавских заставах. Было 1 августа. В моем воспаленном мозгу царил только Урсула, о тетке Евгении я едва помнил. Само же восстание я еще загодя называл «коллективным польским безумием», сохраняя при этом верность естественному чувству долга, хотя и без особой патриотической окраски.

Мы вошли в Варшаву со стороны Воли, петляя между большими домами. На углу улицы нас встретили немецкие пули, и на тротуаре остались двое убитых. Сразу после этого открылись ворота, и мы вбежали в типичный для района Воли двор. Здесь рядом с дровяным сараем, под обвалившейся каменной стеной можно было перевести дух. Этот район я хорошо знал. Мне удалось пробраться на Хлодную, а затем по Железной я прошел до Сенной. Наш дом хотя и не избежал серьезных повреждений, был цел. По разбитой лестнице, перепрыгивая через ступеньки, я добрался до нашей квартиры. Урсула сидела у тела тетки Евгении, которая вскоре после начала восстания умерла от инфаркта. Мы сжали друг друга в объятиях буквально над трупом. Нельзя было терять ни минуты: хотя дом еще стоял, но в любой момент мог рухнуть. Урсула предложила бежать в «Золотое на Злотой», поскольку кафе это располагалось в подвале. И хотя все подвальные анфилады и тупики в доме на Злотой были уже заполнены людьми, кое-где еще оставалось свободное место. К тому же здесь нас знали. Гиллер в довоенном мундире капитана командовал боевой группой. Накануне он овдовел: его жена, Великая Актриса, погибла, пытаясь в качестве связной пробиться на Маршалковскую.

(И все же, все же, все же... В моей безмолвной автобиографии я стараюсь уйти от описания Варшавского восстания. Но разве это возможно? Сердце не выдерживает, когда вспоминаешь о тогдашней глубокой общности, взаимопонимании, мужестве и героизме в сочетании с наивным оптимизмом, не имевшим под собой никаких реальных оснований. Трагическому величию — возможно, как никогда ранее в истории — неотступной тенью сопутствовало трагическое бессилие и неотвратимо надвигающееся поражение. И неважно, что именно делали такие, как я и другие солдаты Гиллера; мы, скажем так, пытались сохранить хотя бы скромные остатки собственного воинского достоинства.)

Восстание нам в подвалах кафе удалось пережить чудом. Возможность раздобыть по случаю еды, уснуть лежа на боку или добраться до служившего туалетом изолированного подвального уголка — все это было поистине даром небес. Для боевых вылазок Гиллер находил все меньше и меньше добровольцев. И все чаще приводил назад далеко не полный состав отряда. Любовь в подвале была запрещена, однако запрет нарушался порой из-за простого чувства отчаяния. Тела скончавшихся, чаще всего стариков, мы выносили ночью и складывали у самой стены. По милости капризной судьбы пули нас щадили.

О чем и как тогда говорили? С тоской и горечью все ждали конца. Подробностей условий капитуляции мы так и не узнали; для нас она свелась к тому, что после многих проведенных в подвале дней и ночей мы вышли на свет Божий и увидели лежащий в развалинах город.

Нас, как скот, погнали в Германию с остановками в контрольных транзитных лагерях. Только бы не потерять Урсулу, только бы избежать разлуки! В Германии многих по дороге отправляли на работы в крестьянские хозяйства, а тех, кто добрался до конца пути, ждали полуразрушенные бараки под Мурнау в Баварии. В Мурнау Гиллеру удалось наладить контакт с пленными офицерами. Война вскоре закончилась. Мы взяли курс на Запад, навстречу Первой дивизии Мачека, минуя по дороге группы скелетов в лохмотьях, пробиравшиеся из освобожденных лагерей на Восток, к своим наверняка разрушенным домам и к остаткам (в лучшем случае) семей. На американских, английских, французских и советских солдат мы смотрели как на пришельцев с другой планеты.

Знаменитого Гиллера назначили руководителем театра Первой дивизии; нас же с Урсулой заботило только одно — как немедленно выехать в Англию.

В романе Пастернака «Доктор Живаго» под конец, как *deus ex machina*<sup>15</sup>, появляется Евграф Живаго, всесильный генерал советской полиции, сыгравший роль благодетельного защитника остатков разбитого семейства. Для нас аналогичной фигурой оказался американский полковник Питер Клибэн, офицер связи, прикомандированный к Первой дивизии. Младший брат нашего с Урсулой отца проявил к нам трогательное внимание. Он не только отправил нас ближайшим транспортом в Англию, где первые дни мы провели в американской войсковой гостинице у Марбл-арч, но также помог найти большую и приличную комнату в центре Камден-тауна<sup>16</sup>, внеся вперед плату (у нас пока не было ни гроша) за целых полгода. Улетая на следующий день в Штаты, он сказал: «За полгода вы наверняка сумеете ус-

---

<sup>15</sup> Бог из машины (*лат.*).

<sup>16</sup> Район Лондона.

троиться в Лондоне самостоятельно». По-польски он говорил хотя и с заметным американским акцентом, но совсем неплохо.

Так начался лондонский период нашей жизни. Найти работу было вообще-то несложно, даже и без знания языка, но вот с part-time job, работой на полдня, которая нам требовалась, дело обстояло хуже. Мы уже знали, что вторую половину дня должны посвящать, во-первых, урокам английского, а во-вторых, занятиям в Академии драмы, учебном заведении в Хоулборне, которое курировалось театром «The Sea-Gull». В конце концов нам это удалось. С семи утра до часу дня я мыл кастрюли, тарелки, вилки и ножи в отеле на Гайд-парк-корнер<sup>17</sup>, а Урсула в эти же часы работала в камдентаунской прачечной. Курс Cambridge Proficiency<sup>18</sup> предоставлял возможность быстро и неплохо овладеть языком. В Академии драмы мы соприкоснулись с английским театром буквально вплотную. Директор «The Sea-Gull» Theatre Кеннет Мэддокс на занятиях в академии внимательно приглядывался к таким слушателям, как мы. Молчаливый и сосредоточенный, временами он напоминал терпеливого рыбака, часами ожидающего, когда дернется поплавок.

Итак, все вроде бы шло по намеченному плану, хотя подобный ритм жизни требовал серьезных физических усилий. Утром они с трудом продирали глаза, а вечером валились в постель, измученные уходящим днем. Неожиданно между ними появилась некая стеклянная стена, и причиной тому была не только усталость. Выросла ли стена по обоюдной вине, или же ее возвела Урсула? Скорее второе. В безмолвной автобиографии Лукаша этот продолжавшийся более трех лет период выглядел сущим кошмаром. Вначале он полагал, что все дело тут в навязанном Урсулой любовном воздержании, настолько суровом, что она встречала гневным блеском в глазах не только любую попытку приблизиться к ее постели, но и каждое произнесенное им ласковое слово. Если запретной становится не только любовь, но и простая нежность, можно говорить о необратимом кризисе. День за днем Урсула неуклонно превращалась в другую женщину. Колочую и недовольную, с грузом невысказанных претензий, ведущую себя порой просто вызывающе — так, без всякого повода она, например, вдруг начинала с теплотой вспоминать Богдана. Спустя много лет, когда все изменилось и вернулась прежняя любовь, он так и не смог понять, что же с ней в то время происходило. Не смог он избавиться и от настороженности человека, который, обжегшись на молоке, дует на воду: любой холодок в интонации, пусть даже незначительный и случайный, казался ему предвестием новых заморозков. Неужели в те годы у нее кто-то был? Совершенно точно — ни-

---

<sup>17</sup> Площадь в Лондоне; считается самым шумным и перегруженным перекрестком в Великобритании.

<sup>18</sup> Специальный курс английского языка.

кого. Это скорее доказывало, что в нас порой скрывается несколько разных личностей. Личности эти могут себя так никогда и не проявить, однако могут внезапно и громко закричать неузнаваемым голосом, заглушить который сможет лишь возвращающаяся волна любви.

Профилактические капли доктора Мэйхью, которые Урсула закапывала ему в глаза утром и перед сном, постепенно переставали действовать. Зрение продолжало ухудшаться, о чем он знал; знала и Урсула, хотя категорически это отрицала. Проговаривание безмолвной автобиографии, и без того торопливое, теперь превращалось в нечто суматошное и хаотичное. Сохранятся ли его глаза в более или менее приличном состоянии до операции? В этом он не был уверен. Если не сохранятся, то свое безмолвное повествование он прервет. И не в том дело, что тени, обступавшие его все плотнее, были условием *sine qua non*<sup>19</sup> этой затеи. Если он ослепнет полностью, то все вообще потеряет смысл. Пока же он, напрягая спрятанные за темными очками глаза, кое-что мог видеть, и поэтому воспоминания его сопровождались пусть и тихим, но необходимым аккомпанементом. Прежде спешка заставляла его срезать углы. А теперь суматоха, которой уже сопутствовала паника, превратила его в стайера, у которого перед самым финишем начинают заплетаться ноги и которым овладевает искушение сойти с дистанции и растянуться на траве рядом с беговой дорожкой.

Однако он продолжал, и силы ему, возможно, придавало сознание, что финиш пускай пока еще и не виден, все же неуклонно приближается.

К середине третьего года обучения в хоулборнской академии он овладел английским вполне прилично и однажды рискнул взять слово (сидящая рядом Урсула посмотрела на него искоса, явно перепугавшись). Обсуждали театр Чехова. Лукаш достаточно легко справился с изложением своей теории и краем глаза заметил, что Кеннет Мэддокс поднял взгляд и в настороженном ожидании застыл над своей удочкой.

Затем он пригласил Лукаша к себе в кабинет. «Я ничего не обещаю, но хочу дать вам шанс. Набросайте в свободное время варианты постановок «Иванова» и «Чайки». Если сумеете меня убедить, мы подпишем договор, вы станете нашим режиссером и получите актеров». Легко сказать — в свободное время. Однако согласился Лукаш сразу, хотя и поставил два условия. Сначала он покажет всей труппе свою инсценировку «Белых ночей» Достоевского. Вдвоем со своей женой Урсулой, практически без декораций. Хорошо было бы сделать это на языке оригинала, но жена плохо знает русский. Так что спектакль они сыграют на польском, а все действие продлится не больше пятидесяти минут. Мэддокс спросил, какое отноше-

---

<sup>19</sup> Непременное; без которого нельзя обойтись (*лат.*).

ние это имеет к Чехову. Лукаш ответил, что ему трудно объяснить, но для него это очень важно. Мэддокс кивнул в знак согласия.

Уговорить Урсулу оказалось нелегко. Она упрямо твердила: «Нет, нет», но в конце концов уступила.

Получилось так же, как в Гродно. Шепот зарождающейся любви («чтобы побыть хотя мгновенье в соседстве сердца твоего»), окутанный атмосферой, которая впоследствии стала одной из главных составляющих драматургии Чехова, привел зрителей академии и «The Sea-Gull» Theatre в восторг. Представление повторили еще дважды, каждый раз выдавая зрителям вместе с программой английский текст польской сценической версии. Оценки были получены самые высокие.

А Урсула, как и в период гродненских репетиций «Белых ночей», опять открылась Лукашу. После покаянных рыданий она вновь стала ему не только сестрой, но и женой. И на этот раз навсегда.

Позже, когда он подписывал контракт, было решено принять Урсулу в состав актерской труппы театра на Стрэнде; однако по причине недостаточно хорошего знания языка она могла быть занята только в спектаклях Лукаша.

Добавить к этому можно лишь то (собрав последние силы, совершал Лукаш финишный рывок), что за сорок лет я поставил более ста классических и современных пьес авторов из самых разных стран (в том числе несколько польских), был признан — без ложной скромности — одним из наиболее выдающихся мировых режиссеров, а в 1968 году мне предложили место главного режиссера «The Sea-Gull» Theatre. Мы давно поселились в Уимблдоне, в доме, купленном нами в рассрочку (банковский кредит не потребовался) вскоре после подписания контракта. Меня называли Russian-born<sup>20</sup>, затем я добился, чтобы это определение заменили на Polish-born<sup>21</sup>, хотя справедливо было, по сути, и то и другое. Урсула отказалась от актерской карьеры и получила должность в администрации театра.

Мою безмолвную автобиографию следовало бы завершить своего рода моралью. Она связана с той ролью, которую сыграли в моей жизни «Белые ночи» и Чехов. (Я забыл упомянуть о том, что мои дебютные постановки «Иванова» и «Чайки» подверглись острой критике, постепенно — после восторженного приема их публикой — превратившейся в нечто противоположное: рецензенты вначале умолкли, а затем многие из них стали писать, что «именно так следует играть Чехова».) Но пора вернуться к морали, поскольку я уже действительно теряю силы. А мораль, по-моему, такова. Русские, осознанно или нет, считают любовь «прекрасной болезнью». Противоядием

---

<sup>20</sup> Русского происхождения (англ.).

<sup>21</sup> Польского происхождения (англ.).

для этой «прекрасной болезни» служит любовь новая, затягивающая еще сильнее. Такой подсознательной веры в целительные свойства любви нет ни в какой другой литературе на свете. Впервые я заметил это в одном побочном мотиве «Белых ночей»: петербургский мечтатель утешает Настеньку, а она, не отдавая себе в этом отчета, спасает его любовью от болезни одиночества (снимая синдром будущего *podpolja*) и сама в свою очередь пробивается из своей скорлупы на свет Божий благодаря его любви. Даже превосходная «Первая любовь» Тургенева (я всегда горячо, хотя и безрезультатно, мечтал адаптировать эту повесть для театра) представляет собой нечто вроде жесткой и болезненной хирургической операции, проведенной при помощи любовного скальпеля на взрослеющем юноше. В этом и кроется весь мой секрет. Насколько важную роль он сыграл в моей личной жизни, я уже рассказал.

В 1989 году я вышел — уже достаточно поздно — на пенсию. Я мог и даже хотел бы работать дальше до последнего вздоха, если бы не прогрессирующая болезнь глаз. Удастся ли с ней справиться? Или она неизлечима? А может, после операции она все же отступит? Вскоре ответ будет получен. Переживая чувство, подобное моей любви к Урсуле, трудно отказаться от смешной мечты о бессмертии.

Я завершаю безмолвную автобиографию 13 декабря 1998 года. Послезавтра мы летим в Венецию. Со слуховым аппаратом, который Урсула купила мне вчера. Он помогает, но нужно еще научиться надевать его утром и снимать на ночь.

## Лица Венеции

...Самый диковинный из всех городов.

Томас Манн. «Смерть в Венеции»

*Альберго «Гольдони»*, приличный трехэтажный «театральный отель», пока пустовал. На втором этаже никто не жил, в ресторане накрывали лишь несколько столиков в углу рядом с кухней. Их номер, красивый и удобный, находился на третьем этаже (в гостинице был лифт). Урсула распаковала багаж, повесила одежду в шкаф и отвела Лукаша вниз. Они зашли в бар и оттуда уже не выходили. Ужинать им не хотелось; вместо этого они постепенно опустошали бутылку виски (из которой, похоже, давно не наливали!). Когда около полуночи они, сильно набравшись, вернулись в номер, Урсула смогла скинуть только платье и залезла под одеяло в нижнем белье. Она быстро заснула, забыв, что вечером обычно помогает Лукашу раздеться.

Он снял пиджак и, надев теплый халат, сел в кресло у окна. Горела только одна лампа на ночном столике у его постели. Окно выходило на Дзаттере, а на другом берегу канала отчетливо вырисовывались контуры



острова Джудекка с куполом большого собора. Когда-то там было венецианское гетто; теперь район выглядел пугающе заброшенным и грязным — казалось, горожане решили избавиться от него, не вмешиваясь в естественный процесс саморазрушения.

Лукаш дрожал от внезапно охватившего его волнения. Сквозь темные стекла очков он видел лучше, намного лучше, чем в Лондоне. Что произошло? Чем промыты его слепнувшие глаза: сменой города, сменой пейзажа, сменой климата? Он снял темные очки и стал видеть еще лучше. Ему захотелось разбудить Урсулу, но он передумал, решив, что это лишь минутная иллюзия. Впрочем, нет, похоже, никакая не иллюзия. Лукаш с трудом справлялся с волнением. Он не ошибся. В прежние годы он был в Венеции частым гостем, а временами и подолгу здесь жил (один или с Урсулой), принимая участие в международных фестивалях и театральных конференциях, так что город знал неплохо. Он видел, действительно видел на другой стороне канала остров, на берег которого с шумом накатывали волны, видел бедную прибрежную улочку, видел величественный купол церкви делла Салуте. А фоном был шум. То есть и слышал он тоже лучше. Это, впрочем, можно было отнести на счет слухового аппарата, а вот обострение зрения действительно стало неожиданностью.

У него не было ни сил, ни желания перебраться в постель. Сначала он задремал, а потом, так и оставшись в кресле, крепко заснул. Первая венецианская ночь внезапно наполнилась динамикой возрождения, в ней зазвучали отголоски счастливого прошлого.

В предрассветных сумерках Урсула разбудила его поцелуем и словом «прости». Она винила себя за то, что ночь он провел сидя. А он загадочно улыбнулся, решив о своем «сюрпризе» пока не говорить.

В Падую они отправились утром автобусом с привокзальной площади. Урсула не могла не заметить произошедшую с ним перемену. Его походка была бодрой, он без посторонней помощи сел в автобус, где уткнулся в окно, чтобы не упустить ничего из проносящегося мимо пейзажа. К тому же, что совершенно невероятно, на его губах блуждала едва заметная улыбка.

— Лукаш?

— Я не хотел говорить тебе сразу. Чтобы не сглазить. Я лучше вижу и лучше слышу, будто внезапно помолодел. Может, теперь и операция уже не нужна?

Она взяла его под руку и сильно прижала к себе. Ее лицо посветлело.

— Это решит профессор Антинори.

Через полчаса автобус остановился на большой падуанской площади, которую многие (и не без основания) считают самой прекрасной площадью в мире. Выяснив, как добраться до улицы Сант-Антонио, находившейся где-

то за Базиликой, они неторопливо отправились туда, по дороге заглянув и в Базилику, уже заполненную в это время дня людьми. Сквозь толпу они протиснулись в один из малых боковых приделов и молча опустили на колени перед залитым светом алтарем. Они не знали, как нужно молиться, и потому лишь мысленно повторяли сумбурные просьбы, в которых то и дело всплывали два слова: «помоги» и «сделай». Оба почувствовали огромное облегчение, а доносящееся от главного алтаря пение хора мягко обволакивало их, как высокие травы некогда в Рыбницах. Лукашу вспомнилось их любимое место в зарослях папоротника. Он крепко сжал раскрытые до того момента ладони и что-то неразборчиво пробормотал себе под нос. Урсула искоса бросила на него удивленный и слегка испуганный взгляд.

До старинного дворца, в котором знаменитый Антинори когда-то основал свою глазную клинику, нужно было пройти несколько сот метров. На этот день им был назначен первый прием. Принял их ассистент профессора, приятный молодой человек. С замиранием сердца Лукаш ждал, когда будет вынесен вердикт. «Это улучшение временное, такое наблюдается часто, — сказал ассистент, — а ваше общее состояние не изменилось. Улучшение может продолжаться вплоть до самой операции. Для подготовки к ней вам нужно будет прийти в клинику 6 января. Операция назначена на 7 января. Sir Luke, — добавил он по-английски, — для нас это большая честь».

Урсуле пришлось помочь Лукашу выйти из кабинета: он как-то сразу обмяк, и ноги под ним подкосились.

— Хочешь заглянуть в капеллу Джотто? — спросила она.

— Нет-нет, не сегодня, я снова вижу хуже. Поедем назад в Венецию.

На обратном пути он опустил голову на грудь и, похоже, задремал. В Венеции ей удалось вывести его из автобуса только с помощью водителя. К счастью, на пристани уже стояла моторная лодка. Доехав в лодке до Академии, они смогли оттуда пешком добраться до гостиницы в Дзаттере.

Он упал в кресло у окна, и вновь, как и накануне, у него обострилось зрение. Может быть, причиной тому была ясность венецианского воздуха, воды и неба, которые в Падуге становились серыми? Однако чем бы это ни объяснялось — хотя бы и тем, что в гостиничном номере спало нервное напряжение, завладевшее им во время осмотра в клинике, — сейчас он в деталях мог разглядеть транспортные баржи, обгоняемые пассажирскими судами, и хорошо слышал протяжные сигналы сирен. Он сразу почувствовал, как уходит прежняя подавленность, и уже иначе взглянул на стоявшую рядом Урсулу. «Попроси, чтобы обед подали в номер, — сказал он. — А после обеда мы пойдем выпить кофе во «Флориан». Ты помнишь «Флориан» на площади Святого Марка?»

Конечно же она помнила. В просторном, но уютном кафе ежедневно собиралось разноязыкое театральное братство, съезжавшееся раз в несколько лет на фестивали и творческие встречи в одном из пустующих зимой павильонов Бьеннале.

Главным образом зимой. Какими разными были венецианские зимы! Временами, хотя и нечасто, сухие и прохладные, как теперь, не слишком солнечные, но просветленные постоянными и ясными воздушными потоками, идущими со стороны морской лагуны. Это были прекрасные зимы, без внезапных мимолетных ливней и затяжных дождей, заполнявших по колено водой всю площадь Святого Марка. Можно было бесконечно бродить по переулкам и берегам каналов, от одной сапро<sup>22</sup> до другой, по дороге заходя в церкви или подолгу наслаждаясь фасадами венецианских дворцов, этими чудесами невероятно тонкой архитектурной инкрустации, с тайными волшебными садами, видневшимися за решеткой ограды. И «Флориан» — многолюдный и шумный во время международных встреч, старомодный, эlegantный, ярко освещенный.

Сейчас в зале было лишь несколько человек. Один из них, увидев Лукаша и Урсулу, вскочил со стула и бросился к ним с криком: «Лука, Лука!» «Тонино!» — крикнула в ответ Урсула.

Тонино Тонины, самый знаменитый Арлекин в истории театра, волшебный «слуга двух господ» из комедии Гольдони, известный когда-то всему миру, теперь почти такой же старый, как Лукаш или по меньшей мере, как Урсула, много раз приезжавший (с трупой венецианского театра) в «The Sea-Gull» Theatre. Невысокий, будто возраст прижал его к земле, однако полный энергии, как сжатая пружина: можно было подумать, что сейчас он совершит один из тех комичных пируэтов, которые когда-то так восхищали зрителей.

За столиком он оживился, много — изголодавшись по общению — говорил, им говорить не давал, смеялся, как и раньше, однако глаз знатока мог разглядеть за этим смехом его истинное лицо: лицо печального клоуна. Что может быть печальнее печали клоуна — не перестающего кривляться, хотя и выжатого до последней капли паяца?

Тонино жил в Венеции один, в просторных и изысканных апартаментах недалеко от Большого канала. Трудно сказать, помнили ли его еще. Он, во всяком случае, делал все, чтобы его забыли. Собственно он перестал жить привычной жизнью, выступая на сцене и общаясь со старыми друзьями, после того как двадцать лет назад от лейкемии умерла его единственная дочь, студентка медицинского факультета, а затем (месяца через три) вслед за ней ушла и ее мать.

В этом непрекращающемся потоке красноречия, чтобы не сказать трепы, в произвольной эквилибристике старого тела, в периодических взрывах на-

---

<sup>22</sup> Площадь (*итал.*).

пускнуи веселости чувствовалась какая-то цель. Тонино уже не мог переносить свое одиночество — о чем он в конце концов сказал открыто — и умолял их, друзей из лондонского театра «Чайка», друзей, которых он «полюбил с момента первой встречи», переехать из гостиницы к нему. Они согласились почти не раздумывая. Если бы мы умели заглядывать в человеческие души, то в душах Лукаша и Урсулы увидели бы похожее чувство: потребность в чем-то благожелательном присутствии в минуту тяжелого испытания.

На ближайшей к дому Тонино пристани Большого канала мало кто выходил на берег. Окружающие пристань дома производили впечатление неприступной крепости. Полтора десятка каменных ступенек вели к дверям, окованным железом, и предположить, что за ними скрываются богатые и изысканные апартаменты, было трудно. Внутри по обе стороны длинного и темного коридора располагались комнаты, залитые светом из окон, которые выходили на сапро. В дом можно было попасть и оттуда, через ведущие с сапро широкие двери. Две параллельные анфилады комнат упирались в широкий, засаженный цветами *ratio*<sup>23</sup>, над которым был натянут брезентовый навес. Старый стол и массивные лавки свидетельствовали о том, что в хорошую погоду *ratio* мог служить столовой. В одной анфиладе комнат жил сам Тонино, а другую он предложил теперь своим гостям. Четыре большие комнаты были обставлены и тщательно убраны специально к прибытию Лукаша и Урсулы. По некоторым мелочам можно было догадаться, что раньше здесь жила вся семья: Арлекин с женой и дочерью. Оставшись в одиночестве, он перебрался в другое крыло дома, а это плотно закрыл и запер на засов. Было вовсе не удивительно, что у него такие апартаменты в самом сердце Венеции. Великий венецианский Арлекин считался одним из самых богатых актеров Италии — он и вправду был очень состоятельным, прежде всего благодаря гастролем. Покоряя публику во всем мире как несравненный интерпретатор комедий Гольдони, он и в жизни был слугой двух господ: жены и дочери. Судьба дала ему знак уйти со сцены и в одиночестве дожидаться смерти в этом наглухо закрытом для посторонних глаз уголке родной Венеции.

В прогулках по городу он стал их постоянным спутником, показывая, на правах коренного венецианца, такие закоулки и достопримечательности, до которых они во время своих прежних, обычно скоротечных приездов не добивались или на которые не обращали внимания. Узнав от Урсулы о цели теперешнего визита и о нависшей над Лукашем опасности (*povero Luca!*<sup>24</sup>), Тонино взялся разыгрывать перед ним роль придворного шута, чтобы вывести его из подавленного состояния. И все же состояние это усугублялось:

---

<sup>23</sup> Внутренний дворик (*исп.*).

<sup>24</sup> Бедный Лука! (*итал.*).

Лукаша бросало из одной крайности в другую — зрение то улучшалось, порождая радужные надежды, то ухудшалось (порой до полного мрака), приводя его в отчаяние. Отчаяние сводилось к одной мысли: «Я больше не увижу Урсулу». Чем яснее Лукаш осознавал, что от надежды до отчаяния один шаг, тем более эгоистичным становилось его отношение к Урсуле. С детских лет одержимый любовью, из-за которой он постоянно испытывал мучительное чувство вины, отторгаемый Урсулой первые три года их совместной лондонской жизни, теперь, уже на краю могилы, Лукаш был охвачен абсолютно не соответствующей возрасту сентиментальной страстью. Урсула, стараясь по возможности ничем его не ранить, все же не могла избавиться от наплывающего порой страха. На его любовь она отвечала безоглядной взаимностью, хотя порой это бывало довольно обременительно.

С приближением Рождества пустынная до сей поры Венеция начала заполняться приезжающими как со всей Италии, так и из-за границы туристами; шумные толпы появились на площади Святого Марка и в ее окрестностях, у Дворца дождей, на мосту Вздохов, у тюрьмы Пьямби. Трудно стало найти свободное место в ресторане, а у магазинов выстраивались очереди. До начала карнавала было еще далеко, но предвещающие его репетиции отдельными ручейками там и сям вливались в широкий предпраздничный поток. На улицах часто встречались молодые люди в карнавальных костюмах, иногда парами, а иногда и целыми группами. В том, что касается моделей одежды, грима, актерской импровизации и постоянной готовности веселиться и танцевать, венецианская карнавальная фантазия всегда была неисчерпаемой. И если раньше венецианский карнавал служил для случайных партнеров неким промежуточным этапом на пути к альковным утехам, то теперь прежние ритуалы ухаживания ушли в прошлое, а безграничная свобода любви стала напоминать неистовства и безумства в духе Рио-де-Жанейро.

Когда они пробирались сквозь толпу, их часто останавливали. Точнее, останавливали, обнимали и целовали Тонино Тонини.

— Viva il nostro Arlecchino!<sup>25</sup>

Когда под вечер они возвращались домой и Тонино наконец оставлял их одних, Урсула укладывала Лукаша (засыпал он хотя и быстро, но только после обязательного поцелуя), сама же, страдая в Венеции от неожиданной бессонницы, ложилась в постель с привезенной из Лондона книжкой. За окном стелилась зимняя венецианская ночь — тьма, приправленная серостью.

С собой она захватила недавно изданную в Лондоне книгу Тони Таннера «Venice Desired»<sup>26</sup>. Таннер, кембриджский преподаватель англий-

---

<sup>25</sup> Да здравствует наш Арлекин! (*итал.*).

<sup>26</sup> «Венеция желанная» (*англ.*).

ской и американской литературы, собрал в ней подробные и благожелательные отзывы о городе, принадлежащие писателям девятнадцатого и начала двадцатого веков. Лорд Байрон, Джон Рёскин, Генри Джеймс, Гуго фон Гофмансталь, Марсель Пруст, Эзра Паунд — все они кто в большей, кто в меньшей степени смотрели на мир через призму Венеции.

Однако можно ли вообще говорить о Венеции как о «призме»? Урсула, с ранних лет связанная — через брата, любовника и мужа — с театром, быстро поняла, что это слово хотя и эффектное, но все-таки не совсем подходящее. Ведь каждый писатель из антологии Таннера становился на какой-то период, а иногда до конца жизни частью Венеции, что давало ему возможность увидеть одно из ее бесчисленных лиц. Прав был Томас Манн, когда в новелле «Смерть в Венеции» писал о «самом диковинном из всех городов». Лица, лица Венеции. Не только у этого города в лагуне, но и у всех знаменитых городов есть множество разных лиц, но лишь здесь они исподволь проникают в глубину души тех, кто живет в Венеции постоянно или поселяется на какое-то время. Таннер смог без труда написать свою книгу, поскольку ему без труда удалось найти авторов, чье сердце пронзила стрела Венеции. Каждому из лиц Венеции, обращенных будто бы только к тебе, присуще свое, особое выражение. Это действительно «самый диковинный из всех городов», который нельзя сравнить ни с Лондоном, ни с Парижем, ни с Римом или Флоренцией. Как сказал один поэт: «Этот город построен только для меня».

Временами Урсуле казалось, что он построен и для нее, хотя вообще-то она была о себе скромного мнения. Урсула еще не успела хорошо узнать город, который многие сравнивали с живым существом, брызжущим жизнью и одновременно зараженным смертью. Она с волнением читала письмо Рёскина американскому историку искусств Нортону: «Я очень рад, что Вы занимаетесь Венецией. Это одна из прекраснейших тем. Однако для меня она была бы сейчас непосильной». Непосильной для автора «Камней Венеции»! Хотя Рёскин все-таки имел право так написать. Венеция быстро становится слишком обременительна для своих рабов.

Урсула заворачивалась в постели, удивившись появившемуся в ее мыслях слову «раб». Ну вот. Хватило нескольких дней, чтобы почувствовать себя попавшей в рабство. Ощущение это, возможно, возникло потому, что ее окружало, затягивало, поглощало и в конце концов отторгало нечто, не свойственное никакому другому городу. Венеция становилась для женщин любовником, а для мужчин — любовницей, создавая при этом иллюзию, что любовь может быть вечной. Для Байрона, например, это была любовь плотская. Нигде и никогда он не предавался страсти так жадно и ненасытно. Им овладело нечто вроде любовного помешательства. В день у него иногда бывало по три женщины, причем из самых разных социальных слоев. Он верил, должен был верить, что это пламя уже никто не сможет погасить. Зама-

нивая к себе женщин с улицы, красивых, но немых и дурно пахнущих простолудинок, он любил их так, будто свершался некий ритуал страсти, а не простое соединение тел. Ритуал, нарушить который невозможно.

О том, чем была в Венеции любовь, Урсула знала из книг. Сейчас же на собственном опыте — пусть и превратившись уже в старуху, сопровождающую своего старика, — она ощутила, что любовные флюиды витают здесь в воздухе подобно ядовитым, с гнильцой, летним испарениям лагуны, описанным в новелле Томаса Манна. Вновь и вновь, читая книгу Таннера, она убеждалась в абсолютной уникальности этого города.

«Камни Венеции», соборы, живопись, забавы архитектуры с капризным небом, золотые, сапфировые и яшмовые инкрустации, море, играющее всеми цветовыми оттенками, изгнанный из рая «райский город», мраморный лес построек — во все это глубоко погрузился, стараясь забыть о мире будничном и реальном, Джон Рёскин. Любовь к венецианскому царству искусств поглотила его так же, как Байрона — любовь к женщинам, проплывающим перед ним в нескончаемом хороводе. Рядом с Рёскином была его молодая жена, бедняжка Эффи, с которой он так и не наслаждался радостями брака. Байрона возбуждало открытое гладкое и загорелое женское тело; Рёскина поражал «эрогизм цвета», он был захвачен художественным совершенством скульптур, картин, фресок, архитектурных силуэтов, то притягивающих к себе, то отталкивающих, словно бы в ритме сексуального акта. И пусть спустя годы Рёскин стал считать Венецию для себя «непомерно большой» (Венецию, непостижимый до конца шедевр), но, будучи однажды сражен ее величием, ничем меньшим удовлетвориться он уже не мог. Читая в книге Таннера о Рёскине, Урсула на какое-то время погружалась в иную любовь, столь не похожую на плотскую любовь Байрона и столь ей близкую. Этим, по сути, и объяснялось (думала она) неуловимое своеобразие Венеции — города единственного в своем роде: ее материальность обжигала смотрящие на нее глаза и прикасающиеся к ней ладони, а взгляд ее в то же время пытался догнать иллюзорный сон о самой себе. Венеция была городом разных, практически суверенных, независимых друг от друга элементов, мечтающих о том, чтобы слиться воедино. И отличало Венецию от других знаменитых городов, придавая ей неповторимый характер, именно то, что стремление это так и не осуществилось. Венеция осталась городом городов, неподвижным созвездием, каждая часть которого прочно крепится к своему фрагменту небесного свода. Уже перед самым рассветом, засыпая, Урсула вдруг вспомнила английского писателя, не попавшего в антологию «Венеция желанная». Много лет назад — когда театр «Чайка» намеревался ставить пьесу «Адриан VIII» Фредерика Рольфа, барона Корво, — ей предложили прочесть удивительную биографию этого автора под названием «The Quest

for Corvo»<sup>27</sup>. Несчастный и вечно неудовлетворенный гомосексуалист, Рольф прожил долгую жизнь и умер в Венеции в нищете, оставив после себя книгу «The Desire and the Pursuit of the Whole». Жажда и поиск целого (то есть полноты), венецианская жажда и венецианский поиск. И поразительное очарование этого «самого диковинного города» основывалось именно на том, что жажда эта так и остается неутоленной, а поиск — безрезультатным.

Перед окончательным погружением в сон, убаюканная тишиной глубокой венецианской ночи, она вспомнила о том, на что обратила внимание еще утром. В хронике новостей культуры «Геральд трибюн» сообщала о завершении подготовки к открытию выставки, приуроченной к столетнему юбилею Борхеса, который мог считать себя сыном Венеции. Все, что осталось после смерти Борхеса, его молодая японская вдова тщательно подготовила для экспозиции в венецианском дворце на Большом канале. «Перед глазами зрителей возродится Венеция Борхеса, — писала газета. И продолжала: — Город, который в одной из новелл он назвал скрещением сумерек и хрустала». «Был ли он уже слеп, когда сочинял эту новеллу?» — задумалась Урсула. И означает ли это, что такой странный симбиоз соответствует видению слепца? И не таким ли явится Лукашу «самый диковинный из всех городов», многогранный и вечно искрящийся бриллиант в лагуне, если падуанского чудотворца постигнет неудача? Вечные хрустальные сумерки: с чем-то подобным можно жить, как жил еще много лет великий и слепой Борхес.

Перед тем как погасить свет, она еще раз посмотрела на Лукаша. Он лежал к ней спиной, и его грузное тело почти утопало в мягкой постели. Урсула медленно придвинулась и прильнула к нему, как в молодые годы, когда хотела его разбудить, давая понять, что она открыта для атаки страсти. Беззащитная, готовая капитулировать, полная любви.

Назавтра был сочельник. День начался, по предложению Арлекина, поездкой в Лидо и на остров Сан-Джорджо. Затем, решив в конце концов устроить сочельник дома, они отправились на рынок. Атмосфера была праздничной: призывные возгласы торговцев, смех в толпе покупателей, стихийные выступления гуляющих в карнавальных костюмах. Тонино чувствовал себя как рыба в воде. Они бы не удивились, если бы он вдруг исчез и появился через несколько минут в костюме Арлекина.

Погода менялась. Часто выглядывало солнце, воздух был ясным, однако у самого горизонта начали собираться какие-то белые клубы. Туман? Венецианские знатоки метеорологии отвечали загадочно: может, да, а может, и нет; дня через три-четыре можно будет дать более определенный прогноз.

---

<sup>27</sup> «В поисках Корво» (англ.).



Когда с рынка принесли корзину с продуктами, эстафету по подготовке к праздничному ужину приняла экономка Арлекина, внушительных размеров дама из соседнего дома. Было так тепло, что стол решили накрыть в *ratio* под открытым звездным небом, откинув брезентовый навес.

У Лукаша внезапно резко улучшилось настроение: Урсула давно уже не видела его таким, во всяком случае в последние месяцы в Лондоне. Тонино также, глядя на него, не верил собственным глазам и без конца потчевал его сытными блюдами и густым пьемонтским вином. Урсула не переставала удивляться. «Что случилось, что случилось?» — шумело у нее в голове. Возможно, именно от этого шума голова разболелась, так что после всех праздничных пожеланий она, сославшись на недомогание, отправилась в спальню. Заснула она сразу, но через час проснулась. Ее разбудило пение и веселые возгласы двух мужчин в *ratio*. Впрочем, шум был не настолько сильным, чтобы помешать ей продолжить чтение «*Venice Desired*» Таннера.

Сначала был Генри Джеймс. Урсулу поразило название главы, в котором Таннер использовал словосочетание «постоянная изменчивость». Венеция была именно такой, все время меняющейся, складывающейся из образов рассеивающихся и мимолетных, всегда готовых уступить место другим. Это наверняка и имел в виду Томас Манн, когда называл ее «самым диковинным из всех городов». Образ обычных городов — и ярких, и бесцветных — складывается у нас постепенно: мы с каждым приездом узнаем их все лучше и лучше, привыкая к ним, словно к знакомым пейзажам. С «постоянно изменчивой» Венецией дело обстоит иначе. Конечно же, к ней мы тоже постепенно привыкаем, однако любой новый приезд напоминает встречу с любовницей, которую знаешь много лет, но которая на каждом свидании меняет свой облик. «А может быть (думаем мы), она вообще другая и мы просто не знаем ее, полагая, что знаем?» Именно это больше всего привлекало Урсулу в Венеции: элемент неопределенности и непредсказуемости в любви. К этому, по сути, она отчасти стремилась, когда в молодости отвергла Лукаша ради Богдана. Однако секретами «постоянной изменчивости» нужно владеть и нужно уметь ими пользоваться, а это вовсе не так просто. Той, кто всю жизнь хранит верность одному мужчине, в Венеции наверняка будет чего-то не хватать.

Джеймс в Венеции восторгался прежде всего светом. Он называл его «всевластным чародеем» и «при всем уважении к Тициану, Веронезе и Тинторетто высшим по рангу художником, нежели они». Море и небо встречаются на середине пути, порождая ни с чем не сравнимый сплав.

С годами, однако, восхищение стало вытесняться все более и более усиливающимся холодом. Старая Венеция умирала, а возможно, уже и умерла. «От самого меланхоличного города осталось только одно: его собственная, прекраснейшая в мире могила. Только здесь прошлое отправлено на вечный

покой с такой нежностью и с такой смиренной печалью воспоминаний. Только здесь реальность выглядит столь чужеродной, напоминая кладбищенскую толпу без погребальных венков». Когда Урсула читала эти слова, у нее колотилось сердце. Она сама ощущала нечто похожее, наблюдая игру красок грандиозной венецианской радуги — от торжественного гимна в честь света до бледнеющих и грустных оттенков декаданса, однако выразить это в словах, подобно великому англо-американскому прозаику, ей вряд ли бы удалось. Джеймс к тому же открывал Венецию самую старинную, привлекая далекое прошлое к объяснению ее двойственности. Порой Венеция становилась для него таким же мифом, как Москва для чеховских трех сестер. А нельзя ли (спрашивала она себя) перенести в Венецию действие знаменитого рассказа Джеймса «The Altar of the Dead»<sup>28</sup>? Видимо, подспудно думая о такой возможности, Урсула настойчиво предлагала Лукашу идею инсценировки этого рассказа; она представляла себе одноактную пьесу по образу и подобию «Белых ночей» Достоевского — вместе они сложились бы в диптих о любви рождающейся и умирающей. Лукаш отказался наотрез — быть может, из-за нежелания обращаться к теме умирающего чувства. Хотя они вполне могли бы снова сыграть пьесу для двоих: он с цветами на ее могиле и она, точнее, ее призрак, блуждающий за мраморной завесой. А может, его испугала аллегория их собственной странной любви, воплощенной и в то же время постоянно ускользающей — но куда? Алтарь мертвых! Она жила в его объятиях расцветая, чтобы затем угаснуть и застыть любовным надгробием. Но ведь он хотел жить и любить вечно! Его любовь никогда не остывала, никогда не считалась с тем, что должна рано или поздно состариться, умереть и превратиться в каменный памятник.

Голова ее тяжелела, а книга выскальзывала из рук. Урсула уже готова была заснуть, однако шумное общение Лукаша со своим венецианским другом — обрывки песен вперемежку с пьяными возгласами — не позволяло ей расслабиться и забыться. Она снова открыла книгу; название очередной главы, героем которой был Гуго фон Гофмансталь, сопровождалось интригующим подзаголовком «Ведь там всегда все были в масках». Маску Урсула давно считала квинтэссенцией Венеции.

И именно маска была темой всей главы. Таннер завершал ее замечанием о том, что по джойсовскому «Улиссу» можно реконструировать Дублин 1904 года. После чего добавлял: «Но вряд ли удастся реконструировать Венецию Гофмансталя, самоуничтожающуюся у него и как город, и как его характер». Венеция идеальная, почти абстрактная, лишенная и тела, и духа. Вся суть главы прочитывалась в подзаголовке. Андреас, герой неоконченной новеллы Гофмансталя, «едет в Венецию (на самом деле) потому, что

---

<sup>28</sup> «Алтарь мертвых» (англ.).

люди там всегда скрываются под масками». Так что Гофмансталь представил Венецию как *teatrum mundi*<sup>29</sup> — не как колыбель театра или его исток, а как своего рода театральную форму жизни. Карнавальная маска плотно прилегает к лицу, практически срастаясь с ним и становясь новым лицом.

И действительно. Урсула подняла голову от книги; было тихо, слышался лишь размеренный плеск воды, бьющейся о берега Большого канала. Ее охватила внезапная дрожь: то ли страх, то ли тревога. Вдруг тишину нарушил отдаленный звук сирены, сопровождаемый пением и смехом; большая гондола постепенно приближалась к дому Арлекина, все громче звучала музыка, все отчетливее становились слышны перемежаемые хохотом непристойные куплеты. Гондола медленно проплыла мимо окон, были видны лица в масках, а на мачте развевался продолговатый флаг с надписью: СКОРО КАРНАВАЛ, ЖИЗНЬ — ЭТО ТЕАТР, А ТЕАТР — ЭТО ЖИЗНЬ. Когда гондолу накрыл на горизонте всплывший из глубин канала бархатный покров ночи, побежденная сном Урсула наконец выпустила из рук книгу; не выключив настольной лампы, она уткнулась лицом в подушку.

Разбудили ее звуки, больше всего напоминавшие пьяную уличную сцену. Это и вправду оказалась пьяная сцена, хотя и вовсе не уличная. Действие разыгрывалось между окном спальни и креслом Лукаша, в пяти метрах от постели Урсулы. «Тебе нельзя столько пить перед операцией!» — крикнула она, но Лукаш и Арлекин ее даже не услышали. Она посмотрела на часы: было уже три ночи.

Рядом с креслом Лукаша стоял ящик с вином, они пили без всякой меры, а пустые бутылки бросали в канал. Арлекин принес из своей комнаты (или из домашнего архива) множество масок. Они менялись ими, шутливо пикировались, после каждой стычки раздражались хохотом и падали друг к другу в пьяные объятия. Арлекин разыгрывал перед Лукашем эффектные сценки, поражая своей прекрасно сохранившейся, несмотря на возраст, гибкостью и ловкостью. Большинство масок представляло собой головы птиц, искусно вырезанные из дерева и раскрашенные в их подлинные цвета. Лукаш долго не хотел расставаться с головой ворона, а Арлекин — с маской стервятника. «Барон Корво, барон Корво, барон Ворон!» — выкрикивал Лукаш, вспомнивший, видимо, об англо-венецианском писателе, который много лет работал здесь над книгами (почему им так и не удалось поставить «Адриана VIII»?), постоянно охотился на красивых местных мальчиков, терпеть не мог женщин, похвалялся — поскольку был католическим семинаристом — знанием литургии, под конец жизни написал свой шедевр «Жажда и поиск полноты», бедствовал, однако возвращаться из возлюбленной Венеции в ненавистную Англию не собирался и однажды утром скончался, сидя на по-

---

<sup>29</sup> Театрализованный мир (лат.).

стели и завязывая шнуры. Как и Урсула, Лукаш часто (и даже сейчас, когда был пьян) думал о навязчивой венецианской идее «полноты» (the whole). Не висела ли она в местном воздухе? Бисексуальному Арлекину по душе пришла старинная маска венецианской куртизанки, такой уродливой, что аж мурашки бежали по коже. Лукаш же из всего орнитологического богатства выбрал маску птицы, особенно ему дорогой: чайки. Прежде ему не приходило в голову, что внешняя мягкость сочетается в этой птице со скрытой агрессивностью. С чайкой на лице он и оставался до тех пор, пока наконец не заснул в своем кресле. Урсула принялась его раздевать. Они напоминали борцов, сошедшихся в схватке: ворочать Лукаша Урсуле удавалось с трудом, тем более что после попойки тело его заметно потяжелело. Снимая с Лукаша одежду, она целовала его, целовала его старческое тело, как когда-то в далеком прошлом, тихо повторяя: «И все-таки я тебя люблю».

Лукаш так и не встал с постели до самого начала января; его часто навещал Арлекин, кающийся и играющий роль покладистого слуги, преданного только одному из своих двух господ.

Урсула сидела рядом и читала ему вслух английские детективы, которые он всегда любил, и книги о театре из гостиничной библиотеки. Перед операцией зрение у него ухудшилось. Каждый раз, когда ему случалось задремать более или менее надолго, Урсула убегала в город с Таннером в руках. Иногда ее сопровождал все сильнее сокрушающийся Тонино-Арлекин.

Урсула внимательно наблюдала за Тонино. «Не могу его раскусить», — говорила она себе. Взять, к примеру, возраст. Судя по продолжительности карьеры, он был ее ровесником. Однако его юношеская гибкость, его балетная походка, артистичное владение телом — благодаря всему этому он выглядел значительно моложе. В манерах Тонино ощущалось некое мужское кокетство, и Урсула готова была поверить ходившим по Венеции слухам, будто, оплавав смерть дочери и жены, он порой позволял себе утеху особого свойства. То есть, говоря прямо, бисексуальность свою не сдерживал и ночи в опустевшем доме часто проводил не один.

Впрочем, вовсе не это возбуждало ее любопытство. Главной загадкой был Тонино-актер, величайший в мире исполнитель главной роли в комедии Гольдони — единственной роли на сцене за все сорок лет актерской карьеры. В театральных кругах это вызывало и удивление, и восхищение. Удивление, поскольку он сам отказывался от любых прочих ролей, даже в пьесах самого близкого ему жанра — *commedia dell'arte*. Категорическое «нет». Он чувствует себя хорошо только в обличье Арлекина и хочет быть только им, хочет умереть «слугой двух господ». А восхищение потому, что роль эту он довел до абсолютного совершенства; и когда всем казалось, что уже ничего нельзя ни убавить, ни прибавить, внезапно появлялась новая деталь, некий неожидан-

ный (или даже невероятный) штрих. Тогда он со смехом заявлял: «Вы считаете, что мой Арлекин завершен. А вот и нет, потому что я сам никогда, до самой гробовой доски, не буду завершен и отшлифован окончательно. Бог всегда придумает и подарит мне что-нибудь новое и до сей поры неизвестное».

Это звучало так убедительно, что все привыкли говорить: «Арлекин получил еще один сувенир от Господа Бога». Однако в серьезных дискуссиях дело не ограничивалось дружескими шутками. Тонино был представителем редкого и даже уникального театрального жанра. Он имел полное право считать своим карнавальным лозунг «Жизнь — это театр, а театр — это жизнь». Он год за годом терял присущие ему индивидуальные черты, которые постепенно замещались чертами его сценического персонажа. Тонино Тонини переставал существовать, а на его месте возникал *Arlecchino, servo di due padroni*<sup>30</sup>. Возникал, ставя под сомнение саму идею театра. Ситуация, воссоздаваемая средствами драматургии, — всегда в той или иной степени отражение реальной жизненной ситуации. В разных формах: в стихии человеческих страстей, как у Шекспира, в трудноуловимой зеркальной игре между реальностью и вымыслом, как у Пиранделло, в покорном и скромном вслушивании в драму, вырастающую из обыденной жизни, как у Чехова. Но чему должен служить в театре — среди прочего и в *commedia dell'arte* — неизменный сценический образ, пусть и достигший совершенства, но все же неизменный (или меняющийся почти неощутимо)? Не сопряжено ли это неизменное совершенство с риском выхода за границы театра, туда, где актер из сценического персонажа превращается в персонаж реальной жизни, обладающий полным набором обыденных — как забавных, так и трагических — черт?

Венецианского Арлекина горячо любили. Со сцены он сошел неожиданно, в расцвете сил, попросту сказав: *basta*. Через несколько лет (уже после описываемых здесь событий) он столь же неожиданно сошел и с жизненной сцены, также в расцвете сил, оставив в завещании образец текста для своей надгробной плиты на венецианском кладбище: *Arlecchino, sempre Arlecchino*<sup>31</sup>.

Может быть, театр — это своего рода монастырь? Но он не был таковым ни для Урсулы, ни для Лукаша. Он был их любовью и верой. Они преклоняли колена перед алтарем, произносили короткую молитву и, перекрестившись, шли дальше, не забывая, в чем воплощена для них самая высокая, хотя и далеко не всепобеждающая, любовь.

В гостиничной библиотеке Урсула нашла нашумевшую когда-то книгу английского театрального «реформатора» Гордона Крэга о «монументальном театре». В варшавские студенческие годы Лукашу уже приходилось с ней стал-

---

<sup>30</sup> Арлекин, слуга двух господ (*итал.*).

<sup>31</sup> Арлекин и только Арлекин (*итал.*).

киваться, поскольку ее высоко ценил Гиллер. Не зная английского, Лукаш просматривал выполненные Крзгом эскизы декораций. Они показались ему смешными. Любой «монументализм» выглядит в театре напыщенно и убивает его суть. Однако Лукаш не решился тогда вступить в спор с Гиллером, который как раз поставил по книжному рецепту лондонского миссионера одну знаменитую польскую национальную драму. «Театральный монументализм» был принят прохладно, поскольку считавшаяся «национальной» польская драма не вписывалась в своеобразную стилистику «декламирующих скульптур». Чтобы сохранить реноме «волшебника театра», бедному Гиллеру пришлось постараться как можно быстрее загладить свой промах. На помощь ему пришел «Наш городок» Торнтона Уайлдера — с актерами, меняющими декорации и расставляющими сценический реквизит. Эта хотя и не слишком изощренная уловка все же смогла отвлечь на себя внимание критики и публики.

Английская книга, которую принесла Урсула, заканчивалась своеобразным «венетцианским проектом» (наверное, поэтому кто-то и подбросил книгу в гостиничную библиотеку). Идея новаторского проекта Крзга состояла в том, чтобы поставить «Лоренцаччо» Мюссе в Palazzo Ducale, Дворце дождей. Лукаш, sir Luke, внезапно загорелся (может быть, по причине болезни?) этой идеей, которую самому «новатору» так и не дали реализовать. Было 4 января. Он встал с постели, все еще слабый, и категорически потребовал отправиться во Дворец дождей на «осмотр площадки». Урсула и Тонино вели его под руки.

Они вели его, дрожа от страха. Пока Урсуле удавалось избегать художественных галерей со знаменитыми полотнами и фресками: она понимала, что увидит Лукаш немного, а невозможность увидеть больше серьезно его расстроит. Теперь же с самого начала, от Scala del Giganti<sup>32</sup> при входе во дворец, опасность этого проявилась в полной мере. Освободившись от посторонней поддержки, Лукаш уверенным шагом поднимался по высоким ступеням; казалось, он сам чувствует себя одним из гигантов. Не осмеливаясь ему мешать, они шли чуть позади, как пара телохранителей. «Эта лестница — хорошее место, — тихо бормотал он, обращаясь скорее к себе, нежели к ним, — для «Лоренцаччо» было бы в самый раз. — И, подумав, добавил: — Но нужно посмотреть и залы, нужно посмотреть и картины». Возможно, уже толком и не помня пьесу Мюссе, но тем не менее охваченный неожиданным порывом, он все убыстрял шаг. Не поспевая за ним, Урсула провожала его испуганным взглядом; Тонино бежал с ним рядом, как преданный пес.

Залы выглядели вполне подходяще. Урсула с путеводителем в руке читала их названия: Зал Совета десяти, Сенат, Зал Большого совета, Зал щита, Зал философов, а Лукаш спокойно слушал, временами удовлетворенно улыбаясь. Идея английского театрального теоретика захватывала

---

<sup>32</sup> Лестница Гигантов (*итал.*).

его все больше и больше. «Лоренцаччо, Лоренцаччо», — триумфально шествовал он под трубный глас этого имени.

Однако у картин случилась катастрофа. Урсула снова поясняла: Тинторетто, Веронезе, Бассано, Карпаччо, Тициан. Но этого ему не хватало. Он подходил к полотну совсем близко, вызывая неудовольствие зрителей, пытался рассмотреть изображение, едва не касаясь холста ресницами, и пару раз даже пытался его потрогать. Отходил от картины Лукаш с явным раздражением, и теперь сопровождающим уже приходилось крепко его держать. Урсула пыталась его успокоить: «Лукаш, Лукаш, дома я все тебе расскажу». Это, видимо, рассердило его еще больше; быстрым шагом, увлекая за собой Урсулу и Арлекина, он вернулся на самый верх *Scala del Giganti*. Там он, собрав все силы, вырвался из объятий сопровождающих, вознамерившись спуститься самостоятельно, но... споткнулся и покатился вниз. Поднимающиеся наверх туристы поймали его на следующей лестничной площадке. Урсула склонилась над Лукашем, а Арлекин приподнял его голову: падая, Лукаш содрал кожу на лбу, и из ранки текла кровь. Прибежал дежурный санитар. К счастью, ничего страшного, если не считать многочисленных ушибов на всем теле, не произошло. После оказания первой помощи их отвезли домой к Арлекину. Похоже, что весь инцидент был следствием временного помрачения сознания с момента входа в *Palazzo Ducale*. А возможно, и с момента новой встречи — после многолетнего перерыва — с книгой Крэга.

Одними синяками дело не ограничилось. В таком возрасте любое наружное повреждение может сказаться на состоянии внутренних органов. Лукаш был не в силах даже приподнять голову, чтобы удобнее улечься на высоких подушках. Он наконец начал понимать, что его идея отправиться во Дворец дождей была безумием: он на время просто лишился рассудка. И Лукашу стало стыдно: он, режиссер с мировым именем, законодатель театральной моды, *гуру* для начинающих, позволил себе на старости лет клонуть в Венеции на английскую приманку, которую пренебрежительно отверг бы любой молодой студент варшавского Института театрального искусства. Он лежал молча, постанывая временами от боли и опустив веки, чтобы не встречаться глазами с Урсулой и Арлекином. Однако даже взгляд из-под полуприкрытых век позволил ему оценить, насколько накануне операции ухудшилось его зрение: еще недавно он без труда мог прочесть большую неоновую вывеску *Assicurazioni Generali*<sup>33</sup> в глубине квартала, в каких-то трехстах метрах от квартиры Арлекина. Теперь же яркая надпись выглядела как заходящее за облака солнце.

Урсула сидела у его постели, поглаживала лежащую на одеяле руку, иногда вставала, чтобы поцеловать его в лоб и губы, — так она не толь-

---

<sup>33</sup> Всеобщее страхование (название государственной страховой компании) (*итал.*).

ко проявляла нежные чувства, но и пыталась отогнать тревожные предчувствия. Операция была назначена на седьмое января, а сегодня было пятое. Что делать, что делать? Она знала, что десятого января профессор Антинори улетает в Америку читать лекции в университетах. Они с бедным Лукашем оказались в тупике. Неужели напрасно ехали в Венецию и Падую и в Лондон придется возвращаться ни с чем?

За чашкой кофе в *ratio* она поделилась своими опасениями с хозяином. Тонино пользовался в Венеции огромным уважением. Она уже успела понять, что всю общественную жизнь итальянцы выстраивают, по сути, на системе рекомендаций и протекций. Для Антинори и его команды было, безусловно, большой честью то, что к ним из Лондона приехал *sir Luke*; они прекрасно помнили, как много писала пресса о лечении и операции жены Сахарова. Однако все соображения такого рода в Италии быстро забываются. Куда важнее авторитет известных личностей. Арлекин нанес визит Антинори, который хотя и имел клинику в Падуе, но жил с семьей в Венеции. И уже ранним вечером Урсула провела их обоих в спальню, где лежал покалеченный Лукаш.

Знаменитый окулист довольно внимательно осмотрел своего пациента. По мнению врача, трогать Лукаша не стоило, поскольку переезд — по воде, а затем по суше — в Падую мог вызвать внутреннее кровоизлияние, а оно, пусть даже незначительное, сделало бы операцию невозможной. «*Maestro*, — обратился он к хозяину, — я могу отложить операцию, но только на один день. Оперировать будем 8 января. Накануне, с вашего, *maestro*, позволения, мои сотрудники оборудуют здесь операционную. По дороге сюда я видел большой и хорошо освещенный *ratio*. Если будет холодно, мы закроем его навесом. Но пока холодного января прогнозы нам не обещают».

Урсула и Тонино проводили благодетеля до пристани на Большом канале.

7 января ранним утром из Падуи приехала бригада профессора Антинори: молодой врач, ассистент и медсестра Ивонна. Уже к обеду операционная была готова, и они отправились обратно в свою клинику. 8 января, тоже с самого утра, должен был появиться Антинори.

До Лукаша доносились отголоски суеты в *ratio*, он прикидывался спящим и крепко закрывал глаза, будто пытаясь таким способом лучше подготовиться к тому, что его ждет. Страх он не испытывал, хотя и понимал, как много зависит от этой рискованной попытки. Если операция окажется неудачной, то он никогда больше не увидит Урсулу и ему придется на ощупь убеждаться, что она по-прежнему рядом, днем и ночью. А если удачной — то он может прожить еще несколько лет, чтобы под конец бросить на нее прощальный взгляд. Мысли о том, что Урсула умрет первой и оставит его одного, Лукаш избегал и боялся. Многие годы, наверное, еще с рыбацких времен, Урсула была источником его жизненной силы. Хотя и с перерыва-



ми, но все же. Насколько это объяснялось любовью, а насколько — привычкой? На склоне лет в привычку превращается и сама любовь. Удивляло его одно: поразительно сильный страх перед тем, что в эпилоге тебя ждет одиночество. Лукаш слегка улыбнулся: можно было бы сказать «в последнем акте», но «эпилог» он считал более подходящим словом.

Временами он проваливался в короткие мимолетные сны, которые, что любопытно, сопровождалась порой столь же короткими и мимолетными воспоминаниями. И вспоминались вовсе не какие-то важные события их жизни, скорее в голове, мгновенно исчезая, проносились отдельные образы. Молодые годы в Рыбичах: река, поле, мельница, усадьба, контора. Дорога к вокзалу в Седльце. Мелькнула оккупированная, а затем восставшая Варшава, чуть медленнее проплыли мытарства в Германии, затем, уже быстрее, — послевоенный Лондон и бедная, наполненная неприязнью Урсулы комнатка в Камден-тауне. Все относившееся к театральной учебе было затянуто туманной дымкой; зато из тумана вдруг всплыл момент их лондонского воссоединения в оправе «белых ночей». И все это время ныла под кожей старая заноза: излучина рыбицкой реки...

Не сумев справиться с мукой ожидания, Урсула оставила Лукаша на попечение Арлекина и выбежала на улочку, которая извилистым путем вела к Академии. С Лукашем Урсула не ходила по художественным музеям, теперь же, освободившись на пару часов, она позволила себе расслабиться перед своим любимым полотном. Перед загадочной «Грозой» Джорджоне, перед изображенной на картине парой, которая, когда на нее ни посмотри, всегда выглядит иной. Обнаженная женщина с младенцем казалась частью пейзажа, плодом щедрой земли, омытым дождем. Ах, все было бы по-другому, если бы она не потеряла в Гродно ребенка! А может быть, это и к лучшему? Может, ребенок от родственного союза стал бы их вечной мукой? А был ли частью того же пейзажа опирающийся на длинную палку мужчина? И да, и нет. Как будто гроза не задела его. Он что-то символизировал — так же, как и обнаженная мать. Но что? Хотя главное на картине — все же пейзаж после грозы: свежий и ясный после дождя, плодородный и животворный пейзаж. Он не исчезнет никогда. Джорджоне удалось достичь того, к чему он наверняка стремился, — показать, что бессмертие природы и смертность человека неотделимы.

Урсуле редко случалось думать о Лукаше и о себе как о крепко связанных узами брака супругах. Да, конечно же, она его любила, и с каждым прибавляющим старости годом — все больше. Однако при этом чувствовала все яснее и яснее, что любовь эта складывается из двух чувств, одновременных и вместе с тем, казалось бы, несовместимых. Она была его женой и его сестрой. Но она не была его женой-сестрой. Когда-то она читала прекрасную новеллу о такой же паре, жившей много веков назад, и была по-

трясена не только эмоциональным драматизмом этого союза, но и тем, сколь ловко писательнице удалось представить грех как добродетель...

Ночь перед операцией отчасти напоминала утонченную психологическую пытку. Повернувшись спиной к окну, Лукаш слабеющим взглядом впивался в Урсулу, которая, не раздевшись, лежала на своей постели. Чтобы избавиться от неизбежной боли, она смотрела не на него, а в окно, за которым, подобно быстро плывущим облакам, отдельными полосами тянулся туман. По сводкам метеорологов, сгущающийся туман к утру мог накрыть всю Венецию, небо над которой в первые дни месяца было таким ясным.

На Лукаша периодически набегали волны неглубокого сна, то и дело выбрасывавшие его на островки воспоминаний. Островки эти, как и прежде, располагались где-то в его рыбицкой молодости. Может быть, в минуты опасности человек действительно всегда вспоминает свои первые важные поступки? Возможно, судьба заставляет нас вновь обратиться к неверным шагам, впоследствии обернувшимся серьезными ошибками? Хотя если говорить о Лукаше, то его молодые годы прошли пусть и не без печали — из-за родителей, — но все же намного лучше, чем у многих его ровесников. Если бы не сломанная и плохо сросшаяся нога, он был бы брызжущим энергией здоровяком, смелым и предприимчивым, полным жизненной силы. А часто ли молодой человек влюбляется в девушку сразу и на всю жизнь? Ну и пусть в сестру — у него на этот счет не было никаких предрассудков. Так почему же рыбицкие пейзажи и рыбицкая молодость вызывали у него теперь, на пороге смерти, внезапные и столь глубокие приступы меланхолии? Может быть, потому, что... Жизнью — и своей, и Урсулы — он управлял как опытный рулевой, что давало ему право испытывать не просто удовлетворение, а гордость. Однако все благолепие отравлялось существующей где-то подспудно и не желающей исчезать каплей яда. Люди любят друг друга, вместе живут, с годами их любовь становится все сильнее и глубже, но все же они почему-то никогда не срастаются настолько, чтобы сама мысль о расставании порождала страшные физические мучения. Может быть, из его жизни, в целом удавшейся, выпал естественный для других процесс подготовки к смерти и к разлуке с самым близким человеком?

Урсула, не отрывая глаз от проплывающего за окном тумана, в своих воспоминаниях тоже (будто читая его мысли) скользила по ушедшим годам. Она не боялась расставания, она только хотела, чтобы он ее опередил, так как была уверена, что справится с одиночеством. Ее мучило нечто иное, что могло бы испугать Лукаша, если бы она ему в этом призналась. Она любила его, но чувство это временами уходило в тень. Порой она осознавала, что ее любовь не была столь же чистой и безоглядной, как его. Иногда ей на миг являлось иное обличье того же чувства. Такое, что его уже нельзя было на-

звать просто любовью. И именно это заставляло ее в последнее время все чаще вспоминать, что они все же брат и сестра. Впрочем, имело ли это сегодня хоть какое-то значение? Мужу скоро 85, жене — 77. Какой смысл на склоне лет переживать, что из всех заработанных в жизни денег половина оказалась поддельными? Ведь все — или почти все — уже потрачено.

Лишь далеко за полночь Лукаш наконец заснул по-настоящему крепко; он дышал, смешно присвистывая, и во сне ощупывал руками те места, которые все еще болели после падения во Дворце дождей. Наверное, он к тому же еще был голоден, поскольку профессор строго-настрого запретил есть накануне операции.

Она встала и опустила жалюзи, инстинктивно опасаясь, что он может увидеть туман. Затем села на постель и, обняв его большую голову, покрывая поцелуями опухшие щеки и плотно закрытые глаза, зарыдала так громко и надрывно, что наверняка должна была его разбудить. Однако он спал крепко и поэтому не услышал, как прорывается сквозь плач странная молитва, в которой настойчиво повторяется его имя: «Лукаш, Лукаш, мой Лукаш, мой любимый Лукаш».

На рассвете первой пришла Ивонна, разбудив Урсулу, которая открыла ей двери. Медсестра, молодая и симпатичная женщина, француженка, села в углу *ratio*, вынула из сумки какие-то инструменты и разложила их на столике. Было еще рано, и она, развалившись на старовенецианской деревянной лавке и склонив голову на грудь, явно усталая и невыспавшаяся, задремала. Урсула посматривала на нее с неприязнью.

Ивонна походила на один из тех часто встречающихся в повествовании персонажей, кого можно сопоставить с ружьем на стене в чеховских пьесах: если автор его повесил, то под занавес оно обязательно выстрелит. Подобному персонажу в соответствующий момент надлежит сыграть важную роль, хотя зритель может и не связывать с ним таких, как с чеховским ружьем, ожиданий. Именно поэтому из всех сотрудников профессора Антинори только Ивонна названа здесь по имени.

Выпускница школы медсестер в Руане, она несколько лет назад приехала в Венецию на летние каникулы в составе туристской группы. А после каникул из сентиментальных побуждений осталась в Венеции, переехав затем в Падую, где профессор Антинори взял ее в свою глазную клинику. И хотя поначалу она, как и прежде в Венеции, старалась быть скрытной и осторожной, однако вскоре всем стало известно, что ей свойственна та слабость к мужчинам, благодаря которой женщина зарабатывает репутацию нимфоманки. Партнеров она искала главным образом в Венеции, где ее знали не так хорошо, как в Падуде, однако в падуанской клинике поговаривали о ее мимолетном романе с директором, который жил в Венеции с женой и уже взрослыми детьми.

На операцию она приехала рано, потому что провела бурную и бессонную ночь в маленькой венецианской гостинице. Нимфомания, как утверждают знатоки, на определенной стадии приводит не столько к сексуальному пресыщению, сколько к постоянно растущему физическому переутомлению. Тело будто постепенно отходит, отключается от личности. В запущенных случаях гипертрофированный сексуальный инстинкт атрофируется. Писатели любят использовать оборот «сексуальная скука». Но дело вовсе не в скуке. Происходит своего рода распад личности, одно из проявлений которого — прогрессирующая рассеянность.

Вот зачем и нужно было то самое чеховское ружье, висящее на стене, чтобы выстрелить в последнем акте. Неизвестно, что на самом деле произошло в кульминационный момент операции. Известно лишь, что Антинори внезапно зашипел как ошпаренный и грубо оттолкнул Ивонну от операционного стола. А погруженный в глубокий наркоз Лукаш даже не шелохнулся.

Несмотря на горячие просьбы, Урсуле не позволили находиться в *ratio*. Из-за густого и влажного тумана перед началом операции над *ratio* натянули брезентовый навес. После операции Антинори заклеил глаза Лукаша широким пластырем до самого темени, после чего забинтовал всю верхнюю часть головы. Повязку и пластырь он обещал снять через двадцать четыре часа, непосредственно перед своим отъездом в Америку.

После того как врачи ушли, Урсула попросила Арлекина снять брезентовый навес над *ratio* и оставить ее одну со все еще не вышедшим из наркоза Лукашем.

Как случается порой в Венеции, густой туман, слегка рассеявшийся и даже пропустивший вниз немного анемичного солнца, затем, будто вздувшийся и вытесненный наверх, бережно окутал весь город белым покрывалом.

Сидя на высоком табурете у изголовья кровати, Урсула дважды пыталась положить голову на подушку рядом с головой Лукаша. Из этого ничего не вышло, и ей осталось лишь с болью смотреть на узкую полоску лица, не закрытую повязкой. Неизвестно почему, — ведь Урсула не была свидетелем сцены, разыгравшейся между Антинори и Ивонной, — но она была уверена, что иллюзиями себя тешить не следует. Если операция действительно оказалась неудачной, то перед ней лежит полумертвый любовник, муж и брат. Во что превратится их жизнь в Лондоне? Урсула оцепенела при одной мысли о том, что Лукаш больше не сможет ее *видеть*. Она попыталась представить себе остаток их жизни в Уимблдоне. Лукаш, которого Урсула и Мэри водят под руки, тяжелый и грузный, раздражительный и склонный к агрессивным вспышкам гнева по мельчайшему поводу. И все же! Все же, кто знает, может быть, именно теперь, когда до конца жизни ему суждено оставаться ее ребенком, она любила его сильнее, нежели раньше, когда они были и родственни-

ками, и супругами. Урсула внезапно поняла, насколько переменчиво складывались их отношения, несмотря на казавшееся очевидным (за исключением небольших перерывов) постоянство. Их небольшая семья возникла, по сути, в полном отрыве от любых других родственных связей. Его русская мать-актриса пропала без следа в России, их общий отец погиб на войне, а ее мать — если она вообще еще жива где-то там в Израиле — никогда не пыталась отыскать свою дочь. Вот так, вдвоем, они и пойдут вместе — но вместе ли? — до самого конца. Размышляя об этом, она ощутила прилив невероятной нежности и снова принялась, повторяя его имя, целовать повязку.

Арлекин принес ей какую-то еду, но есть она не хотела. Для него это было хорошим предлогом, чтобы лишнюю минуту побыть вместе с ней в *patio*. Ей же его присутствие было ни к чему, и она лишь попросила, чтобы он прогнал с улочки под окном галдящую и поющую компанию в карнавальных костюмах. Сделать это ему удалось неожиданно легко. На своем обществе он не настаивал и ушел из *patio* к себе.

Урсула заснула, прислонясь к изголовью постели Лукаша. Проснувшись вечером, она перетаскала из спальни большое удобное кресло. В нем она спала всю ночь и все утро, почти до полудня, время от времени пробуждаясь (и тогда перебираясь на табурет рядом с постелью), а затем снова погружаясь в сон, свернувшись калачиком под пледом в кресле. Неоновая вывеска *Assicurazioni Generali* все еще казалась расплывшимся красным пятном, и это означало, что туман пока не рассеялся.

Профессор Антинори, уже всецело поглощенный подготовкой к своему американскому путешествию, пришел позже, чем обещал, — только в два. На лице его прочитывалось кроме спешки что-то еще: не то смущение, не то тревога. Он разрешил Урсуле помочь ему снять повязку и отклеить пластырь, закрывавший глаза Лукаша после операции. Он также не только разрешил, но и настоял на том, чтобы в этом участвовал Арлекин, — вероятно, не желая оставаться один на один с пациентом и его женой. Антинори пришел без своей бригады, которая должна была забрать оборудование импровизированной операционной вечером.

Уже в течение двух часов, начиная с полудня, Лукаш жестами и телодвижениями давал понять, что постепенно выходит из наркоза. От полудня Урсула стояла у его изголовья и произносила какие-то обрывочные и бессвязные фразы, говорила что попало, веря в то, что любые слова, лишь бы они звучали нежно и ласково, обладают способностью усмирять боль. Когда наконец появился Антинори, она перешла к изножью кровати. Арлекин стоял сбоку, чуть поодаль.

Руки профессора быстро и ловко управлялись с многочисленными слоями бинта, и вскоре открылось лицо Лукаша с заклеенными пласты-

рем глазами, лицо осунувшееся, небритое и очень старое; Урсула жалобно простонала: «роог Luke» и тут же: «бедный Лукаш».

Пальцами в резиновых перчатках Антинори поочередно с двух сторон аккуратно отклеивал пластырь, время от времени останавливаясь и впрыскивая под повязку голубую жидкость. Минуты тянулись немилосердно медленно и казались Урсуле часами. Наконец появились закрытые глаза Лукаша. Закрытые крепко-накрепко, будто он никогда больше не собирался их открывать. Но тут же веки слегка дрогнули и разомкнулись. С заметным усилием, при помощи врача, Лукаш сел и несколькими рывками запрокинул голову. Урсула не ошиблась: на его лице была улыбка. Слабым, но радостным голосом он воскликнул: «В Венеции белая ночь!» Урсула бросилась к изголовью и, приподнявшись на цыпочки, руками обняла его за шею. Он ответил ей тем же. Как когда-то в молодости в Гродно, они жадно осыпали друг друга поцелуями, а их голоса сплелись в совместном возгласе: «В Венеции белая ночь!» Она первой дополнила это восклицание: «Белая ночь любви!» Антинори и Арлекин удивленно наблюдали: когда же это закончится? Потом Антинори деликатно отвел Урсулу в сторону и, обняв ее за плечи, шепнул на ухо: «Нам нет оправдания. Ваш муж слеп».

## Два эпилога

Конец? Одному Богу известно, что такое настоящий конец. А порой неизвестно и Ему.

*Венецианский аноним, XVII век.*

## Жизнь есть сон

До венецианского аэропорта слепца вместе с Урсулой сопровождал Арлекин, которому разрешили пройти и до трапа самолета. Лукаш шел медленно и осторожно, высоко поднимая ноги. Голову он неестественно задирал вверх, будто, как прежде, благодарил со сцены публику за продолжительные аплодисменты. У трапа они остановились. После секундного замешательства Арлекин опустился на колени и губами прижался к руке Лукаша. Похоже, этот жест смутил его самого; забыв, во всяком случае, попрощаться с Урсулой, он быстро направился к зданию аэропорта. При входе на трап Лукаша взяли под свою опеку две стюардессы, которые проводили его до места у окна.

Самолет стартовал в полдень, с небольшим опозданием, дождавшись, видимо, того момента, когда туман немного рассеялся. Лукаш буквально

прилип лицом к круглому окошку. И деликатно, но решительно высвободил свою руку из руки Урсулы. Она владела собой достаточно хорошо, чтобы вовремя перехватывать нескромные взгляды соседей. Однако со своими глазами, на которые навернулись слезы, справиться она не могла.

В голове непрестанно проносились вопросы: что будет теперь? чем станет для Лукаша его слепота? не отдалится ли он от нее, не уйдет ли из их жизни, спрятавшись за стеной темноты? Она уже определенно решила бросить работу в администрации «The Sea-Gull» Theatre, чтобы быть рядом с Лукашем днем и ночью. Выдержат ли они оба подобную близость? Материальных проблем у них не будет, и даже Мэри они смогут у себя оставить. Лукаш помимо пенсии получал со всего мира авторские отчисления за использование своих сценических идей; она же могла рассчитывать на приличное выходное пособие.

Но как при этом жить по разные стороны черной пропасти? Сможет ли он воспринимать ее старческую нежность, если не способен будет видеть оттенки выражения ее лица? И как научиться читать по его лицу?

В конце концов Урсула откинулась на мягкую спинку кресла и неожиданно провалилась в самые глубины сна. Она не слышала периодических сообщений о ходе полета и пропустила предлагавшийся обед. Спала она крепко, без сновидений, будто отсыпаясь за все долгие бессонные венецианские ночи и полные нервного напряжения дни. Выпрямившись в кресле, она ни разу не склонила голову на плечо Лукаша, сидевшего неподвижно и будто привинченного к своему окошку. Видел он там то же самое, что и остальные пассажиры, — белую пустоту.

В мыслях он постоянно возвращался к завершившейся поездке, подробно вспоминал отдельные ее эпизоды, инстинктивно стараясь при этом не приближаться к порогу их жилища в Уимблдоне. Лукаш боялся возвращения, которое теперь, с учетом новых обстоятельств, было уже не возвращением, а приездом в некий чужой дом. Не в силах выразить это ощущение словами, он все же понимал: придется привыкать к тому, что знакомое окружение станет для него чужим. А Урсула? Изменилось ли что-нибудь после «белой ночи любви» в Венеции? Да. Впервые за много-много лет (и впервые с такой силой и ясностью) он почувствовал, что она его покинула. И не знал, где и как ему искать убежище от неотвратимого одиночества.

Внезапная гроза над Англией заставила самолет приземлиться в Гатуйке<sup>34</sup>. Пассажирам был предоставлен поезд до Лондона. Урсула купила несколько английских газет и села в углу у окна, напротив Лукаша. Хотя он об этом и не просил, но газеты она принялась читать вполголоса. Лукаш, однако, сидел как глухой, снова уткнувшись в окно, заливаемое на этот раз дож-

---

<sup>34</sup> Крупный международный аэропорт к югу от Лондона.

дем. Он снова вглядывался в белую пустоту, озвученную теперь стуком капель по стеклу. В купе было тихо, лишь парочка в противоположном углу время от времени прерывала свои затяжные поцелуи любовными признаниями. Когда проводник объявил, что поезд отправляется, молодой человек распахнул двери старомодного вагона и спрыгнул на перрон, не прекращая при этом своей пылкой тирады. Девушка махала ему рукой, пока поезд не тронулся, после чего уставилась на Лукаша и Урсулу. Взгляд ее был любопытным и даже нахальным; смутившись, Урсула прервала чтение, а Лукаш продолжал, не отрываясь, смотреть в окно. Урсуле почему-то стало немного стыдно — такое чувство нередко возникает у тех, кто опекает или просто сопровождает калек. «К этому тоже придется привыкнуть», — подумала она.

Двери домика в Уимблдоне им открыла Мэри, которую они предупредили о своем возвращении. Текст приветствия она, похоже, выучила заранее и теперь непрерывно его повторяла, что явно раздражало Лукаша. *Our darling sir Luke. Welcome, welcome*<sup>35</sup>. Поднявшись наверх, он лег в постель со вздохом облегчения. От ужина отказался. На ощупь обнаружил, что Мэри раздвинула их постели, о чем наверняка попросила по телефону Урсула. «Развод», — прошептал он. Впрочем, ни малейшего намека на боль он не почувствовал. Напротив, он чувствовал себя намного более умиротворенным, чем в Венеции. Дома, наконец-то дома. «Моя единственная задача теперь — быстро и спокойно умереть».

Еще какое-то время Лукаш думал над тем, не может ли он завершить свою безмолвную автобиографию именно сейчас, когда его сразила слепота. Но нет, нельзя ничего рассказывать, даже молча, если не видишь того, что тебя окружает. Он понимал, что это не так, но понимал также, что доля истины в этом соображении все же есть. Трудно объяснить почему, но картина окружающего мира придает повествованию, даже ненаписанному, дыхание жизни. В нем проснулся человек театра. Смогли бы играть на сцене слепые актеры, даже безошибочно разучив все свои движения? Нет, не смогли бы — их голосу не хватало бы глубины. Глубины? Да, в голосе без глубины есть какая-то фальшь, словам слепого трудно поверить, они пусты и бессодержательны. Вот какую цену пришлось заплатить за неудачную операцию. Оказывается, и говорить можно на ощупь.

Усталый, разбитый, уже почти не встающий с постели и не слишком обремененный общением с домашними, через неделю он внезапно почувствовал, что есть еще слабая искра надежды. После операции в Венеции он все время спал без сновидений. Но вдруг на рассвете (о том, что это рассвет, Лукашу сообщил телефонный будильник внизу, в комнате Мэри) он заснул как-

---

<sup>35</sup> Наш дорогой сэръ Люк. Добро пожаловать, добро пожаловать (англ.).



то по-иному. Быстрый и живой сон вернул его в общество людей. Он *видел* их. Видел прежде всего Урсулу, молодую, улыбающуюся и вместе с тем волнуемую, в Гродно на репетициях «Белых ночей». Тогда она стала его любовницей, его женой. Она обняла его руками за шею и легла рядом с ним, покорная и ждущая, а он видел мельчайшие жилки вокруг ее закрытых глаз. Сон продолжался одно мгновение, но волна счастья успела всколыхнуться в нем, подкатиться к пересохшему горлу. Пробудившись, он громко сказал в пустоту: «Жизнь есть сон. Во сне я не слеп». Толком не проснувшаяся Урсула заворочалась и спросила: «Лукаш? Тебе что-то нужно?» А затем, уже в абсолютной тишине, он услышал — несмотря на прогрессирующую глухоту! — шорох шин на мокром асфальте; утренний автобус притормозил перед поворотом. Он восторженно улыбнулся своему великому открытию.

Чем дальше в лес сна, тем более разнообразными становились *видения*. Хотя и оставались, к сожалению, обрывочными и хаотичными, будто жизнь играла в разбросанные кубики. Причем взятые из разных периодов, начиная от раннего детства и вплоть до приезда в Венецию, только до приезда.

Все это было где-то зарегистрировано, зафиксировано, будто на киноплёнке, которую сон лишь проявлял. Временами плёнка засвечивалась, а изображение получалось фрагментарным, рваным и с белыми пятнами в самых интересных местах. В кадр, например, не попала голова его матери-россиянки в тот момент, когда она бросилась с поцелуями к своему единственному малышу. К тому же практически весь фильм оказался немым и лишь изредка озвучивался невнятными голосами. Отдельные неясные слова доносились из-за дверей спальни, где между родителями произошел последний скандал. Из более поздних лет хорошо сохранились разве что рыбицкие пейзажи. И еще Урсула — подрастающая, расцветающая. А вот ее матери пробиться в сны так и не удалось.

Потом была учеба в Варшаве, война, бегство в Гродно, гастроли в Ленинграде, возвращение в Варшаву, восстание, дорога через Германию, Англию и Лондон, театр «Чайка» — все это, хотя и в отрывках, вперемешку и с нарушением всех законов времени, оказалось настоящим бальзамом на раны. «Жизнь во сне» превратилась для него в наркотик. Он инстинктивно скрывал это от Урсулы, которая днем могла теперь видеть его улыбающимся, спокойным, предупредительным и порой почти как прежде нежным. А вот Мэри он в свою тайну посвятил, и теперь она в секрете от хозяйки покупала ему снотворные таблетки — на случай, когда механизм восстанавливающегося во сне зрения переставал работать или начинал пробуксовывать. Таблетки эти — а со временем их становилось все больше — он хранил в запиравшемся на ключ ящике ночного столика. Урсула была уверена, что он держит там свои личные документы и деньги.

Если бы его наблюдал врач, он непременно задумался бы над тем, в чем причина прогрессирующего ослабления организма. Возрастом объяснялось многое, но не все. Лукаш спал также и днем, все меньше ел и отказался от коротких оздоровительных прогулок. Он не выходил даже в сад. Их с Урсулой жизнь после долгих лет большой, сохранившейся до старости любви стала напоминать совместное пребывание малознакомых людей в доме престарелых. «Что-то должно случиться, дальше так продолжаться не может», — думала Урсула, временами погружаясь в отчаяние. Случилось через два года — тихо и незаметно. Врач, осматривая исхудавшее тело, констатировал, что смерть наступила на рассвете. Его удивила улыбка на лице покойника.

Стояла погожая осень 23 октября 2001 года.

Она пыталась избавиться от этого чувства, ни за что на свете не хотела себе в нем признаться, однако оно жило и крепло где-то в самых дальних уголках ее души: смерть Лукаша она приняла со вздохом облегчения. Главным образом потому, что жизнь рядом с ним после возвращения из Венеции превратилась в сплошное мучение: с каждым днем он отдалялся от нее, смотрел на нее (если можно употребить здесь слово «смотрел») как чужой, с выражением неприязни на лице. Когда она помогала Мэри приносить наверх еду, он отодвигал тарелки в сторону без слова благодарности. Первое время она пробовала лечь ночью рядом, пытаясь деликатными ласками его расшевелить, однако он тут же переворачивался на другой бок. Впоследствии, правда, он перестал делать это столь демонстративно, но, похоже, лишь из желания соблюсти приличия. Он просто стал более покладистым, «чуть менее невыносимым», как она про себя это называла.

Она ломала голову над тем, что могло послужить причиной такой перемены. Неужели он считал ее виноватой в неудачной операции? Просто так, без всяких оснований? А может быть, на склоне лет он оглянулся и осознал, что их союз, союз брата с сестрой, был лишь иллюзией любви, а не настоящей любовью? И понял это только тогда, когда перестал и днем и ночью видеть свою любовницу-жену-сестру. Сначала она с возмущением гнала от себя эту мысль, вспоминая вплоть до самых интимных подробностей проведенные вместе годы. В их отношениях случались периоды охлаждения, однако через какое-то время обязательно возвращалась неподдельная страсть. Действительно ли она была неподдельной?

Постепенно сомнения начали охватывать и ее. Она обращалась к прошлому, вспоминала мимолетные и незначительные, на первый взгляд, эпизоды, тщательно их анализируя. Однажды она задумалась над памятной гродненской премьерой. Как можно было забыть, что именно она убедила Лукаша в необходимости «изменить» Достоевскому, переделать его повесть? Не была ли эта переделка преднамеренной, придуманной

лишь с целью отогнать призрак того «третьего», уже покойного, кто в самые юные годы посвятил ее в тайны физической любви? Разве после того как он утонул, она не испугалась, что останется одна?

Так, копаясь в минувших годах, она возвращалась к некогда упущенным деталям, пересматривала шаг за шагом всю их жизнь с Лукашем. И за получившимся — вольно или невольно — фальшивым фасадом обнаруживала так называемую «другую правду». Вначале она закрывала на нее глаза, но затем стала все охотнее ее принимать. Ей хотелось иначе посмотреть на Лукаша, который в свою очередь ослепшими глазами уже видел ее иначе. Именно это наверняка и стало главной причиной того «вздоха облегчения» после его смерти, той постыдной реакции, от которой в мыслях она пыталась избавиться, но подсознательно с ней мирилась.

Будучи по натуре «чистюлей» (как шутливо называл ее Лукаш), после его смерти она стала еще более аккуратной, скрупулезной и педантичной. Мэри села за руль, и они, подводя черту под жизнью Лукаша, вместе объехали все официальные учреждения, а сразу после этого, что получилось само собой, вполне естественно, она взялась за организацию церемонии его похорон. В соседнем районе Саутфилдс она обнаружила небольшую церковь (основанную потомками белых эмигрантов и действующую ныне благодаря переселенцам из бывшего СССР), где заказала панихиду по православному Лукашу. После панихиды поп вместе с дьячком должны были помочь ей перевезти покойника на Центральное уимблдонское кладбище. Это кладбище она выбрала, поскольку там был свой крематорий, а они еще давно поклялись друг другу, что велят себя сжечь. Место для могилы она приобрела в дальнем углу кладбища, под густыми ветками старых вязов. Затем она дала большие некрологи в «Таймс» и «Телеграф», составив, кроме того, список лиц, которые «обязательно должны присутствовать на похоронах», и вручив его Мэри «для оповещения». В день похорон, 26 октября, они приехала из дома на кладбище не с Мэри, а с двумя молодыми актерами из театра «Чайка». Шел дождь. Вокруг могилы уже собралась, бесцеремонно отеснив в сторону попа и дьячка, большая толпа: знакомые и поклонники знаменитого sir Luke'a, актеры и работники театра на Стрэнде, прочитавшие оба некролога любопытные, репортеры из газет и с телевидения, представители других английских театров и театров зарубежных, а также делегаты от муниципального совета Уимблдона. К Урсуле протиснулся Арлекин, прилетевший из Венеции и приехавший прямо из аэропорта. Рядом с Урсулой оставались и двое молодых актеров. Так, вчетвером, они и стояли у подножия настоящей горы цветов, по прихоти Царя Небесного щедро поливаемой дождем.

Надгробных речей, по ее желанию, не произносили. Она лишь попросила руководство театра на Стрэнде, чтобы двое актеров в погребальной тишине громко прочли два фрагмента из «Чайки». Фрагменты эти она ото-

брала сама, помня, что именно они послужили Лукашу отправной точкой для его раннего эссе о «Чайке»: «космологическое» начало пьесы Треплева (его прекрасно произнес актер, игравший роль автора пьесы, вопреки замыслу Чехова, предназначившего этот текст для самой Чайки, Нины Заречной) и финальный монолог Нины-Чайки (его исполнила актриса): «Я теперь знаю, понимаю, что в нашем деле — все равно, играем мы на сцене или пишем — главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а умение терпеть. Умей нести свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно, и когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни». Все собравшиеся у гроба не сводили глаз с Урсулы, будто речь шла о ней. Однако поклонники «Чайки» понимали, что между «космологическим» шаржем начинающего драматурга и признанием несостоявшейся актрисы простирались огромные просторы чеховского мира; там присутствовал сам Чехов — тихий, застенчивый и спокойный, избегающий как навязчивого реализма, так и претенциозно-кокетливого умничания, мелодичный в своей на удивление простой прозе, обладающий поразительной способностью соединять ощущение утекающего времени с осознанием вневременной значимости каждого человеческого поступка; иными словами, Чехов добрый и мудрый, благожелательный к людям и внимательно изучающий их сквозь круглые стекла пенсне, в своей скромной жизненной философии намного превосшедший «профессиональных» мыслителей.

Застывшее в неподвижности лицо Урсулы дрогнуло лишь раз: когда гроб с телом Лукаша под звуки траурной музыки стал медленно въезжать в печь крематория. Ее сотрясли спазматичные и сухие рыдания, сквозь которые пробивалось имя Лукаша. После всех сомнений и подозрений, после стыдливого вздоха облегчения любовь к нему вспыхнула теперь с новой силой.

Когда на площадке перед крематорием к Урсуле начали подходить с соболезнованиями, она вновь замерла, но как-то съежилась и обмякла; внимательные друзья расценили это как первый симптом процесса, который отчетливо проявил себя через год.

Двое молодых актеров отвезли ее домой в Уимблдон. Они хотели быть с ней до вечера, однако Урсула предпочла остаться одна. Она выпила вместе с Мэри чаю и поднялась с ее помощью вверх. Там она легла, но не на свою кровать, а на кровать Лукаша. Хотя Мэри и постелила свежее белье, запах Лукаша выветриться еще не успел. «Боже, как я его любила», — тихо шепнула она. И не в силах ни заснуть, ни заплакать, лежала, вглядываясь в грязное небо над садом.

Каждое воскресенье, независимо от погоды, они с Мэри отправлялись на кладбище. На надгробной плите Урсула раскладывала принесенные

цветы, а затем, если не было дождя, опускалась на колени и молилась (впервые в жизни), а в непогоду около часа сидела в построенной рядом с могилой беседке.

Не зная, чем заняться в пустые дни, она обязала Мэри каждое утро возить ее в «The Sea-Gull» Theatre, а к обеду забирать обратно. (Слабеющее зрение не позволяло ей самой водить автомобиль по лондонским улицам.) В театре на Стрэнде ее первое время принимали с распростертыми объятиями, предлагая якобы для консультации посмотреть разные документы; вскоре, однако, этот ритуал всем надоел, а сердечность сменилась вежливой и холодной предупредительностью. Осознав это, она гордо вычеркнула Стрэнд из своего ежедневного расписания. Она также перестала приглашать своих бывших коллег на воскресный послеобеденный чай. С Урсулой осталась лишь верная Мэри, нашедшая, к счастью, в индийском отеле на Глостер-стрит своего дальнего родственника с семьей. Время от времени, с согласия Урсулы, она привозила в Уимблдон четверых его детей: двух девочек и двух мальчиков в возрасте от восьми до двенадцати лет. В Урсуле, видимо, пробудился глубоко запятанный до сей поры материнский инстинкт — она полюбила всех четверых и нетерпеливо ждала, заполнив буфет пирожными, каждого их визита.

Поздним летом 2002 года она начала быстро худеть — скорее, даже таять — и терять память. После смерти Лукаша она собиралась привести в порядок его архив и какое-то время занималась этим очень старательно — пока не забыла о самом существовании архива, отвечая на напоминания Мэри о нем отсутствующим взглядом. Она вела чисто растительное существование, перестала по воскресеньям ходить на кладбище, утратила контроль над своим организмом и целиком отдала себя в руки добросовестной Мэри.

Однажды — это было в 2003 году — Урсула внезапно потеряла сознание. После этого она уже не вставала с постели Лукаша (на которой спала с самого дня похорон); ее поразила полная амнезия, она быстро теряла в весе, а ее тонкий голосок стал еле слышен. Как-то утром Мэри, будучи уверена, что в постели Урсулы нет, не обнаружила ее и в ванной; а когда она откинула одеяло, то увидела маленькое, свернувшееся в клубок мертвое существо, спрятавшее голову под подушку. Урсула умерла, не понимая, что умирает, 13 мая 2003 года. Ее похоронили рядом с Лукашем; на прощальной церемонии присутствовали только Мэри и четверо детей. Согласно завещанию, составленному в сентябре 2002-го, домик с садом в Уимблдоне, автомобиль, а также вся одежда Урсулы и Лукаша переходили в собственность Лондонского театрального общества, при условии, что неизменной хозяйкой в будущем приюте для престарелых актеров останется Мэри.

## На смертном одре

До венецианского аэропорта слепца вместе с Урсулой сопровождал Арлекин, которому разрешили пройти и до трапа самолета. Лукаш шел медленно и осторожно, высоко поднимая ноги. Голову он неестественно задирал вверх, будто, как прежде, благодарил со сцены публику за продолжительные аплодисменты. У трапа они остановились. После секундного замешательства Арлекин опустился на колени и губами прижался к руке Лукаша. Похоже, этот жест смутил его самого; забыв, во всяком случае, попрощаться с Урсулой, он быстро направился к зданию аэропорта. При входе на трап Лукаша взяли под свою опеку две стюардессы, которые проводили его до места у окна.

Самолет стартовал в полдень, с небольшим опозданием, дождавшись, видимо, того момента, когда туман немного рассеялся. Лукаш буквально прилип лицом к круглому окошку. И своей широкой ладонью накрыл маленькую ручку Урсулы. Она же не без гордости обвела взглядом соседей. В ее глазах загорелись искорки нежности.

Чем станет для Лукаша его слепота? Ответит ли он на ее чувства так, как ей бы того хотелось? Теперь ее чувства, яркие и глубокие, стали иными, чем прежде. Их союз уже не был супружеским союзом старых, многолетних любовников — снова, как в рыбицкой молодости, они стали братом и сестрой. Она все бросит — ведь им есть на что жить! — и превратится в его тень. Он же, превратившись в ее тень, будет смотреть на мир ее глазами. Смотреть? Да. Существует зрение, которое никакая слепота не может затмить. Зрение любви. Препней, ушедшей, когда-то питавшейся, да и потом долгие годы поддерживавшейся слиянием двух тел; но также и новой, платонической, бестелесной любви, которая на пути к смерти угасает медленно, как горячие угли в золе, однако до самого конца продолжает греть, прореживая тьму струйками дыма. Она вспомнила, как после операции он воскликнул: «Белая ночь в Венеции!» Тогда она его поправила: «Белая ночь любви!» В этой жизни у них осталась — долгая ли, короткая? — белая ночь любви.

Внезапная гроза над Англией заставила самолет приземлиться в Гаттунке. Пассажирам был предоставлен поезд до Лондона. Урсула купила несколько английских газет и села в углу у окна, напротив Лукаша. Когда она вполголоса читала ему газеты, он слушал внимательно и с улыбкой, как ребенок, зачарованный голосом матери, которая рассказывает ему сказку.

В уимблдонском домике их уже заждалась Мэри. Выпив вместе чаю, они поднялись наверх: Урсула шла впереди, держа его за руку и тихо повторяя по-польски простую фразу из прежних времен: «Наконец-то мы одни». Прижавшись друг к другу на сдвинутых вместе кроватях, они про-

спали в объятиях до утра следующего дня, отсыпаясь за всю Венецию, как отсыпаются после изнурительного похода в горах.

Этот последний период их жизни, когда они вновь почувствовали себя братом и сестрой, был в каком-то смысле самым счастливым. Они почти не расставались, а если и расставались, то ненадолго, вновь стали навещать старых лондонских друзей и принимать их в Уимблдоне; оказалось, что Мэри любит музыку, и по вечерам они часто выбирались на концерты. Лукаш достаточно окреп, чтобы в погожие дни выходить с Урсулой на прогулки.

Неожиданным и важным событием стал визит, который нанес им польский посол в Лондоне. Он привез официальное сообщение о том, что в Седльце решено увековечить заслуги знаменитого земляка и его жены. Не поднимая шума, практически тайком местный скульптор создал скульптурную композицию, посвященную Лукашу и Урсуле. И если, несмотря на преклонный возраст, они соберутся приехать на родину, то получат звания почетных граждан города. Посол вынул из папки большую фотографию скульптуры (которой все еще никто не видел) и положил ее на столик перед Урсулой. Скульптура выглядела неплохо, хотя и несколько помпезно. Урсула разглядывала фотографию внимательно и с некоторой гордостью на лице. «Ты сидишь на лавочке под деревом, сгибающимся под порывами ветра, а я смиренно расположилась у твоих ног, глядя на тебя с восхищением». И со смехом добавила: «Все правильно». Посол пояснил: «Скульптура будет стоять в фойе нового, только что построенного здания театра».

Они поехали в Седльце в мае 2001 года. Усадьба в Рыбницах сохранилась, рыбные пруды — тоже, только на месте лесопилки стоял теперь Дом культуры. Вместе с актерами театра они прогулялись по полям, а затем переехали через реку на заросший лесом островок. Уставший Лукаш сел отдохнуть под сосной; казалось, он смотрит на крутую речную излучину.

В Седльце Урсуле сначала показали новый район, который построили на развалинах старого еврейского квартала, превращенного во время войны в гетто. Она стояла в задумчивости, слегка дрожа; наконец Лукаш, обняв ее за плечи, повел на рыбацкую дорогу. Их собирались отвезти в Рыбницы на машине, однако Лукаш отказался и отправился туда пешком. С вложенным ему в руки большим посохом он был похож — когда шел уверенным и широким, несмотря на хромоту, шагом — на мифического слепого пророка. Урсула едва за ним попевала.

В старой усадьбе, где теперь разместилась районная управа, им выделили небольшие апартаменты из двух комнат, бывших когда-то детскими. Они провели там, большей частью на веранде, практически бессонную ночь, детально описывать которую не стоит. Она стала печатью, удостоверяющей их связь с незапамятных времен детства.

На следующее утро они вернулись на машине в Седльце. Церемония была скромной, людей собралось немного; мэр города, несколько смущенный, вручил им почетные дипломы и, опять же не без смущения, произнес небольшую речь. Лукаш ответил одной фразой: «Хорошо перед смертью ступить на землю, в которой твои корни». После их отъезда в буфете седлецкого Дома культуры заспорили, откуда он взял эту фразу. Из Шекспира? Или из Чехова? Спор продолжался много лет, однако истина так и не была установлена.

Польское путешествие должно было их взбодрить и омолодить, однако через месяц после возвращения у Урсулы впервые начались боли. Лукаш был в панике. Может случиться то, чего он больше всего опасался. Он останется одиноким — слепым и одиноким.

Каким образом они приняли свое решение, неизвестно. Известно лишь то, что официально констатировал коронер на основании показаний Мэри: много раз — до того момента, когда ранним утром 22 октября 2001 года она обнаружила их, слившихся в последнем объятии (его тело все еще крепкое, а ее — сожженное рентгеновскими лучами) после смертельной дозы снотворного, — она слышала за дверью их разговоры. Говорили они по-польски, поэтому Мэри ничего не понимала. Она запомнила только одно слово, да и то по причине его сходства с английским: «конкремация». Когда ее попросили уточнить значение этого слова, она подробно описала соответствующий обычай. Вердикт гласил: «Двойное самоубийство по обоюдному согласию».

В полдень 26 октября шел мелкий, но затяжной дождь, и на Центральном уимблдонском кладбище собралась под раскрытыми зонтиками огромная толпа желающих попрощаться с покойными. Помимо известности великого режиссера и его жены, интерес, конечно же, вызывал и сам факт двойного самоубийства. Рядом со свежевыкопанной могилой стояли два металлических гроба, которые должны были перенести в крематорий.

В торжественной, ничем не нарушаемой (если не считать постукивающих по зонтикам капель дождя) тишине погребальной церемонии слово взял недавно назначенный директор «The Sea-Gull» Theatre, молодой и талантливый театральный критик Десмонд Макгуайр. Свою блестящую речь он построил на обнаруженном недавно в архиве театра «Чайка» небольшом эссе, которое sir Luke накануне своей отставки не захотел или попросту не успел опубликовать. Эссе называлось «Чехов — Кафка — Беккет». Начав со знаменитого «космологического» видения Чехова («...все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли... Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь»), sir Luke остановился на «Превращении» Кафки (отметив, что стоило бы сделать его сценическую версию) и закончил образами людей-эмбрионов в пьесах Беккета. «Я хотел бы подчеркнуть, —



отметил выступающий, — что в будущем, 2002 году наш театр покажет лондонской публике плоды новаторского соединения этих трех авторов». Раздались аплодисменты, хотя, в отличие от итальянских траурных церемоний, у англичан не принято провожать покойников овациями.

Два гроба медленно въезжали в печь крематория под величественные звуки музыки Баха (если верить Мэри, «любимого композитора моих хозяев»). Сама Мэри стояла на площадке перед крематорием, будто ожидая, что в отсутствие родственников соболезнования будут высказывать ей. Подобная идея, однако, никому в голову не пришла. И напрасно: когда через несколько дней после похорон было оглашено завещание Лукаша и Урсулы, оказалось, что дом в Уимблдоне с садом, автомобилем и гаражом унаследовала именно Мэри; ей предписывалось каждое воскресенье, независимо от погоды, убирать и украшать цветами их могилу.

А поскольку сразу после смерти хозяев Мэри перевезла из гостиницы на Глостер-стрит в Уимблдон четверых детей своего родственника, отдав их в близлежащую школу, то на кладбище она каждое воскресенье ходила в обществе всей четверки. Если погода выдавалась хорошей, а под густыми ветками старых вязов не было других посетителей, они становились вокруг могилы в кружок, брались за руки и напевали. Что именно? В пении детей периодически повторялся английский рефрен: «They remarried in the mortal carpet»<sup>36</sup>. Мэри вторила им на одном из индийских наречий, скорее всего — на языке того штата, в котором конкремация все еще была обязательной. Впоследствии выяснилось, что индийский рефрен был значительно длиннее своей английской версии: «Умершие, воссоединившиеся в повторном союзе на смертном одре, пусть любят друг друга во веки веков. Живые, что воздают им должное, танцуя, пока не сторгит до конца погребальный костер, пусть продолжают жить во имя вечной любви, которую смерть не в силах победить. Во имя любви, открывающей путь к новой, иной жизни».

*Февраль—июнь 1999*

---

<sup>36</sup> Они воссоединились на смертном одре (англ.).

## СОДЕРЖАНИЕ

ГОРЯЧЕЕ ДЫХАНИЕ ПУСТЫНИ .....	5
Кладбище на юге .....	5
Тетрадь Уильяма Моулдинга, пенсионера .....	23
Горячее дыхание пустыни .....	39
Венецианский портрет .....	55
Арка Правосудия .....	77
Глубокая тень .....	82
Блаженная, святая .....	98
Мертвый Христос .....	116
Прах. Падение дома Берарди .....	121
Пьемонтский Гамлет .....	153
Русский медведь. Рассказ-дивертисмент .....	168
БЕЛАЯ НОЧЬ ЛЮБВИ. Театральная повесть .....	176
Брат и сестра .....	176
Лица Венеции .....	213
Два эпилога .....	235

Густав Херлинг-Грудзинский

## ГОРЯЧЕЕ ДЫХАНИЕ ПУСТЫНИ

Перевод с польского *Ирины Адельгейм*

•

## БЕЛАЯ НОЧЬ ЛЮБВИ

Перевод с польского *Алексея Михеева*

Корректор *Наталья Пузанова*

Оформление *Дмитрия Манахина*

Оригинал-макет подготовил *Константин Федоров*

Сдано в набор 1.09.2000. Подписано в печать 1.12.2000.

Формат 60х90/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 15,5. Тираж 1000 экз. Заказ № 2077.

**Издательство «МИК»**

Москва, ул. Б. Переяславская, д. 15, кв. 52.

Изд. лиц. № 060412 от 14 января 1997 г.

Отпечатано в ОАО «Типография Внешторгиздат»

127576, Москва, ул. Илимская, д. 7.

